

Юрий Кувалдин

Шифр

рассказы

Юрий **Кувалдин** Шифр



Юрий
Кувалдин

ШИФР

рассказы

Издательство
Книжный Сад
Москва
2021

ББК 84 Р7

К 88

*На передней стороне переплета: картина художника
Александра Трифонова "Красный ангел", холст, масло, 90 х 60 см, 2018 г.
На задней стороне переплета: писатель Юрий Кувалдин.*

Кувалдин Ю.А.

К 88

Шифр: рассказы. - М.: Издательство "Книжный сад", 2021. - 352 с.

Рассказы книги "Шифр" написаны в 2016 - 2018 годах. Художественная литература говорит иносказательно, шифрует все тайны жизни, переводит прямой язык журналистских и философских высказываний в образы, через которые оригинально и свободно высказывается, показывается, как на сцене, любая мысль. Душа уделяет внимание загадочному, верит в красоту новых форм, и позволяет создать мысленно свою собственную картину мира.

ISBN 978-5-85676-156-5

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2021

ШЁНБЕРГ

Шёнберг, никогда не пытавшийся что-то повествовать, как ничего не повествует рассвет, переходя в день, стремящийся к ночи, сочиняет «Углубление в себя».

1. ОПЬЯНЕННЫЙ ЛУНОЙ

Вино, что только взглядом пьют,
Ночами льет луна ни землю,
Приливом сильным залипая
Притихший горизонт.

Желанья - ужас в них и сладость -
Пронизывают волны света.
Вино, что только взглядом пьют.
Ночами льет луна на землю.

В святом неистовстве поэт,
Напитком упиваясь лунным,
В восторге к небу обратил
Лицо, и жадно пьет, шатаясь,
Вино, что только взглядом пьют.

Человек углубился в себя, ничего не видит, ничего не слышит. Смотрю на него и пытаюсь понять: он в самом деле углубился в себя, или просто спит, поскольку веки его сомкнуты? Углубление в себя, всё же, думаю, требует неких доказательств, что человек действительно углубился в себя, то есть предполагает вынос из глубины своей души для других людей это углубление, а этот вынос возможен только в написании хотя бы нескольких фраз в подтверждение своей углублённости. К примеру, углубленность в себя Андрея Платонова я вижу в каждой его фразе, в каждом его слове.

Не повествовательность, но стремление. Концерт для слов с молчащей скрипкой в духе рецептуализма - дозированного ассоциативного мышления.

Куда вы это торопитесь? Он оторопел. Торопливо вернулся к своему месту. Торватый. Тор - дар. Даровитый. Торо пьёт. Торопится пить. Скоро, значит. Торо идёт. Пожалуйста, поторопи расторопную тещу. Как будто торопясь туда за делом, но тихо и степенно, не торопясь, заторопился. Тут теща с уторопленной любезностью пустилась приседать. Зачем торопиться, не понимаю! Торопясь дойти. Он заторопился, потому что услышал чьи-то торопливые шаги. Насторожился. Кто-то торопливо шел. Куда это всё торопятся, перебирают торопливо ногами, торопливо говорят, торопливо едят, торопливо проживают жизнь?! Не торопи с ответом.

В этом месте прерываюсь, чтобы прослушать «Фантазию для скрипки и фортепиано» Арнольда Шёнберга, говорившего, что «Музыка не должна украшать, она должна быть истинной и только...», «Искусство - это вопль, который издают люди, переживающие на собственной шкуре судьбу человечества...», «Презрение ко всему устаревшему столь же велико, сколь и необоснованно...»

2. КОЛОМБИНА

Цветы, что там бледнеют, -
Из света лунного розы, -
Ночами расцветают...
Такую мне б сорвать!

Чтоб утолить страданья,
Ищу я у потока
Цветы, что там бледнеют -
Из света лунного розы ...
Утихло бы томление,
И стал бы я как в сказке, -
Блаженно тих, - вплетая
В каштановые кудри
Из света лунного розы!

Хорошее настроение с утра возникает из самых простых, даже обыденных дел. В первую очередь, конечно, настроение поднимается оттого, что накормлены оба кота: и рыжий, и серый (кстати говоря, рыжий всю ночь старался залезть в шкаф, рычал и скреб когтями, но это сделать ему не удалось; серый же безропотно сопел под боком). В это время зелёный друг джунглей в клетке нахохлился и принялся кричать диким криком, чтобы бросили заниматься котами, и стали кормить его отваренными ягодами шиповника, которые попугай брал в одну лапу, подносил её к клюву и, как часовщик из часов извлекает микроскопические детальки, принимался извлекать по зёрнышку и перетирать их между верхней створкой клюва и нижней. Настроение стало просто чудесным у всех!

Вода как успокоение: зеркальный пруд, тихая гладь реки, солнечное озеро. Но фонтан! Вода как украшение: капли, искры, кристаллы. Вода вычерчивает спирали. Летящая вода, соединяющая небо с землёю. Чаша фонтана возвышается на основательном постаменте, обрамленном узорной решеткой, и по цоколю машут крылами ангелы, омываемые целебными водами, потому что вода держит нас на поверхности житейского моря. Писатель преобразует спокойную воду в фонтан.

Шёнберг - Кандинскому: «А теперь самое главное: спасибо за картины. Мне чрезвычайно понравился альбом. Я полностью понимаю это и уверен, что здесь мы сходимся. Притом в самом важном. В том, что Вы называете «нелогичным», я же - «выключением сознательной воли в искусстве». И в том, что Вы пишете о конструктивном элементе. Любое формование, если оно стремится к традиционному воздействию, не бывает вполне свободно от актов сознания. А ведь искусство отдано бессознательному! Нужно себя выражать! Выражать непосредственно! Не свой вкус, или воспитание, или рассудок, или знание, или умение. Не все эти неприрожденные свойства. А прирожденные, инстинктивные. А ведь все формование, все сознательное формование играет какой-нибудь математикой, или геометрией, золотым сечением и т. п. И лишь неосознан-

ное формование, полагающее равенство: форма = форма явления, - только оно действительно творит формы, оно одно производит те образцы, каким подражают «неоригинальные», какие становятся «формулами». Тому же, кто способен слышать себя, кто способен познавать свои собственные влечения, притом же и погружаться мыслью вглубь всякой проблемы, - тому не нужны такие костыли. И не надо быть пролагателем новых путей, чтобы так творить, - достаточно лишь брать самого себя всерьез. А тем самым принимать всерьез и подлинную задачу человечества во всякой духовной и художественной области - познавать и выражать познание!!! Вот моя вера!»

3. ДЕНДИ

Лучом фантастическим лунным
Играет и блещет хрустальный флакон
Перед черным священным трюмо
Безмолвного денди из Бергамо.

В сверкающей бронзовой чаше
Смех светлый фонтана металлом звенит.
Лучом фантастическим лунным
Игрисит и блещет хрустальный флакон.

Пьеро восковым изваяньем
В раздумье стоит: выбирает он грим.
Отбросив восточную зелень, кармин,
Он рисует в возвышенном стиле свой лик -
Лучом фантастическим лунным.

Длинные дни зеленеющих будней быстро исчезнут, с метелью смешавшись. А вы куда? Пойду пройду до угла и обратно, пока не стемнело, а то фонарь разбили. Вишня быстро отцвела. Вот только хотел насладиться её цветением, как через день белое видение исчезло, потому что пошла интенсивная работа по формированию плода, смотришь, и через девять месяцев, в сильный снегопад, юная вишня выкатывает из подъез-

да во двор коляску с новорожденным, чтобы прокатить его до угла и обратно, а то не успеет белый старик из коляски посетовать на то, что фонарь опять разбили.

Шёнберг говорил, что "...всему хорошему, что я видел, сразу же подражал".

Посмотришь на кого-нибудь в переполненном вагоне метро, а он тебе улыбается, или она улыбается беспечно розовыми губками, а то кто-то иной посмотрит на тебя чёртом, с осенней язвительностью улыбкой, и в этот момент тебе уже заранее улыбается пожилая гражданка, на которую ты ещё не успел взглянуть, а посмотришь на неё, так встретишь насмешливую и даже злую улыбку, тут уж замелькают лица с нахальной и грубой улыбкой, или тебе так покажется, ибо все люди живут на этом случайном свете шутя и играя, улыбаются каждому встречному-поперечному, чего ж не радоваться, ведь созданы из ничего, из одного романтического какого-нибудь осеменения.

Солнце заходило в светло-сером небе. Усталое солнце уходило от мира. Солнце садилось в багровую тучу. Солнце уже стало подниматься из-за горизонта. Солнце пригревало. И я сияю, как солнце. Солнце взошло ровно в шесть часов пять минут. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе. Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день? Я долго стоял на месте, поэтому солнце крутилось вокруг меня, неопровержимо доказывая, что я и есть линия базиса системы координат - земная ось.

Шёнберг: «Не придавай важности сегодняшним огорчениям. Завтра у тебя будут новые».

4. БЛЕДНАЯ ПРАЧКА

Прачка бледная, луна,
Обмывает ночью землю.

Руки в белых бликах света
Отливают серебром.

Просекой крадутся ветры,
Еле тени шевеля...
Прачка бледная, луна,
Обмывает ночью землю.

Дева кроткая на небе,
Затененная ветвями,
Стелет на полянах темных
Светотканые полотна. -
Прачка бледная, луна.

Есть довольно значительная категория людей, самовоспроизводящаяся, передающая из поколения в поколение чувство «коллективизма», та категория, которая непременно хочет всех объединить, призвать всех к ответственности, постоянно «совершенствовать» и изменять законы, собрать всех на выборы и правильно проголосовать, дружно выйти на субботник по уборке близлежащей территории, единым порывом принять участие в шествии по случаю очередной годовщины, образовать совет по руководству подрастающим поколением, в общем, тормозить с завидной регулярностью граждан, занятых своими делами, поскольку у «категории объединителей» ещё не выветрился дух безликости и круговой поруки, коротко говоря, дух совка.

Шёнберг: «На свете очень мало людей, которые имеют понятие о красоте музыкальной формы».

Всё время внимание было расслабленным, поскольку видел как бы общий план улицы, не в состоянии вникнуть в подробности. При рассеянности охватываешь взглядом всё в целом, но не замечаешь ничего. Вернее, так: подразумеваешь дома, машины, прохожих, но не можешь сконцентрироваться на чём-то определённом. Это состояние, с одной стороны, очень приятное, с другой, ничего не западает в память. Бывает даже так,

что не можешь понять, как от дома дошёл до метро. Остановишься при входе, и поражаешься самому себе: как я сюда притопал?!

5. ВАЛЬС ШОПЕНА

Точно бледный блеклый цвет
Крови ни устах больного,
Проступает в этих звуках
Прелесть гибельных страстей.

Дикий всплеск аккордов рушит
Лед отчаянья и сна -
Словно бледный, блеклый цвет
Крови на устах больного.

Пламя счастья, боль томленья,
Грусть утраты в хмуром вальсе -
Никогда не покидают,
Держат в плену мои мысли,
Точно крови блеклый цвет.

Шёнберг: «Так как в музыке отсутствует непосредственно познаваемое, одни ищут в ней формально прекрасное, другие - поэтические прообразы. Даже Шопенгауэр, давший исчерпывающее определение сущности музыки и высказавший удивительную мысль: "Композитор обнажает сокровеннейшую суть мира и высказывает глубочайшую истину, пользуясь языком, неподвластным разуму, он начинает блуждать, пытаясь перевести на язык наших понятий особенности языка, неподвластного разуму, подобно тому, как магнетическая сомнамбула рассуждает о вещах, о которых, бодрствуя, она не имеет ни малейшего понятия" Хотя композитору должно было бы быть ясно, что перевод на язык наших понятий, на язык человека, - это абстракция, редукция до познаваемого, утрата самого главного - языка мира, который должен оставаться непонятым, должен лишь ощущаться. Но Шопенгауэр правомерен в своих по-

искал, его цель как философа представить сущность мира, его необозримое богатство посредством понятий, за которыми слишком легко просматривается их нищета. Так же прав и Вагнер, который, желая дать среднему человеку представление о том, что он как музыкант видит непосредственно, подставляя программы под симфонии Бетховена».

Какое-нибудь самое простейшее явление неожиданно начинает привлекать внимание и сильно волновать, явление незамысловатое, как бархатистый жёлтый цветок одуванчика, на который садится пчела, которую сегодня в солнечный просвет между несколькими чёрными грозами заметил, потому что не предполагал, что на жёлтые одуванчики садятся пчёлы, хотя её посадка была очень кратковременной, поскольку из-под кустов в её сторону вышел подтянутый, весь в чёрном, отливающий золотом скворец, принявшийся тут же под цветком долбить землю, одним глазом наблюдая за улетающей невесомой пчелой.

6. МАДОННА

Встань, о мать всех скорбящих,
На алтарь моих созвучий!
Кровь, что яростью пролита,
Из груди твоих сочится.

Как глаза, раскрыты раны,
Вечно свежи, тик кровавы ...
Встань, о мать всех скорбящих,
На алтарь моих созвучий!

Истонченными руками
Тело сына подняла ты,
Чтоб его увидел каждый, -
Но скользят людские взгляды
Мимо, мать всех скорбящих!

Сущность человека в привыкании. В привычке, о которой говорят, что она вторая натура. Сначала он должен привык-

нуть к букве «А». Это такой условный домик с перекладиной. Две палочки соединены вверху, в одной точке, а книзу расходятся в стороны. Потом он должен привыкнуть к букве «Б», в которой, если убрать нижнее закругление, легко узнаётся буква «Г». Ну, уж букву «О» в память загрузит с лёгкостью. Потом соединив буквы «Б», «О», «Г», получит исходное понимание всего сущего. Буква «З» похожа на цифру «3». Поставив после буквы «А» букву «З», человек получит «АЗ ЕСМЬ».

7. БОЛЬНАЯ ЛУНА

Смертельно бледная луна,
Там, в этой черной вышине,
Твой взгляд тревожит душу мне
Словно неведомый напев.

Задушена своей тоской,
Ты в смерть уходишь от любви,
Смертельно бледная луна,
Там, в этой черной вышине.

Поэта, что в смятении чувств
На randevу крадется к ней,
Манит игра твоих лучей,
Бескровный, истомленный вид,
Смертельно бледная луна!

Шёнберг: «Если это искусство, значит, это не для всех; а если это для всех, значит, это не искусство».

Легко дышать после дождя, но пришлось долго ждать пока он кончится, а он кончается не сразу, это уж известно каждому, выбежавшему на улицу без зонта в надежде, что московский дождь краток, поморосит, особенно на Маросейке, и прекратится, как будто его и не было, и даже на небе кое-где появляются разрывы с намёком на скорое его окончание, но не тут-то было, весь горизонт внезапно темнеет, и этот небесный

чёрный занавес быстро заканчивает представление о хорошей погоде.

8. НОЧЬ

Тень гигантских черных крыльев
Убивает солнца блеск.
Заколдован, затенен,
Дремлет горизонт в молчаньи.

Запах темных испарений
Душит лет прошедших память.
Тень гигантских черных крыльев
Убивает солнца блеск.

И чудовищ черный рой
Вниз, к земле, тяжелой тучей
Опускается незримо,
На сердца людские давит ...
Тень гигантских черных крыльев.

Арнольд Шёнберг: «Я взял 21 стихотворение поэта Альбера Жиро, и луна диктовала мне моего «Лунного Пьеро». Мелодия, указанная в партии голоса нотами, не предназначена для пения (кроме отдельных, особо отмеченных исключений). Исполнитель стоит перед задачей превратить ее в речевую мелодию (*Sprechmelodie*), хорошо принимая во внимание обозначеннообозначенную высоту звуков. Это осуществляется тогда, когда он выдерживает ритм так точно, как будто он поет, со свободой не большей, чем допустима в песенной мелодии; точно понимает различие между певческим и речевым звуками: вокальный звук неизменно твердо удерживает точную высоту, а речевой, едва ее обозначив, тут же покидает, повышаясь или понижаясь. Исполнитель должен остерегаться манеры произнесения «нараспев». Это абсолютно не имелось в виду. Однако ни в коем случае не следует стремиться к реалистически-натуральной речи. Напротив, различие между речью

обычной и сопряженной с музыкальной формой должно быть отчетливым. Но никогда это не должно напоминать пение. В остальном об исполнении нужно сказать следующее. Исполнители никогда не должны выводить здесь настроение и характер отдельных пьес из смысла слов, а всегда исключительно из музыки. В той мере, в какой автор стремился к звукоизображению содержащихся в тексте событий и эмоций, они получили воплощение в музыке. Если исполнителю этого недостаточно, он все же не должен добавлять что-либо, чего автор не хотел. Он должен не давать, а брать».

9. МОЛИТВА К ПЬЕРО

Пьеро! Мой хохот
Забыв, исчез!
Лощеный образ
Слинял, поблек!

Мне с мачты веет
Траурный флаг.
Пьеро! Мои хохот
Забыв, исчез!

О, возврати мне,
Душ Исцелитель.
Ты, снежный Лирик,
Лунная Светлость,
Пьеро, - мой хохот!

Все собравшиеся находятся в состоянии нетерпеливого напряжённого ожидания. Кто-то сидит на скамейке, потупив взор, бессмысленно разглядывая новые шнурки на старых ботинках, кто-то в десятый раз с умным видом закуривает и, бросаая на курящего взгляды, все в какой-то мере ему завидуют: человек при деле. Так продолжается часа три-четыре, затем по губам плакальщицы стекает песня, при этом всё лицо её скованно маской печали, когда сама жизнь жалуется: "Я страдаю,

поэтому я лью слёзы". Взвизгивает невидимая скрипка, её жалобное звучание поддерживает небесный оркестр, который всем измаявшимся людям сообщает: «Я страдаю, и потому я плачу».

10. ГРАБЕЖ

Темно-красные рубины,
Сгустки древней гордой славы,
В склепах, в княжеских гробницах
Дремлют в тишине глубокой.

И ночь идет Пьеро с друзьями -
Хочет он украсть из склепа
Темно-красные рубины,
Сгустки древней гордой славы.

Тут вдруг ужас их объемлет,
Приросли к земле от страха:
Пристально на них средь мрака
Смотрят из-под свода склепа
Темно-красные рубины!

Золотом поблескивающий ноябрьский день стал клонился к вечеру. Пурпурный весенний день нехотя погрузился в ультрамарин. Белый зимний день уже после полудня стал мутнеть и гаснуть. Орбита наклонилась так, что дома стили опасно нависать над улицей. Красный закат превращался в ржавый металл.

11. БАГРЯНАЯ МЕССА

Для страшного причастья
В слепящем блеске храма,
В мерцающем сияньи
У алтаря - Пьеро!

Рукою освященной
Сорвал он облаченье,
Для страшного причастья
В слепящем блеске храма.

Потом, благословляя,
Пугливым душам дарит
Трепещущее сердце
В руке, в кровавых пальцах -
Для страшного причастья!

Всё вокруг падает. Прямо-таки всё так и валится из рук. И всё время на землю. Нет, чтобы упасть на небо, так всё время падает вниз, всё ниже и ниже. Ты к нему с философской доктриной, а он тебе пулю в лоб. Поэтому падаешь. И всё равно при любых обстоятельствах, даже с пулей во лбу, не следует падать духом. Вот тут слово «падение» приобретает всемирно-историческое значение. Пусть всё на свете падает, пусть яблоко бьёт по темечку Ньютону, но никогда не следует падать духом. Для художественного духа, выраженного в Слове, как раз намечено падение к небу.

12. ПЕСНЯ О ВИСЕЛИЦЕ

Дрянная девка
С худящей шеей
Его любовницей
Стать должна.

Вонзилась в мозг
Гвоздем и застряла
Дрянная девка
С худящей шеей.

Стройная пиния С косичкой тощей -
Как сладострастно
Обнимет шельму
Дрянная девка!

Вопреки намерениям не пошёл на воздух. Но через минут пять взял свои слова обратно. Необходимых три километра нужно пройти. На противоположной стороне улицы остановился рабочий автобус и из него один за другим высыпали зелёные человечки. Они прошли прямо по газону и скрылись в зарослях. Через минуту подкатил другой такой же автобус и, правильно, привез ещё человек тридцать людей в зелёных комбинезонах. Я понял, что люди в моих глазах зазеленели. Я не стал выяснять, откуда эти люди, куда и зачем. Нужно учиться самообладанию и заниматься только собой. Май выдался дождливым и цветущим.

Как-то сидели мы с Шёнбергом в скверике Чистого переулка, говорили о том о сём, уходя то в детство, то во взрослость.

Юрий Кувалдин: «Я родился 19 ноября 1946 года в Москве, на улице 25-го Октября (ныне и прежде - Никольской) в доме № 17 (бывшем "Славянском базаре"). Учился в школе, в которой в прежние времена помещалась Славяно-греко-латинская академия, где учились Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир...»

Арнольд Шёнберг: «А я родился 13 сентября 1874 года в Вене, в квартале Леопольдштадт. Только появился на свет, как сразу услышал музыку, высокую, как будто звучащую с небес, но не такую, которая звучала вокруг, а какую-то необычную, выражающую только меня самого. И я сам себя стал музыкально образовывать. В общем, по большому счёту, я абсолютный самоучка...»

Замечу про себя, что вот эту часть замеченного про себя, следует объективировать, то есть записать или, что точнее, сделать достоянием вечности, ибо вечность бесконечна, то есть не имеет конца, а конца не имеет кольцо, в которое попадают всё новые и новые компьютеры-тела, которые загружаются тем, что объективировано, то есть отделено от сгенерировавшего его тела, а вот то, что заметил про себя и что из тела не вышло, не объективировано, не зафиксировано, того не существовало, не было и нет.

13. ОТСЕЧЕНИЕ ГОЛОВЫ

Клинок - разящий серп луны
Турецкой саблей с неба блещет,
Огромен, бел - как призрак он,
Грозящий в скорбной тьме.

Не спит, кружит всю ночь Пьеро,
Наверх глядит в смертельном страхе:
Клинок - разящий серп луны
Турецкой саблей с неба блещет.

Дрожат колени у него,
Не держат ноги ... обессилив,
Упал - и чудится: летит
На шею грешника со свистом
Клинок - разящий серп луны!

Непредвиденности сильно раздражают, потому что нарушают привычный ход вещей. Поехал через всю Москву в специализированный магазин за нужным тебе предметом, но не только не приобрёл этого предмета, а не обнаружил самого магазина, в бывшем помещении которого расположилась районный клуб флористов. И так во всём! Магазины, офисы фирм, парикмахерские, рынки, палатки, магазины шаговой доступности только откроются, как, смотришь, через два-три месяца их след простыл. Нестабильность предполагает постоянные непредвиденности.

14. КРЕСТЫ

Святы, как распятая, строки,
Кровь впитавшие поэта,
Что заклеван черной стаей
Коршунов, над ним кружащих.

Как багряные соцветья,
Рдеют раны в бледном теле.

Святы, как распятъя, строки.
Кровь, впитавшие поэта.

Взгляд застыл, уста замкнуты.
Шум толпы вдали растаял.
Опускается неспешно,
Как венец кровавый, солнце...
Святы строки, как распятъя!

Мир во всех его проявлениях создали умершие. Конечно, не все умершие, коих миллиарды, а, может быть, и большее количество за всё время, прошедшее от первой палочки на камне до «Преступления и наказания», но только те из них, которые добавили в божественную программу свои записи. Эта невидимая книга есть небо для полёта новорожденного. Современники тоже, как им кажется, вписывают в небесную книгу свои произведения, но неумолимое время ведёт скрупулёзный отбор и всё расставляет по своим местам.

15. НОСТАЛЬГИЯ

Тихо, нежно, словно вздох хрустальный
В итальянской старой пантомиме,
Прозвучало: - Как в угоду моде
Стал Пьеро сентиментально-томен...

Звук проник через пустыню сердца, -
Приглушенно отозвались чувства:
Тихо, нежно, словно вздох хрустальный
В итальянской старой пантомиме.

Позабыл ни миг Пьеро кривлянья!
И сквозь лунный блеск, сквозь море света
Из глубин души стремленье рвется
Смело вверх и вдаль - к родному небу -
Тихо, нежно, словно вздох хрустальный!

Я давно перестал искать смысл в художественных произведениях, да, в общем-то, и в жизни самой. Смысл ищут обычные люди, которым важен, как недавно любили повторять, «сухой остаток». Мне же этот вывод совершенно не интересен. Я воспитан на формуле Достоевского: «Красота спасёт мир». Проще говоря, я не люблю обывательской преднамеренности, прокурорской правильности и политической логичности. Меня увлекает поэтичность авторской лексики, сочленяемой в свободно льющемся музыкальные фразы, сердечная интеллигентность и образная стройность, акварельная палитра, недосказанность, то есть всё то, что сам Чехов называл «изящной словесностью».

16. ПОДЛОСТЬ!

В темя лысого Кассандра,
Под ужаснейшие вопли,
Ввел Пьеро с подлейшей миной,
Нежно черепной буравчик!

Набивает, уминает
Свой табак турецкий чистый
В темя лысого Кассандра,
Под ужаснейшие вопли!

Ловко там чубук приладив
Сзади к этой гладкой плеши,
Задымил он чувством, с толком
Табачком своим турецким
Из плешивого Кассандра!

Не стану греха таить, что не следует поминать чужие грехи, да и грешно незнакомого человека обижать за его грехи, а вот всё расстройство происходит из-за чужих грехов, до которых тебе и дела не должно быть, ан нет, смотришь, и у другого грех вышел, вот и не отпускает мысль о грехе, переживаешь за все грехи людские, готовый слезами своими мировые грехи омыть,

потому что греха своего не боишься, а ведь хватил порядочно греха на свою душу, но согрешил бы я, если бы только на других кивал и, вообще, осуждал бы грех, ведь это грех осуждать то, хотя трудящим и слабым не грех чайку попить.

17. ПАРОДИЯ

Торчат, сверкая, спицы
В ее седых кудрях;
Охвачена томленьем,
Дуэнья ждет впотьмах.

Сидит она в беседке,
К Пьеро пылая страстью.
Торчат, сверкая, спицы
В ее седых кудрях.

Внезапно - чу! - там шорох...
Дыханье ... шепот... хохот...
Насмешничает месяц:
Лучи его, как спицы,
Торчат в седых кудрях.

Так и хочется воскликнуть: «Не лепите в ленту каждый день стихи!» Поэзии должно быть мало... Самое печальное в бесконечно публикуемых «стихотворениях» то, что сочиняют их люди, лишенные элементарного поэтического вкуса (я уж не говорю об отсутствии у них слуха музыкального). Лобовые, прямолинейные бытовые суждения рифмуются в бесконечные столбцы, говорящие об убогости бытия и приземлённости даже самых светлых чувств. Нагромождение канцеляризов, штампов, первых попавшихся слов, кое-как уложенных в стопы с небрежными рифмами, наводят на мысль, что стихослагатели даже не знакомы с элементарными нормами стихосложения.

18. ЛУННОЕ ПЯТНО

Позади пятно луны белеет
В длинных фалдах выходного фрака, -
Так пошел Пьеро в весенний вечер
В поиски за счастьем и удачей.

Что-то липнет там к его одежде...
Обернулся он и видит: верно!
Позади пятно луны белеет
В длинных фалдах выходного фрака.

- Стой же! Вот как! Ведь это известка! -
Трет и трет - зря. Невозможно счистить!
Он идет, отравлен злобой, дальше.
Трет и трет - до самого рассвета -
Позади пятно луны белеет!

Попадается случайно на глаза знакомый, которого не видел лет двадцать. И тот сразу сознаётся в своём доисторическом, пещерном существовании, задавая мне вопрос: «Чем занят, что делаешь?» Я не объясняюсь, не оправдываюсь, а в шутку говорю, что ничего не делаю, отдыхаю и смотрю футбол. Рассказать ему о том, что я выпускаю книгу за книгой, пишу каждый день, читаю многих моих авторов, выпускаю журнал и так далее? Зачем ему мои рассказы? Он и тогда не читал меня, говоря: «Ты что, Лев Толстой, чтобы тебя читать?» - не читал и Толстого, а теперь даже понятия о моих публикациях не имеет. Разошлись с улыбкой по своим делам, пожелав друг другу удачи.

19. СЕРЕНАДА

Скрип и стон: смычком громадным
На альте Пьеро скрежещет,
Словно аист одноногий.
Щиплет хмуро пиццикато.

Вдруг идет Кассандер - в злобе
На ночного виртуоза,
Скрип и стон: смычком громадным
На альте Пьеро скрежещет.

Тут Пьеро бросает альт свой:
Ловко ловит легкой левой
Сзади лысого за ворот
И из плечи извлекает
Скрип и стон смычком громадным!

Что непонятно, то для многих враждебно. Непонятное для большинства возникает из постоянного интеллектуального развития личности, удаляющейся от массы на недостижимые высоты. Враждебное процветает в недоразвитости. Читал я как-то внучке Лизе вслух с выражением басню Крылова «Лисица и виноград», в которой эссенция мысли «хоть видит око, да зуб неймёт» наталкивает на размышления о том непреложном факте, что размножение человечества намного опережает его интеллектуальное развитие. Пятилетняя внучка стала учить басню, и при декламировании особенно подчёркивала мысль: «Хоть видит око, да зуб неймёт».

20. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Кувшинка - это лодка,
Луч лунный - вот весло ...
Пустился с легким ветром
В далекий путь Пьеро.

Поток на низких гаммах
Журчит - и движет челн.
Кувшинка - эти лодка,
Луч лунный - вот весло.

На родину, в Бергамо,
Домой Пьеро плывет.

Уж брезжит на востоке
Зеленый горизонт...
Кувшинка - это лодка.

Бывают такие минуты, когда знаешь, что вот именно это дело надобно тебе немедленно сделать. Это знает каждый, потому что у всех найдутся такие неотложные дела. Надо тебе сделать, но ты не делаешь. Просто специально не делаешь, не оттого, что раздумал это дело включать в важные, а потому что просто наслаждаешься не желанием делать это дело. И бьёт искра между делом и твоим отказом от исполнения намерения делать неотложное дело. О, тут кроются великие философские открытия между надо сделать и - не буду делать.

Одно произведение перетекает в другое, создавая некую одну великую книгу. Начинающим авторам всегда советую заглянуть в книжные магазины, а ныне - в интернет-библиотеки, чтобы понять, что до этого начинающего писали сотни, тысячи авторов. Можно вдумчиво прочитать одну книгу, или пять, или в течение жизни сотню книг. Вдумчиво, то есть зная всю сложную архитектуру прочитанных произведений, особенности авторских стилей, лексического разнообразия... Имена героев и персонажей не имеют значения. Тут и наступает путаница. Но отчаянные ищут. Время отберёт лучшее и распутает путаницу.

21. О, АРОМАТ ДАЛЕКИХ ЛЕТ

О, аромат далеких лет,
Пьянишь ты снова мои чувства!
Наивных шалостей толпа
Опять меня влечет.

Приносит снова радость все,
Чем я пренебрегал так долго.
О, аромат далеких лет,
Пьянишь ты снова меня!

юрий кувалдин

Все недовольство вдруг прошло:
Из обрамленных солнцем окон
Свободно я смотрю на мир
В мечтах о светлых далях...
О, аромат далеких лет!

Человек таится, не хочет рассказывать о своих потаённых мыслях и действиях, но в конечном итоге кому-нибудь хоть косвенно о своих тайнах да рассказывает. Никому ещё не удавалось сохранить потаённое. На этом психологическом феномене построены действия дознавателей всех мастей, которые знают, что так или иначе человек раскалывается, коли на него кто-то уже показал пальцем. Все несчастья людей в том, что они сами на себя доносят, сами во всём сознаются, сами потом каются.

"Наша улица" №200 (7) июль 2016

ТЕЛО

В одном старом московском переулке жил... Ну, уж так, надо признаться, начинали с указания места действия свои вещи многие авторы. Вот, например, исключительный специалист по плетению словесной ткани Гоголь так начинает: «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет всё. Чем не блещит эта улица - красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных её жителей не променяет на все блага Невского проспекта...» Ну, и так далее. А вот что говорит на тему места заведённый мощной пружиной многословия Достоевский: «Марья Александровна Москалёва, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются...» Что ещё за город Мордасов? Ей богу, сразу начинаешь сомневаться в существовании этого Мордасова, а не только в Марии Александровне Москалёвой. Хотя тут вступает в силу убедительность автора. Да, сумеет ли он меня, а не какого-нибудь Белинского, убедить в реальности места и персонажей? Пытается расположить меня, чтобы я поверил в Москалёву из Мордасова, хотя всё время оговаривается, смешивая низкий реализм с высшим.

Я и сам не вполне убедителен со своим героем из переулочка, потому что он не то что в этом переулочке жил, а бывал в нём, поскольку поменял за свои 90 лет столько мест в столице, что и пересчитать их не представляется возможным.

Это бы ещё полбеда. В отличие от многочисленных персонажей классической нашей литературы мой герой не имел всю жизнь никаких документов, нигде не числился, поэтому его как бы и не было на свете, а он такой реальный, ни худой, ни полный, ни высокий, ни низкий, прожил безвыездно в столице все свои 90 годов, и никогда нигде у него не спрашивали, кто он такой, откуда и куда, и, тем более, не требовал какие-нибудь документы.

Да, собственно, почему нужно Тело о чём-то спрашивать, останавливать его для вопросов? Оно ведь незаметно, неизвестно, никаких правил не нарушает, ни в чём не участвует, ни к кому никогда в жизни не приставало и не пристаёт, женщинам, и не только беременным, постоянно в транспорте, если в него попадает, что случалось с ним в жизни чрезвычайно редко, место уступает. Конечно, много в жизни любопытных, живущих только тем, что постоянно задают вопросы, просто-таки вопросами разговаривают, сами не представляя из себя ничего.

А то какой-нибудь тип пристанет и давай сыпать вопросы.

- Как жизнь? - спросит для начала.

Ну, это ещё можно спокойно перенести.

Ответишь:

- Нормально...

- А я слышал, что ты развелся?

Это вопрошатель уже полез в душу. Ну, какое ему дело до того, развёлся я или нет? Но он продолжает:

- А сына поддерживаешь?

Говоришь:

- Я спешу, - и скоренько ретируюсь...

Князь Петр Андреевич Вяземский на вопрошателей отлично отреагировал: «Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождают поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова. Не можно ли их сравнить с будочниками, которые ночью спрашивают у всякого прохожего: кто идет? Единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему: очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперед, что ничего не знаю».

Андрей Платонов почти пошел в сторону моего безымянного героя, но всё же не дошёл, потому что без имени как

персонажа раскидать по произведению? Ведь одно пустое место будет. Ненаписанное! Чистый лист. А то и листа самого нет.

Но близко: «Хромой сам этим серьезно возмутился:

- Советской сознательности еще нету. Боятся товарищей гостей встречать, лучше в лопухи добро прольют и государственной беднотой притворяются. Я-то знаю все ихние похоронки, весь смысл жизни у них вижу...

Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти известного писателя - в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища - удовлетворяют ли они их, - имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозывается Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно. Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин - Францем Мерингом: по уличному Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в волревком - были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными.

- Раз назвались, - говорил им Достоевский, - делайте что-нибудь выдающееся.

- Сделаем, - отвечали оба, - только утверди и дай справку.

- Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по-старому.

- Нам хотя бы устно, - просили заявители».

Вот в этом слове «устно» приблизительное попадание в моего героя. Всё он 90 годов делал устно, вот и никаких следов от его жизни не осталось.

Да каждый его видел на своей улице, в своём переулке, даже в своём тупике, типа Кисельного, то есть зайдет в тупик Тело, присядет на ящике, разложит перед собой какие-то железки и перебирает их. Одну железку, которая с одной стороны поблескивает, а с другой приглушает блеск ржавчиной, с левого края перенесёт на правый, отклонится и смотрит на новой расположение.

Одето Тело так, как одеваются все незаметные тела в Москве. Входит в трамвай Тело, а его никто и не замечает и, тем более, не задаёт себе вопроса, как он существует, на чём спит, есть ли у него жена и дети, где он работает и так далее и тому подобное. Не задаются подобные вопросы о телах, мелькающих незаметно там и сям.

Когда темнело, то на сухом асфальте двора лежали желтые квадраты от светящихся окон. Тело сидело у стены на чурбаке. Рядом стоял человек и, когда он поворачивался к свету, то заметна была густая седая борода.

- Ты чего тут сидишь? - спросил бородатый.

- Я не сижу, я караулю? - ответило Тело.

- Кого ты тут караулишь?

- А вон, видишь, под козырьком черного хода лампочка горит, - ответило Тело.

- И что с того, - сказала борода.

- Да ничего... Мне с магазина сказали посидеть и посмотреть, кто выкручивает лампочки, - сказало Тело. - Может, угляжу, кто тут балует...

- Ну, тогда сиди, - чуть вздрогнув, будто его узнали в выкручивающем лампочки, произнёс бородатый и пошёл себе в другой двор под проходную арку.

Тот ли выкручивал, бородач? Тело не узнало и не хотело узнавать.

Вот, бывало, сидят на берегу реки и разговаривают.

- Плохо мне тут, тоска заедает, места себе не найду... - сказал один.

- Мне тоже когда-то здесь было плохо, бегал из угла в угол, как волк в клетке, а теперь привык...

- Сколько ж ты годов тут бегал?

- Да немного, годов пятнадцать...

- Пятнадцать?!

- А что? Пролетели как один день... Вот и привык.

- Не-э-э, я так не смогу...

- Сможешь... Это само собой происходит... Без твоего вмешательства...

- Нет, я не привыкну...

- Привы-ы-ыкнешь...

Она над тазиком расселась, и в воду выпал малыш. Сам собой, как по маслу. Она без охов и без вздохов себя протерла и его, предварительно «вострым ножиком» перерезав шлейф пуповины, а затем на кукольном животике перехватила сурой ниткой пупочек. Вот она жизнь безымянная какая! Снесла в водичку тазика младенца, как курочка яичко золотое.

Кто-то куда-то всегда бежит записывать произошедшее явление Христа народу, а мамаша хоть бы хны. Без записей как жили, так и живут. Может, от самого Ноя. Поди проверь, сходи в начало времён с жалобной книгой.

Вон, полистай поминальный листок:

Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоа-

кима; Иоаким родил Иехонию; Иехония родил Салафилия; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос.

А дальше пошло уж совсем несусветное: токарь Козлов родил токаря Козлова, милиционер Посошков родил сверхсрочника Посошкова, член ЦК Козлов родил предгубисполкома Козлова, футболист Синюков родил хоккеиста Синюкова, Тело вылезло из тела, но в списки эти попадать не захотело.

В московских переулках есть дворы настолько загадочные, что, войдя в них и попетляв из одного дворика в другой под несколькими гулками и полутёмными арками, можешь совершенно заблудиться и потом выйти на незнакомую улицу, на которую и не собирался выходить. Какой-то каскад гаражей, размещившихся в строениях, больше походящих на конюшни, на крышах которых растут деревья, череда сараев тридцатых-сороковых годов, ржавые шатки лестнице на крыши и в подвалы, жёлтые флигелёчки с колоннами, повороты, уклоны, зигзаги, выщербленные кирпичные стены, железные заборы с выломанными штaketинами, скрипящие калитки... В общем Тело жило припеваючи в четырехметровой комнатухе, скрытой от глаз так ловко позади конюшни и остатками стен монастыря, что вроде бы и вообще в этом дворе не жило.

Кобо Абэ в «Женщине в песках» говорит: «Исчезновение людей - явление, в общем, не такое уж и редкое. Согласно статистике, ежегодно публикуется несколько сот сообщений о пропавших без вести. И, как ни странно, процент найденных весьма невелик. Убийства и несчастные случаи оставляют улики; когда случаются похищения, мотивы их можно установить. Но если исчезновение имеет какую-то другую причину, напасть на след пропавшего очень трудно. Правда, стоит назвать исчезновение побегом, как сразу же очень многие из них мож-

но будет, видимо, причислить к этим самым обыкновенным побегам...»

Но фокус в том, что у нас никто не исчезал, как и не появлялся и, тем более, не ударялся в бега.

Тело попросту не существовало, хотя оно было и жило! Это новый случай в бытийной практике. А, быть может, даже в небытийной!

Как из таза с водой Тело извлекла неизвестная женщина, из которой оно выпало в воду, так и существует с той величественной поры девяносто лет, не испытывая нужды ни в ночи, ни в одежде, в которую бесплатно может облачиться любой желающий, стоит только побродить внимательно по столичным дворам и присмотреться к тому, что выносят за ненужностью к разным бакам жители и, тем более, в пище насущной, о которой Тело вообще никогда не задумывалось, а жило текущим днём, даже текучим часом, не впадая в тоску ни о прошедшем, ни о будущем, полагаясь на известную очень мудрую поговорку о том, что будет день - будет и пища, быть может, даже манна небесная, а то и по мановению какого-нибудь сумасшедшего в хитоне, который запросто, не прилагая особых усилий, семью хлебами накормит сразу весь люд града Москов.

Тело обладало удивительным свойством засыпать по собственному приказу сразу и в любом удобном для этого месте. А самым удобным было всегда то место, где никто и никогда Тела не увидит. Вот так Тело умело прятаться от посторонних глаз, что о существовании Тела никто не мог даже догадаться.

Из своих 90 годов Тело, можно сказать, 60 лет проспало. Сон ликвидирует все проблемы и заботы Тела при бодрствовании. Хотя, надо сказать, что в вопросе этого бодрствования Тело было хладнокровно, не реагировало, как многие нервные люди, на всякое движения общества, как-то на грозные сообщения радио, на запугивающие передовицы «Правды», и тем более на всякие страшные слухи, вызывающие в толпах панику.

Во сне Тело не летало, как это случается с большинством спящих, не ело, не пило, не ходило, не бегало, не плавало рыбой, не собирало цветочки, не любовалось женской красотой, не превращалось в ребёнка, в котёнка, в жеребёнка, не собирало грибы, не пело в хоре... Телу никогда и ничего не снилось. Сон для него был как реанимация. Провал, беспамятство, забвение, тьма, пустота, отсутствие времени и пространства.

Бездна.

Уснул и сразу проснулся. А минуло часов 10. Правильно умные люди говорят, что у Бога нет ни времени, ни пространства. А откуда они возьмутся, если самого Тела не было?!

Вот тут хоть стой, хоть падай!

Уж такой феноменальный исследователь сна как Иван Александрович Гончаров, сам диву давался этой способности человека выпасть из жизни:

«- Целые дни, - ворчал Обломов, надевая халат, - не снимаешь сапог: ноги так и зудят! Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь! - продолжал он, ложась на диван.

- Какая же тебе нравится? - спросил Штольц.

- Не такая, как здесь.

- Что ж здесь именно так не понравилось?

- Всё, вечная беготня взапуски, вечная игра дрянных страстишек, особенно жадности, перебиванья друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу, это оглядывание с ног до головы; послушаешь, о чем говорят, так голова закружился, одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные, с таким достоинством на лице, только и слышишь: "Этому дали то, тот получил аренду". - "Помилуйте, за что?" - кричит кто-нибудь. "Этот проигрался вчера в клубе; тот берёт триста тысяч!" Скука, скука, скука!.. Где же тут человек? Где его целость? Куда он скрылся, как разменялся на всякую мелочь?

- Что-нибудь да должно же занимать свет и общество, - сказал Штольц, - у всякого свои интересы. На то жизнь...

- Свет, общество! Ты, верно, нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество, чтоб отбить больше охоту быть

там. Жизнь: хороша жизнь! Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а спуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? Войдешь в залу и не налюбуйешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят - за картами. Нечего сказать, славная задача жизни! Отличный пример для ищущего движения ума! Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя? Чем я виноватее их, лежа у себя дома и не заражая голы тройками и валетами?

- Это всё старое, об этом тысячу раз говорили, - заметил Штольц. - Нет ли чего поновее?

- А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. И воображают несчастные, что еще они выше толпы: "Мы-де служим, где, кроме нас, никто не служит; мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают"... А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие! Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь: посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия.. ни доброты, ни взаимного влечения! Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтоб похвастать поваром, салоном, и потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня, за обедом, я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутаций отсутствующих: "Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон" - настоящая травля! Говоря это, глядят друг на друга такими же глазами: "вот уйди только за дверь, и тебе то же будет"... Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпа-

тии! Стараются залучить громкий чин, имя. "У меня был такой-то, а я был у такого-то", - хвастают потом... Что ж это за жизнь? Я не хочу её. Чему я там научусь, что извлеку?

- Знаешь что, Илья? - сказал Штольц. - Ты рассуждаешь, точно древний: в старых книгах вот так все писали. А впрочем, и то хорошо: по крайней мере, рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай.

- Что продолжать-то? Ты посмотри: ни на ком здесь нет свежего, здорового лица...

- Климат такой, - перебил Штольц. - Вон и у тебя лицо измято, а ты и не бегаешь, всё лежишь.

- Ни у кого ясного, покойного взгляда, - продолжал Обломов, - все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, блага себе и другим - нет, они бледнеют от успеха товарища. У одного забота: завтра в присутственное место зайти, дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание: сбить с ног другого и на его падении выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приёмной - вот идеал и цель жизни! Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжело, что нет ему такой благодати...

- Ты философ, Илья! - сказал Штольц. - Все хлопочут, только тебе ничего не нужно!..»

- Тебя зовут-то как? - раза три в жизни спрашивали у Тела, оказавшиеся рядом на улице или во дворе.

- Да никак, - со странной улыбкой отвечало Тело и шло себе по своим нуждам.

В его след даже не смотрели, просто бормотали себе под ноги: «Бывает и не такое!»

Ну, конечно, Тело говорило это своим мягким, даже смущенным голосом. И в конце концов, почему оно должно представляться каждому встречному-поперечному?! Вообще-то, надо сказать, Тело пыталось вспомнить своё настоящее имя, с

которым оно родилось, но вспомнить никак не могло. Вера в то, что оно вылезло на свет божий из матери прямо с именем, была в нём непоколебима, как и у подавляющего большинства тел, которые по этим телам ведут свои якобы родословные, но предъявляют для доказательств не пустопорожние тела, а записи в словах. Читают эти слова, и говорят, что вот видите, от кого я пошел и кем был мой дед. А слов не видят!

Тем не менее надо сказать, Тело не возражало, когда его кто-то называл Николаем, кто-то Петром, кто-то Иваном, кто-то Сергеем, кто-то даже по несуществующему отчеству, вроде Петрович, Степаныч, Матвейч, и даже Сигизмундыч, это когда он у скульптора позировал, и где вели умные разговоры о забытом писателе Сигизмунде Кржижановском. А Тело быстро всё на ум мотало и запомнило имя «Сигизмунд» из-за его рассказа «Квадратурины»...

«Разведя квадратуриновую эссенцию в пропорции чайная ложка на стакан воды, смочив получившимся раствором кусок ваты или просто чистую тряпочку, смазывают ею внутренние стены комнаты, предназначенные к разращиванию. Состав не оставляет никаких пятен, не портит обои и даже способствует - попутно - выведению клопов"...»

За свои девяносто лет Тело, разумеется, проживало не только на задах конюшни. Да мало ли в Москве мест для сносной жизни без имени, фамилии, без справок и паспортов?! Тут одних переулков столько, что собьёшься со счёту! Прекрасно Тело жило у одного скульптора в бывших монашеских кельях.

Тело зелёную глину месило и само становилось зелёным, как ёлка на Красной площади. Бородатый скульптор, а без прокуренной желтоватой бороды скульптор - не скульптор, щурясь отходил в сторонку, к полкам с бюстиками вождам, прищурился, кашлял осмысленно, закуривал и, пуская дым из широких ноздрей в бороду, скрипящим баритоном говорил:
- Сигизмундыч, встань-ка левее...

Тело бросало мять зелёную глину, становилось туда, куда указывал хозяин.

- Так? - спрашивало тело, неотрывно глядя на монолитную фигуру скульптора.

- Во-во... - бурчал скульптор, беря с тумбочки блокнотик и рассматривая эскизы.

Тело стояло в неподвижности, ожидая новых распоряжений.

- Теперь, это... Направь глаза в верхний угол мастерской... Взгляд Тела устремлялся в угол.

- Так? - спрашивало Тело.

- Голову-то приподыми...

Тело приподнимало голову.

- Так?

- Так... Теперь... ну-ка правую руку приложи к левой части груди!

Тело прикладывало ладонь к сердцу.

- Так? - спрашивало Тело.

- Теперь как бы, это... Сжимай пальцы...

Тело начинало сжимать пальцы у сердца...

- Так?

- Так... Больше напряжения...

Тело изобразило напряжение.

- Так?

- Так... Ещё больше напряжения, Сигизмундыч!

Тело напряглось до мраморного сияния.

- Во-во...

Скульптор набросал уточнения в карандашный эскиз.

- Стоять ещё? - спросило Тело, когда блокнот был захлопнут.

- Постой маленько... Ты ж теперь без сердца, ты ж Данко...

Скульптор взял с той же тумбочки, где лежал блокнот, зачитанную им книжку, полистал, нашёл нужное ему место и прочитал вслух, дабы Тело окончательно уразумело сверхзадачу по исполнению будущей скульптуры:

«А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

- Что сделаю я для людей?! - сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

- Идем! - крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, и сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была - там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, - кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо...»

А потом один художник его переманил на Верхнюю Масловку, на четвёртый этаж, писал с него рабочих, крестьян и интеллигентов, ибо Тело было столь неопределённо, что годилось на любые телесные изображения. Если рабочий, то с кувалдой, если колхозник, то с серпом, если учёный, то перед микроскопом, и в черной профессорской шапочке. Дело в том, что Тело было уж слишком уживчиво. Никто, никогда, нигде от Тела не слышал грубого слова, да и вообще каких-либо слов,

могущих вызвать неодобрение или раздражение. Всё Тело делало мягко, даже как-то безропотно, и без лишних напоминаний, не чуждаясь любой работы. Бывало выйдет из подворотни, а там мебель грузят в кузов машины жильцы, на новую квартиру переезжают, так Тело возьмет какой-нибудь стул или тумбочку и пособит, а однажды даже рояль помогал тащить, но это в другое время и в другом месте, на Покровке в серой дом поднимали на пятый этаж. Тело во всей полноте ощутило силу и тяжесть музыки...

Все люди как люди, ходили в детстве в школу, потом кто в институт, кто в армию, кто на завод, а это Тело - никуда! Ну кто ж его, к примеру, в армию призовёт, если оно не записано нигде! Призывают-то тех людей, которые числятся везде, у кого прописка, приписка, паспорта, одним словом: бумажки. А без бумажки, известное дело, кто ты! А что взять с этого Тела?! Ничего не возьмёшь, как с голубя или с кошки, хотя и те и эти живут без паспортов и приписок, клюют хлеб насущный, балуются мясом и рыбой.

А вообще, конечно, странно, что Тело нигде не училось, а говорить научилось.

Ясно, что Тело овладело устной речью. Уж этим добром овладеет каждый. Болтают невесть где и невесть что! Тут даже не захочешь научиться говорить, всё равно заговоришь на понятном окружающим языке.

Тело ничем не выделялось среди прочих незаметных столичных жителей. Оно было ни толстое, ни тонкое, ни низкое, ни высокое, ни некрасивое, ни привлекательное, ни лысое, и не слишком волосатое, ни черноглазое, ни голубоглазое, ни спешащее, ни медлительное и прочая, и прочая, и прочая... Даже во время войны это Тело никто и нигде не останавливал, поскольку и во время войны и по Петровке, и по Неглинке, и по Колокольникову переулку, и по Цветному бульвару, и по 3-му проезду Марьиной рощи ходили туда сюда неизвестные люди, чем-то питались, во что-то одевались, чем-то промышляли, покуривали...

Само Тело не курило, но почти всю войну проработало за еду и кое-какие мелкие деньги, а то и карточки, в одном заброшенном дворе в глубоком подвале в подпольном цеху, производящем папирасы. Несколько машинок у хозяина было немецких для скрутки и набивки.

В ноябре на Палашевском рынке у спекулянтов стакан махорки стоил уже 10 рублей. Люди курят хмель, вишневый лист и чай. В городе 16 октября практически прекратилась жизнь учреждений. В сберкассах во мраке готовились к сожжению документов, в некоторых наркоматах никого не было. В полутемном ГУМе Тело купило три кило свеклы.

- О радость!

У мясного магазина Тело увидело, как работники магазина тащили домой окорока.

Хозяин был невысок и настолько толст, что почти никогда не вставал с дивана. Жил он как раз над подвалом в маленькой квартирке с такой же толстой женой. Работало в цеху три человека: сын хозяина, двоюродный его брат, приехавший перед самой войной из Пятигорска, и само Тело. И все, кроме Тела, были толстые. Война началась. В октябре разразилась паника. Все куда-то бегут, а хозяин ест мясной борщ со сметаной, затем съедает три говяжьих котлеты с жареным картофелем, закусывает грушей и выпивает три компота из сухофруктов, и за этим обжорством инструктирует Тело:

- Мы не эти... какие-нибудь паникёры... Мы ночью спим... Чтобы ночью никакого шевеленья не было... А днём работаем... Понятно?

- Понятно, - сказала Тело, даже не облизываясь.

Тело ело мало, и ело не что хотело, а что подвернулось.

И что самое интересное, папирасы закупали товарищи из НКВД, из армии и флота, и из ресторана «Метрополь».

В продмаге на стене Тело прочитало объявление: «Тов. касирши! За вами числится 2583 руб. 74 коп. Предлагаем явиться в трехдневный срок и представить отчет...» Сбежали, а их якобы ищут как дезертиров-грабителей.

Такие же тела бродили и при царе Горохе, и при Иоанне Грозном, и при Гоголе. Ну, этот уж художник прошёлся со всей художественной страстью по этим типам, даже намного опередив Чехова с его «Тонким и толстым», отправляя в небытие не зафиксированные никем души в пользу собирателя статистических тел: «Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пяtilись от дам и посматривали только по сторонам, не расставляя ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват; волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер чёрт меня побери, как говорят французы; волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шкатулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь, и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским баринoм, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских всё отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого

рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом, так, как будто бы говорил: "пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу", - человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека, которые все приветствовали его как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался, несколько набок, впрочем не без приятности...»

Все люди как люди, были маленькими, их будили по утрам родители, ласково целовали, кормили яичком всмятку с манной кашей, провожали в школу. Тело никто не будил, потому что у него не было родителей, и в никакую школу он никогда не ходил.

Зачем Телу ходить в школу, если его не было?! Всему в жизни Тело научилось само, а уж производить подобные себе тела вообще никакой учёбы не требуется. Семя, брошенное кем-то когда-то прорастёт в другом, тайно, невидимо, хотя толпы людей в метро говорят, что они чьи-то и сделаны кем-то, но поди ж спроси у каждого: кто он и откуда.

Ни слова не узнаешь о матери Тела, хотя можно было предположить даже в завышенных тонах, что глаза у неё были большие и цвета весеннего солнечного неба, что груди у неё были твёрдые, ноги изящные, руки гибкие, живот плоский и крепкий, а лоно, поросшее шелковистыми кудрями, такое маленькое, что непонятно было, как в него входил огромный ствол мужского члена, чтобы вбросить семя жизни.

Вот и ищи-свищи ветра в поле! Одни подёргаются в сладком экстазе, а потом толпы тел бродят по миру без паспортов!

Верно говорил Григорий Сковорода: «Тот ближе всех к небу, кому ничего не надо», - и просил, чтобы на его могиле на камне написали: «Мир ловил меня, но не поймал».

Тело любило омовение. Само состоящее из воды, водою же омывалось. Тела водная стихия! Вот оно в реке под склонившимися плакучими ивами ныряет и выныривает. Хорошо было пожить у вдовы академика. Нанимал-то Тело присматривать за дачей сам академик, но как только нанял, сразу его в 102 года от роду в чёрной шапочке уложили в гроб. А вдова была вполлвину моложе. Так вот Тело постоянно омывалось со вдовой прохладной водой, вездесущей водой, обновляющей каждую клеточку тела. Ведёт вода туда, куда и сам не думал, на то она вода, чтоб в омовенье чуда почувствовать себя водою навсегда. Оможенный омывается мгновенно, не вникая, что стареет постепенно.

В лаптях и в косоворотке, подпоясанной верёвкой, бородастый человек говорит: «В каждом человеке живет тот дух, выше чего нет ничего на свете, и потому, чем бы ни был человек в мире: царем или каторжником, архиереем или нищим, - все равны, потому что в каждом живет то, что выше всего в мире. Ценить и уважать царя или архиерея больше, чем нищего или каторжника, все равно, что ценить и уважать одну золотую монету больше другой, потому что одна завернута в белую, другая, в черную бумажку. Нужно всегда помнить, что в каждом человеке та же душа, что и во мне, и что поэтому обращаться с людьми надо со всеми одинаково, с осторожностью и уважением».

Этот бородач не дошёл в своих рассуждениях до того факта, что человека производит Бог, который есть и у бородача, и у меня, и у Тела, и у Достоевского и у каждого человека мужского полу, и у всех подобных во всех временах и народах, для скромности называемого Херос, в него можно верить, можно не верить, но говорить, что его нет - абсолютная глупость, ибо, входя в лоно женщины и испуская дух святой - семя, - Херос создаёт нового человека, как под копирку, хотя человеком становятся немногие, постигшие душу Бога, которая находится вне тела человека, а в книге, написанной словами (знаками), и по этим знакам, по этой программе и работает всё в том и в

тело

этом мире, вот почему Бог есть Слово, которое вскрывает любое явление, вскрывает всё, вытаскивая это всё из безвидности, как сказано в Библии, и от этого Хероса идут все слова всех наречий одного языка Бога.

А то что Тело не отмечено словом, так это к тому, что тел этих бессчётно производится на сём свете ежеминутно, Херос работает неустанно, и уследить за каждым телом не представляется возможным.

Так Тело не было никем востребовано, когда упало под деревом в переулке, личность тела не была установлена, так и захоронено оно было безымянно на бесхозном участке подмосковного кладбища.

БЕГА

- На кого ставить?
- Ставь на Шепелявого! - понижая голос до шёпота, произнёс невысокий мужичок в огромной кепке-букле.
- Точно?
- Как пить дать!
- А может, на Цыгана? - задумался вслух, но столь же приглушённо, синеносый гражданин в пестрой тубетейке.
- Да что ты! - очень тихо вставил человек в кителе с пятью маленькими звездочками знаков различия на погонах
- А чего! - почти неслышно бросила кепка-букле.
- Цыган у Шепелявого вечно на хвосте сидит! - беззвучно заключил капитан.

Тогда ипподром был единственным местом, где можно было совершенно легально и безбоязненно играть на деньги. К окошкам касс, принимающим ставки, выстраивались длиннющие очереди.

Шепелявый был стремительным рысаком.

И побежали. Мелькают портреты и люди, мелькают дома и берёзы, мелькают деревья, заборы и ставни, мелькают понедельники и трамваи, мелькают столбы и вагоны, мелькают перелески и памятники, мелькают кресты и мавзолеи, мелькают палатки и бараки, мелькают войны и свадьбы, мелькают доллары и лапти, мелькают, мелькают, мелькают...

Перед началом забегов в конюшне всегда суета. Сразу все побежали. Стояло жаркое московское лето, солнце заливало Верхнюю и Скаковую улицы, бескрайнюю ширь ипподрома, живописных зрителей, и в тяжеловатых красках массивные жилые дома на Беговой. Перед самым финальным заездом Шепелявый, быстрый, проворный, сосредоточен, как и наездники.

Шепелявый был подтянут, худощав, мускулист, но с ямочками на щеках, и с такой же ямочкой на довольно выступающем подбородке, в детстве интенсивно и постоянно дышал свежим

воздухом, и мог часами пропадать на СЮПе - как сокращенно между собой называли Стадион юных пионеров.

- Ты куда? - спрашивали ребята.

- На ШЮП, - отвечал скорый, бойкий Шепелявый.

Мать у него работала на швейной фабрике, детские пелёнки-распашонки строчила и, между прочим, была начальницей цеха.

За конными тренировками обычно наблюдали любопытные. Группа наездников резко и празднично контрастировала синими, красными, жёлтыми мазками среди серых повседневных красок обычных граждан. Чуть в сторонке, поскрипывая поблескивающей в солнечных лучах кожей седел и весело звеня металлическими причиндалами сбруи, фыркали лошади, не беговые, а для скачек. Тут же возле них пританцовывали жокеи.

Жокеи - это те, которые скачут верхом на лошади. Наездники - это те мастера, которые сидят в колясках сзади лошади и соревнуются в бегах. Правда небольшие коляски эти столь неудобны, что обычный человек вряд ли спокойно усидит в ней. Смотрите, два велосипедных колеса, соединённые трубой рамы, маленькое сиденье на шаткой раме, и тонкие металлические оглобли. Сразу можно легко догадаться, что всё это сделано для лёгкости.

Мелькают бутылки и серьги, мелькают чулочки и танки, мелькают базары и канты, мелькают тараканы и вобла, мелькают сенаты и депутаты, мелькают судьи и тюрьмы, мелькают сапоги и подковы, мелькают мосты и реки, мелькают рубли и копейки, мелькают лица и гвозди, мелькают, мелькают, мелькают...

Конечно, значительно спокойнее, если пораскинуть хорошенько мозгами, ехать на покладистом мерине, но на бегах выигрывает норовистый рысак.

Мать в свои пятьдесят казалась молоденькой, почти тридцатилетней, формы были в полном соблазнительном порядке, слыла модницей и у неё имелись любовники, о чём Шепелявый знал, всё она старалась делать «по высшему разряду», к примеру, на завтрак подавала сыну в специальной фарфоровой

рюмочке яичко всмятку, ставила тяжелый серебряный чайник, китайскую сахарницу и сливочник в виде лебедя, на большой тарелке кузнецовского фарфора лежала той же дореволюционной фирмы тарелка поменьше, а уж на ней - небольшая глубокая тарелочка в форме мисочки с овсяной кашей.

В детстве на ночь мать напевно с придыханиями читала Шепелявому:

Говорит ему конек:
«Вот уж служба так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею...
Ну, не плачь же, бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой...

- Конёк волшебный? - спрашивал резвый, ходкий Шепелявый.

- Волшебный...

- Он всё может? - допытывался Шепелявый.

- Всё...

Шепелявый сладко заснул.

Но глубокой ночью он вдруг в неопишемом страхе проснулся, услышав грохот и ржание из денника матери. Стоило только Шепелявому почти беззвучно встать и осторожно приоткрыть дверь в её комнату, как он увидел возбуждённого коня, подступающего сзади к матери, призывно издающей любовное ржание и помахивающей хвостом. Шепелявый заметил, как член у коня напрягся и вышел из кольца отверстия. Шепелявый и сам возбудился и едва тоже не заржал громко. А конь запрыгнул на кобылу, обхватил ее передними ногами, и вогнал с размаху эрегированный жеребёнокородный орган в нетерпеливое эротичное в животном экстазе страсти влагище кобылы. Подергавшись туда-сюда несколько се-

кунд, конь взревел победно от произошедшего извержения семени.

Так был зачат шибкий, бурный Шепелявый.

Себя до одури любил Шепелявый, расчёсывал густую гриву, приводил в порядок длинный хвост, с необычайной нежностью разглаживал широкой лошадиной щёткой бока и спину. Как же не любить себя?! Наденет серебристый дакроновый костюм, наденет скрипящую от крахмала белую рубашку, повяжет узкий модный золотистый галстук, обуется в щузню с разговором, и пойдет прошвырнуться на Бродвей от Пушки до «Националя», в котором примет пятьдесят граммов коньяку и закадрит на вечер какую-нибудь раскрашенную чувиху.

Самому Шепелявому было лет тринадцать, когда он познал сок жизненного таинства. У неё была чрезвычайно большая грудь, можно сказать, огромная, от которой Шепелявый при встрече в подъезде не мог отвести взгляда. Как-то весной соседка не дала Шепелявому проходу, прямо на лестнице прижалась к нему этой феноменальной грудью и подвела свои губы к его губам, и Шепелявый, фартовый, счастливый, ощутил в её дыхании привкус цветущей сирени. Он почувствовал в прикосновении её губ ласковую нежность влажного и горячего языка.

Шепелявый не понял, как он оказался на перине в её квартире, как мямл величественные груди и целовал их вишнёвые соски, твердые, словно сами ягоды вишни, ещё не окрепшие, только наливающиеся соком. Но ещё больше Шепелявый торопел от того, как соседка подставляла ему, поддерживая на ладонях, как на весах, две спелые дыни, свои груди для поцелуя, ложась обнаженной пред ним в зазывной позе совершения открытого таинства любви.

Шепелявый, молниеносный, порывистый, резкий, был рыжей масти, отмасткой зеркально золотился, переливался, поблескивал в солнечных лучах, и порой казалось, что весь был отлит из чистого золота.

То, что Шепелявый работает в конюшнях, кое-кто на улице знал, но то, что он сам играет на бегах, мало кто догады-

вался. Один раз он Цыгана пригласил широким жестом в кабак у Белорусского на Горького, посидели не просто хорошо, это мало сказать, а допьяна и досыта, после чего шли, раскачиваясь из стороны в сторону, и видели себя сами со стороны в виде двух пьяных рысаков, рыжего и чёрного, музыкально цокающих копытами, размахивающих длинными метёлками хвостов, оглашающих улицу Горького с площадью Белорусского вокзала и с памятником пролетарию Горькому, восторженным ржанием ...и-го-го, и-и-и, и-гу-гу, и-и-и, и-го-го, и-гу-гу, и-ху-ху... на мотив какой-нибудь разудалой кабацкой песни.

Шепелявый, отдав честь знакомым наездникам, направляется к стоящему в отдалении человеку с лошадей, запряженной в коляску. Они обмениваются короткими репликами, покаяваясь на трибуну.

Вообще-то, его звали Коля, но все в округе знали его как Шепелявого. Звук «Ш» у него вылезал где надо и не надо. Тем временем лошади перебирают ногами поочередно, чтобы это действительно были бега, а не скачки.

Но особой дружбы у Шепелявого с Цыганом не было, хотя изредка бывали друг у друга в гостях. Так, жили рядом на Верхней улице. Встретятся, перекинутся двумя-тремя словами, и каждый бежит по своим делам: Шепелявый к Скаковой, Цыган - через подземный переход в метро «Белорусская».

В вагон метро вошел конь! Передком свернул налево между скамьями, зад занёс в проход справа, и тут же пулей слетели все сидящие молоденькие женщины, а стоящие старики, семеня, отвалили от греха подальше. Черные большие губы, черные огромные ноздри, обрамленные нежным ворсом, фиолетовые шары глаз.

- Конь! - кричали со всех сторон.

- Это с уголка Дурова, видать...

- Ну, совсем охренели, с конями стали в метро ездить!.

- Да я сам по себе, - извинительно и вполне добродушно сказал Цыган.

- Энтот с милиции конной... Я видал в Лужниках такого... Цыган звонко долбанул копытом в пол. Все стихли.

Но на днях рождения бывали друг у друга в обязательном порядке.

Мать Шепелявого очень любила простую воду, самую обыкновенную, о которой почти все наши люди и думать не думают, прозрачную, прохладную, дающую только одной матери, как ей казалось, известную ей силу, вдохновляющую воду, почти бесцветную, прозрачную, вбирающую в себя солнечный свет, который дробился на искрящиеся отблески, переливался животворными нежными пятнами на столике, на котором стоял с этой чудесной, но самой обыкновенной водой, большой кувшин из простого невидимого стекла, так что казалось, что вода сама по себе стоит на столе в изящной форме кувшина, и когда Шепелявый случайно перевёл взгляд на кувшин, то вздрогнул от неожиданности, увидев в воде огромный фиолетовый глаз, обрамлённый крупными ресницами, не сразу сообразив, что это Цыган с другой стороны склонился к кувшину, пытаясь понять причину необычайного свечения воды.

Беговая молодость! Впереди дождя. Как ливанёт, так ноги в руки! Хорошее дело пробежаться впереди дождя. Он вот-вот начнётся, чёрная туча за спиной. Но ты ускоряешься. Первые кали шлёпаются где-то сзади, метрах в десяти, но ты ещё сух и бодр. Увеличиваешь скорость. И при этом чувствуешь, что дождь как-то тебя оберегает, не догоняет, а идёт по следу, в догонялочки играет. С тебя уже льёт пот, а он след в след почти льёт. Занятое погодное явление. Гонится, но не догоняет. А тут ещё перед тобой дорога такой ослепительной вспышкой озаряется, что бежишь со скоростью этой вспышки, как резвый заяц бежит ночью перед несущейся машиной в свете её фар.

Тра-та-та... По огромному, неоглядному кругу ипподрома. Наездники в колясочках с вожжами в двух руках. В античной Москве. Колонны. Клодт на крыше.

Возле одной из конюшен дожидается своей очереди длинный парень из карантина, которому требуется подковать ло-

шадь. Шепелявый может и подковать. Конюшни сделаны по типовым проектам, на крышах сохранились печные трубы, хотя самих печек давно нет. Возле конюшен огорожены загоны - левады, где лошади гуляют на свежем воздухе. Конюшня поделена на денники, свои уютные комнатки для каждой лошади. Денник хоть и невелик, но достаточно просторен и оборудован с расчётом на свободное передвижение лошади, здесь проходит большая часть её жизни. Шепелявый ежедневно, блюдя гигиену лошадей, меняет подстилку - слой опилок или соломы. Здесь всё предусмотрено для безопасного содержания лошади, например, зазоры на полу между прутьями решетки должны быть таковы, чтобы в них не застряло копыто. Есть автоматическая поилка со свежей водой.

Мелькают серпы и молоты, мелькают зимы и вёсны, мелькают тени и стены, мелькают крышоны и крабы, мелькают персы и персики, мелькают вагоны и загоны, мелькают старики и жабы, мелькают пауки и скворешни, мелькают шпалы и нары, мелькают рубанки и вербы, мелькают, мелькают, мелькают...

Если Шепелявый был обучен матерью этикету, но не прочитал ни одной книги, то Цыган был парень начитанный, но безо всякого этикету, и очень любил кино. Вилку брал правой рукой, ел без ножа, когда был на дне рождения у Шепелявого, и мать его это сразу заметила, очень рассердилась, хотела сделать замечание, но сдержалась, зная, что по этикету делать замечания неприлично. Цыган неизвестно почему считал мать Шепелявого богатой, вся в золотых перстнях и кольцах, и обстановка с сервизами внушала уважение, да и питание было хоть куда: сервелат и инжир, осетрина и чернослив, буженина и печенье, кальмары и апельсины... А еще он немножко в хорошем смысле завидовал Шепелявому, что тот был всегда при лошадях, но сам их боялся.

Цыган постоянно приставал с книгами. Торопливо листает очередную, находит что-то и останавливает Шепелявого:

- Старик, послушай!
- Да некогда мне...

- Послушай, это про нас, - восторженно изрекает Цыган, стукнув копытом, и начинает зачитывать:

«Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей; седоков не было, и сам кучер, слезши с козел, стоял подле; лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой, у самых колес. Все говорили, кричали, ахали; кучер казался в недоумении и изредка повторял:

- Экой грех! Господи, грех-то какой!

Раскольников протеснился, по возможности, и увидел наконец предмет всей этой суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств по-видимому, очень худо одетый, но в "благородном" платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь; лицо было всё избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку.

- Батюшки! - причитал кучер, - как тут усмотреть! Коли б я гнал али б не кричал ему, а то ехал не поспешно, равномерно. Все видели: люди ложь, и я то ж. Пьяный свечки не поставит - известно!.. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится, - крикнул однажды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей; а он прямехонько им под ноги так и пал! Уж нарочно, что ль, он, аль уж очень был нетверёз... Лошади-то молодые, пужливые, - дернули, а он вскричал - они пуще... вот и беда.

- Это так как есть! - раздался чей-то свидетельский отзыв в толпе...»

Против правил, Шепелявый заслушался, присел и сказал:

- Продолжай...

Да, Цыган был здорово начитан, не проводил буквально ни одного дня без книги, помнится, на школьном вечере выставит ногу вперёд, вскинет восторженно руку, потряхнёт черной гривой, впявится огромными черными глазами гипнотизёра в зал

и проскандирует с лёгкостью, подвывая: «Просветлённая голова увидела с утра просветлённое небо и ещё больше просветлилась в противовес затемнению, которое случается с головой значительно чаще, причём, ни с того ни с сего, идёшь себе по узенькому тротуарчику узенькой улочки и вдруг помутняется всё вокруг, так что сразу не понять, что происходит вокруг и внутри, то ли ясность ума пропала, то ли небо внезапно почернело, а, может, и ночь так это сразу наступила, и фонари не горят, поэтому от страха закрываешь глаза, а когда открываешь, то видишь просветлённое небо с просветлённой головой!».

Красив был Цыган, артистичен! И, конечно, до самозабвения любил кино. Ну, просто за уши его не оттащишь от кинотеатра!

Один раз он с невероятной хитростью, говоря, что ведёт на суперзахватывающий детектив, затащил Шепелявого на «Земляничную поляну», где тот полфильма откровенно дремал и ничего не взял в толк, хотя потом ему Цыган пытался растолковать позицию Бергмана:

- Ты хоть понял, что Бергман без малейших усилий и вполне естественно перемещается во времени и пространстве, от сна к действительности?

- Да нет, штарики, шукота, - зевал Шепелявый.

- Как ты свои мозги на настоящее искусство не можешь настроить?!

- Ну, не могу...

- Не припомню, чтобы ещё какой-нибудь фильм так взволновал меня... Как будто это мои сны: опрокидывающийся катафалк с открытым гробом...

- Ты поэт, - сказал Шепелявый.

- Я от хорошего фильма испытываю счастье, - проговорил Цыган.

- Шсашстье... Что это такое?

- Ну, это отличный фильм...

- Шшсашстье, когда я мчущь... У меня, штарики, понимаешь, второе дыхание открываетша...

- Вот именно! - воскликнул Цыган. - Можно ведь снять счастье, примерно, вот так. В поисках счастья многие люди создают себе столько всевозможных несчастий, что за счастье в конце концов уже воспринимают простое отсутствие несчастий. Самый обычный денёк без всяких происшествий проведённый на широком и мягком диване кажется уже образцом счастья. Не выходить из дому, отключить все средства связи, закрыть все окна и форточки, чтобы с улицы не доносилось ни звука, лежать на диване и наслаждаться беспредельным счастьем...

- Ну, ты даёшь! Диван...

- А что?

- Поэт ты неисправимый!

- Можно сказать, что моя жизнь - океан возможностей. А можно и так: моя жизнь есть прозрачный ручей. Но и следующим образом можно: моя жизнь есть невероятный небесный полёт. Да и так тоже будет хорошо: моя жизнь создана для работы главным бухгалтером. Ещё прекраснее сказать просто: я рождён поэтом, но работаю не по специальности. Или так: всю жизнь мечтал купить машину, но никак не мог заработать на неё, приходится на старости лет довольствоваться самокатом...

- Отлично скажал...

Дельфинами плывут лошади, взмыленные, лоснящиеся после морской волны, вынырнувшие на поверхность. После неспешной проводки и тщательной уборки, когда лошадь немного успокоилась и склонилась к овсу, Шепелявый, как обычно выходит на улицу, его сначала не видно, поскольку его заслоняет широченный, растущий прямо у ворот двора ствол тополя.

Худощавый, даже стройный, с места переходит в бег, легкий, как стремительный полёт чайки над гладью реки, и точно так же стремительно несётся, почти не касаясь беговой дорожки, Шепелявый, даже не несётся, а парит в воздухе, словно у него появились крылья, или он сошёл с небес, чтобы ходить по

морю, как по суху, изредка прядя ушами, улавливая экзальтический визг трибун: «Шепеля-а-а-а-вый!».

- Как же ты сохраняешь фигуру? - спрашивали у Шепелявого.

- Очень прошто - не ем.

- Да как же жить без еды?! - не на шутку удивлялись.

- Три раза в день, по три ложки чего-нибудь, в 11, в 3 часа и в 6 часов...

- Да это ж копыта можно откинуть!

- Мои копыта легки, как крылья! - восклицал Шепелявый.

А у Цыгана уже наметилось брюшко. Ел он часто и сытно. Утром - яичницу с ветчиной, на обед - крутой борщ, чтобы ложка стояла, с хорошим оковалком мяса на мозговой кости, с двумя столовыми ложками сметаны, затем, на второе - жареный антрекот с жареной же картошкой, салат мясной с обильным майонезом, на десерт - кусок торта с большой чашкой кофе с молоком, да ещё после всего этого аппетитно съест сочную грушу. Пока Цыган был молод, организм перемалывал всё это с успехом, не оставляя жирок на потом, но с годами, которые летели птицей-тройкой, жирок стал интенсивно накапливаться на ногах, на руках, не груди и, главным образом, на животе, так что постоянно приходилось покупать костюмы возрастающих размеров.

- Ну, насыпали тебе в кормушку ведро вкуснейшего овса и ты, что, три ложки его съешь?! - встрял несколько недовольно Цыган.

- Вот тут-то и нужно быть натренированным! - бросил Шепелявый.

- Да я весь дрожу при виде овса! - умиленно воскликнул Цыган.

- Я, что, по-твоему, не умиляюсь?!

- Не знаю...

- Вот в том-то и дело... Я тоже вздрагиваю от удовольствия при виде овса, но... Не ем!

- Ну, у тебя, старик, и сила воли!

- А то всё про диету болтают... Налопаются шашлыков у реки на мангале.... Животы свисают... А потом бегают по врачам, рекомендации по диетам рашшпрашивают...

- А что же делать?

- Не ешь!

- Ну чё ты в самом деле... диеты всё же для чего-то существуют...

- Главная диета - не набивать желудок, покончить ш едой - и будешь летать штрелой!

Куда бегу? Да сам не знаю. Даже если хочу остановиться, врачение Земного шара не даёт этого сделать. Лёжа на диване, преодолеваю такое же расстояние, как бегущий по кругу. Но всё-таки, куда ты бежишь? Да сына нужно из детского сада забрать, жена поздно вернётся, мы с ней по очереди, через день сына забираем, она в театр сегодня идёт, «Горе от ума» смотреть. А мне ещё в магазин нужно забежать, по списку еды купить. Пельмени, батон, репчатый лук, молоко, подсолнечное масло и котлет. Хотел с ребятами сегодня посидеть, даже стакан портвешку заглотив, но с ходу побежал, а то, если бы кайф пошёл, пиши пропало, скандал, сын бы в саду до полуночи сидел. Так от скандалов и бегашь круглый день, то есть круглый год, то есть полный круг в 1600 метров, на приз, до восторженного крика трибун. Это вам не на диване кататься вокруг солнца. Хотя, я подозреваю, что солнце крутится вокруг земли, а то что высчитали, что солнце главнее человека, так это мура, чистой воды блеф, чтобы уменьшить человека до букашки и гнать его на завод по производству танков и в армию для защиты отечества, где под отечеством подразумевается тело некоего типа из пещеры, понимающего жизнь, как мордобой на государственном уровне. Вот и бежишь сломя голову от армии, от военного завода, бежишь от всяческого соподчинения по беговой дорожке, когда открывается второе дыхание и ты вопишь: «Нет, я не устал!».

И без всяких дополнительных разъяснений понятно, что Шепелявый довольно хорошо знаком с наездниками, поэтому всё время без всякого там волнения и напряжения выигрывает на бегах.

Но тут нужно сделать уточнение. Ибо ставки делает не он сам, а через других. Причитающиеся ему деньги, они, естественно, делаются на участников цепочки, откладывает, попусту не тратит.

Но по кругу лошадки бегут дельфинами, лоснящимися на солнце, всё бегут. По кругу.

Мелькают суда и посуда, мелькают рубашки и мыло, мелькают иголки и ведра, мелькают бананы и скрипки, мелькают картинки и мебель, мелькают ножи и подушки, мелькают посёлки и стойла, мелькают конюшни и кони, мелькают верёвки и парты, мелькают шпаргалки и среды, мелькают юристы и свахи, мелькают, мелькают, мелькают...

Цыган покрутился-покрутился с Шепелявым, поскандировал всякое, вроде такого: «С добрым утром, дорогая! С добрым утром, дорогой! С добрым утром дороге! С добрым утром, мы с тобой! С добрым утром, милый город! С добрым утром, ширь реки! С добрым утром, те, кто молод! С добрым утром, старики! С добрым утром, с ясным солнцем! С добрым утром, с новым днём! С добрым утром, свет в оконце! С добрым утром, с новым сном!», - а потом исчез куда-то на несколько кругов, то есть лет.

Шепелявый потом долго вспоминал это восторженное декламование Цыгана, даже сам про себя, открыв книгу, прочитал: «И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: "чёрт поberi всё!" - его ли душе не любить ее? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное?»

И Шепелявому чудилось что-то прекрасное и манящее, и он несся к нему «шижим орлом», имея в виду, конечно, сизого орла.

Круги, круги, круги... На фоне буйно цветущей всеми оттенками ультрамарина сирени помахивает Шепелявому белой тонкой рукой с поблескивающими в лучах солнца золотыми кольцами и перстнями мать, словно призывая и её крутануть по кругу.

И вот уже вокруг них люди, потные, взволнованные, сдают бумажки и получают денежки, отбоя от сдающих нет и складывается такое впечатление, что Шепелявый мчится в снегопад

по огромному ипподромному кругу, потому что бумажек, сыплющихся с небес, столь огромное количество, что иногда снегопад переходит в метель.

Теперь это уже не фабрика, на которой работала мать, а крупная фирма «Конёк-горбунок», со своей разветвлённой торговой сетью по всей стране и даже по её окрестностям.

Стеклянный билдинг вознесся к небу, и даже выше, так кажется Шепелявому, мчащемуся по кругу в черном бронированном автомобиле, а впереди броневик несется, прокладывая дорогу шефу, с охраной, и в машине сопровождения тоже охранники.

- Восьмой, восьмой...
- Восьмой слушает...
- Семнадцатый на подходе...

Шепелявому везде и всюду удача неизменно сопутствует.

Ворота, глухие и чёрные, распахиваются, тройка черных броневиков влетает, секундно минует двор и в открывшиеся ворота билдинга влетают прямо в лифт, все три машины, такой лифт может вместит и танковую колонну. На десятом этаже машины выныривают из лифта, но броневик Шепелявого, везучего, добычливого, влетает ещё в одни ворота, прямо на этаже, в гаражный холл своих апартаментов. Охранник у дверей, охранник впереди, охранник сзади. Шепелявый входит чёрными ходами в свой 100-метровый кабинет, бьёт нетерпеливо копытом, и тут же грудастая, с надутыми губами секретарша входит с подносом, на котором дымится чашечка кофе.

- Беш сахара? - спрашивает Шепелявый.
- Без, - отвечает секретарша и, бодренько покачивая пышным задом, двигается к исчезновению.

Наступает тотальная тишина. Все знают, что в течение 10 минут шефа нельзя беспокоить, потому что он ровно десять минут смакует маленькую чашечку чёрного, двойного кофе.

Круг за кругом... Шепелявый покатил сам по себе, Цыган вообще чуть не сошел с круга. Стоял теперь на мосту над железной дорогой в невесёлых размышлениях. Киностудия, куда

он распределился после режиссёрского факультета, накрылась медным гулко звучащим тазом. Но Цыган никак не хотел отречься от задуманной ленты. Поднял глаза на высокий стеклянный дом с надписью «Конёк-горбунок» и вошел наудачу в стеклянные двери.

- Вы к кому? - спросил вежливо охранник.

- Я режиссёр кино... Хочу кино про вас снять... - бухнул первое пришедшее в голову Цыган.

- Так... Это вам надо... В пресс-службу...

Цыган подошел к телефону на стене, набрал нужный номер.

И опять круг закрутился. Молодой менеджер разговорился о кино, о Куросаве, Феллини и Бергмане, что настроило Цыгана на оптимистический лад.

- Я сам снимаю необычно, - сказал он. - Дипломная работа у меня про оживший памятник Гоголю...

- И что же Гоголь?

- Ездит в бронзовом кресле по Москве, бумажки скупает, чтобы приватизировать усадьбу Толстого на Суворовском бульваре...

- Я вижу, вы талантливый человек... Но все решения у нас принимает сам, - сказал менеджер и кивнул в потолок.

- А можно к нему попасть?

- Практически, невозможно...

Цыган шумно вздохнул, почти безошибочно предчувствуя неудачу.

Так ни с чем в подавленном состоянии и покинул застеклённого «Конька-горбунка». Чтобы каким-то образом развеяться, махнул по старой привычке на ипподром.

Шепелявый, в резиновых сапогах и в брезентовой штормовке, метлой выметал опилки из своего денника.

- Штарик! - расплылся в улыбке Шепелявый. - Какими шудьбами?..

- Такими... Дал бы мне денег на кино без отдачи?!

- Да пойдем вмште шходим... Чего шмотреть-то хочешь?

- Ты меня не так понял... Я хочу сделать свою картину...

- Швою?
- Свою!
- А ты кто?
- Я режиссёр...

Успешный, благополучный Шепелявый постучал копытом по косяку калитки.

- Когда ж ты ушпел режишшёром штать?
- Да вот крутился-крутился по кругу и стал...

Шепелявый подумал о том, что сам крутится с утра до вечера каждый божий день, не понимая, а то и забывая, что к чему и зачем. Да...

«Когда вас можно застать?» - спрашивали Шепелявого, на что он отвечал: «До пятницы оштаватьша не могу, потому что уже в четверг меня ждуд, хотя я штарался перенести это на шреду, но не змог, пошкольку в шреду я уже был на меште и меня шразу вызвали, шказав, что в понедельник решится вшё, но потом вшё это дело решено было рашшмотреть в шубботу, так что о какой пятнице может идти речь, когда ещё во вторник было яшно, что я в абсолютном цейтноте, из которого вряд ли выберушь, какое-то чёртово колешо, потому что им хватило ума назначить вшё это на вошкрешенье...»

А Цыгану Шепелявый сказал:

- Да ты, штарик, не ошобо-то крутилша...
- Но ведь докрутился до того, что хожу побираюсь...

Шепелявый, цокая копытами, прошёл из угла в угол.

- Давай-ка, штаричок, поштупим так... Ты приходи ко мне жавтра на приём в «Конёк-горбунок»...

Цыган болезненно вздрогнул, сильно побледнел, затем очень медленно вымолвил:

- Я сегодня туда заходил...

Шепелявый с удивлением глубокомысленно посмотрел на него.

- И что?

Цыган немного успокоился, бледность сменилась румянцем, доходчиво объяснил:

- Да молодой менеджер из пресс-службы сказал, что все решения принимает сам, и кивнул в потолок...

Шепелявый ещё раз звонко, музыкальной подковой стукнул по металлу косяка и расхохотался:

- Шам - это я!

- Как? Не может быть!

- Может!

- Каким образом?

- Молча... Жачем шебя афишировать. Мать одна жнает, да вот тебя теперь прошветил... Только - могила. Я - рышак Шепелявый, бегаю кругами ш коляшкой.

Говорит ему конек:

«Вот уж служба так уж служба!

Тут нужна моя вся дружба.

Как же к слову не сказать:

Лучше б нам пера не брать;

От него-то, от злодея,

Столько бед тебе на шею...

Ну, не плачь же, бог с тобой!

Сладим как-нибудь с бедой...

Мелькают матрёшки и ёлки, мелькают высотки и бани, мелькают глаза и пилотки, мелькают окурки и пули, мелькают скафандры и дамбы, мелькают рояли и свёрла, мелькают балайки и самовары, мелькают врачи и калеки, мелькают дельфины и козы, мелькают цари и солдаты, мелькают амбары и склепы, мелькают, мелькают, мелькают... Ведь «рождено для наслажденья бегом лишь сердце человека и коня...»

Шепелявый сел в кресло, придвинул к Цыгану вазочку с миндалём, а сам закурил «филипп-морис».

- Понимаешь, штарик, в каждом деле... в любом деле, чего не кошнись в жизни, нужен... шбыт...

- Только не в искусстве, - попытался возразить Цыган.

- Вот поэтому ты и притопал ко мне, - пуская дым через крупные ноздри коня, сказал Шепелявый.

- Да ты не обижайся, - сказал Цыган. - Откуда я знал, что ты теперь воротила бизнеса!

Шепелявый положил ногу на ногу и сказал:

- Чтобы быть воротилой, нужно шодержать десятки на-
хлебников, от которых жавишит моё дело...

- А ты их отбрось, - простодушно посоветовал Цыган, про-
водя пятерней по смолистой гриве.

- Это невозможно!

- А всё же?

- Чудак человек, как я могу отбросить ребят из ФШБ?

- А с какой стороны твои детские дела и ФСБ?

- Шлушай, штарик, ты где живёшь? Это ж кры-ыша!

- Какая крыша?

- Такая! На меня нешkoľко раз наезжали... Штурмом ш ав-
томатами производство хотели жажватить! Вот меня и отмажали
швои ребята из ФШБ... Ты не помнишь, наверно, что на бегах на
меня вшё время штавил один шоштоятельный товарищ...

- Сколькo лет-то прошло... Всех не упомнишь, - сказал Цы-
ган, с хрустом перемалывая миндаль.

- Так вот, тот был из шамых вляятельных в ГБ... Теперь он у
меня в доле...

- Иго-го-го, - заржал Цыган, шлепая себя по плечам чёрной
метёлкой хвоста.

- Мало того, ш их помощью я проглотил почти вше швейные
фабрики по штране...

- Ну, ты даёшь...

- А ты про кино... Ну, дам я тебе нужную шумму... А даль-
ше что?

- Дальше? Ну, вот так, наверно... Поговорим о дереве, о
кроне, о листьях, о ветвях. Оно растёт, оно приносит свежесть,
но, главное, оно всегда молчит, но неизменно поднимает наст-
роение. Бросим все неотложные дела и постоим у дерева, и так
же, как оно, помолчим, не задавая никому никаких вопросов. А
потом сами с собой поговорим о дереве, о том, как оно подни-
мает настроение, как оно живёт без всякой суеты...

- Э-э, без шуеты ничего не сделаешь...

- Сделаю такое кино, что все закачаются! - воскликнул Цыган.

- А где качатьша будут? Прокат тебя не вожьмёт... И им нужно будет проплачивать, чтобы тебя вняли в обойму...

- Ты мне дашь на производство фильма?

- Дам... Доволен?

Цыган постучал копытами, поиграл гривой, взмахнул весело хвостом.

- Доволен, старик! Доволен всем. Доволен - солнце светит. Доволен тем, что плавится асфальт. Доволен облаком, подкрашенным рассветом. Доволен всеми. И доволен сам. Как хорошо довольным быть на свете. Довольно долго это понимал. Ведь быть довольными способны только дети, и то тогда, когда не будят по утрам. Доволен удовольствием довольства. Нелёгкий труд - довольным быть судьбой. Волна довольства плещется на воле. Да волен я в довольстве быть собой!

На крыльях беспредельного счастья покинул стеклянный билдинг Цыган.

Взглянув фиалковыми глазами на незаметно темнеющее небо, он подумал о том, что вечер наступает раньше, нежели неделю назад и невольно вспомнил о круговерти всего земного, кругами сам вертится во времени и в пространстве, совершая круг за кругом, вращаясь в быте и в небе, в яви и в воображении, круг за кругом, кольцами по судьбе и кругами по воде.

Шепелявый по-детски заржёт перед кормушкой, отрубей поест чуть-чуть, буквально три ложки, и опять на круг. Бежит, бежит, а в коляске Цыган сидит, с удовольствием поглядывает по мелькающим сторонам, словно ленту кино смотрит.

НИКАК НЕЛЬЗЯ БЕЗ САПОГОВ

- «Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, а следовательно, Пушкин - роскошь и вздор», - прочитал правый сапог Достоевского.

- Ну что? - спросил я.

- Поехали ко мне, - сказал Пушкин.

- Ты где живёшь?

- У Елохова...

- Ты один?

- Нет. С теткой...

- Она не будет мешать?

- Да не...

Мы допили портвейн и вышли на Чистопрудный бульвар. Было уже темно. Фонари горели.

Вскочили в «Аннушку». Пушкин бросил в кассу какие-то копейки, но билеты отрывать не стал.

У Покровки заметили, что пивная ещё работает.

- Заскочим? - спросил Пушкин.

- Давай, - сказал я.

В пивной «на рельсах», как мы её называли, было густо от людей. В автоматы стояли очереди. Пушкин в толчее увидел Лермонтова. Тот уже наливал в банку из-под огурцов порцию пива. Кружки были в дефиците.

- Брат Пушкин! - обрадовался Лермонтов

- Брат Лермонтов! - обрадовался Пушкин.

Лермонтова пришлось брать с собой. После пива забежали в дежурный гастроном. Взяли три бутылки водки.

На троллейбусе доехали до Елохова... Пушкин жил в высоком сером доме на последнем этаже. Высохшая до прозрачности седая тётка Пушкина уже спала в передней комнате. В тупике была дверь в кладовку. Это была комната Пушкина, после то-

го, как он развёлся и съехал из двухкомнатной квартиры на Профсоюзной, оставив её жене с ребёнком. У стены стояла раскладушка, рядом - табурет. Он и послужил нам столом. Выпили раз, выпили два, кладовка расширилась до Михайловского.

- А где Лермонтов? - спросил Пушкин.

- Он разве был с нами? - удивился я.

Выпили ещё.

- Достоевский неужели не мог обойтись без сапогов?

- Никак не мог обойтись без сапогов... Вот он пишет отцу: «Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на две пары простых сапогов - 16 р.»...

Пары сапогов ходили так и эдак, всмятку и вприсядку, как вышли из барака, так и пошли по улице Горького, сами себе хозяева, сами себе сапоги. Ещё бы! Все вокруг барака босиком за неимением обуви ходили, наращивая кожу на ступнях до прочности обувочных подошв. Крапива ноги не брала, такими они закалёнными были. Прямиком безо всяких дорожек и тропинок ходили, по глиняному месиву и по гвоздистой стерне. Как тут жить без сапогов?!

- Ты вон за той приударь туфелькой! - сказал левый сапог.

- А ты за босоножкой, - сказал правый.

- У нас надзирателям яловые сапоги дают...

- А у нас в НКВД - хромовые...

- «От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, что-бы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу», - прочитал левый сапог Гоголя.

- «Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка с своим Петрусем», - прочитал правый сапог Гоголя.

- «Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами», - прочитал левый сапог Гоголя.

- «Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопак и тропак, выбиваемые звонкими подковами сапогов», - прочитал правый сапог Гоголя.

- «Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь», - прочитал левый сапог Гоголя.

- «Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простак и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных смолок, ситцев, свечей, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукояйник, голландского холста, крупчатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду - насколько хватало денег», - прочитал правый.

- «Скоро вслед за ними всё угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, повидимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пяту», - прочитал левый.

- Надо же, Гоголь, сам Гоголь, светочь русского языка, не мог обойтись без сапогов?!

- Знамо дело. Вот, к примеру, по свидетельству Льва Ивановича Арнольди, Гоголь имел пристрастие к сапогам и в «Мертвых душах» в лице поручика из Рязани, большого охотника до сапогов, смеялся над собственной слабостью. «Кто поверит, - рассказывает он, - что этот страстный охотник до сапогов не кто иной, как сам Гоголь? И он даже нисколько не скрывал этого и признавался в этой слабости, почитая слабостью всякую привычку, всякую из-лишнюю привязанность к чему бы то ни было. В его маленьком чемада-не всего было

очень немного, а сапогов было всегда три, часто даже четыре пары, и они никогда не были изношены. Очень может быть, что Гоголь тоже, оставаясь у себя один в комнате, надевал новую пару и наслаждался, как и тот капитан (у Гоголя - поручик), формой своих сапогов, а после сам же смеялся над собою».

- «Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек; мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке - что до них?», - написал Гоголь.

- «Да мало того, что из меня половицу и чуть ли не бранное слово сделали, - до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: всё не по ним, всё переделать нужно!» - вступил левый сапог Достоевского.

- «А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне всё равно, хоть бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и всё вынесу, мне ничего; человек-то я простой, маленький, - но что люди скажут?» - вторя левому сапогу, прочитал правый.

- «Только это в моей фигуре, верно, они что-нибудь смешное нашли или насчет сапогов моих - именно насчет сапогов», - прочитал левый сапог Достоевского.

- «А, вспомнил: бежать! скорее бежать, непременно, непременно бежать! Да... а куда? А где мое платье? Сапогов нет! Убрали! Спрятали! Понимаю!», - поддакнул левому правый сапог.

- «Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостойн целовать даже сапогов стоявших пред ним сановников», - прочитал левый сапог из «Бесов».

- «Невеселое ваше житье! Но скажи мне, скажи, неужель в народе нет суровой хватки вытащить из сапогов ножи и всадить их в барские лопатки?» - донеслось от сапогов Есенина.

- «Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко причесанных висков до сапогов без каблуков и без скрыпу», - прочитал левый сапог Ивана Сергеевича, нашего ясного солнышка русской словесности, Тургенева.

- «Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою, и без того сутулую, спину и медленно вошел в гостиную», - прочитал правый сапог Тургенева.

- А что, и Тургенев не обходился без сапогов?

- Этот вопрос излишен. Кто ж на охоту ходит без сапогов!

- «Народ все выходил и, стуча гвоздями сапогов по плитам, сходил со ступеней и рассыпался по церковному двору и кладбищу», - прочитал левый сапог Льва Толстого.

- И Толстой не мог жить без сапогов?

- Кто ж на лошадь без сапогов залезает, дурья твоя голова?!

- «Ножки у меня больные, стуженые, а без сапогов оно выходит слободнее... Слободнее, молодчик... То есть без сапогов-то...», - прочитал левый сапог Чехова.

- «Растянувшись на полу около печки, лежал другой мужик; лицо его, плечи и грудь были покрыты полушубком - должно быть, спал; около его новых сапогов с блестящими подковами темнели дне лужи от растаявшего снега», - прочитал правый сапог Чехова.

- «- Господи, помилуй нас, грешных! - вздохнул благолепный Сергей Сергеич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. - Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!», - добавил голос из «Палаты №6».

- «Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов», - прочитал другой сапог из той же палаты.

О сапогах в родительном падеже я задумался неслучайно. От сапогов Пушкина углубился. Сама тема меня привлекла. Что-то новенькое. Вдоль и поперёк проехали по отечественной художественной словесности, не одно поколение заместителей литературы - критиков и кандидатов с докторами филологических наук - кормилось на солнце русской поэзии - Пушкине, а про классические скрипы сапогов в родительном паде-

же ещё не догадывались. Ведь Пушкин-то не мыслил поэзию без сапогов.

В этом самом родительном падеже в слове «сапоги» правилами допускается форма: без «сапог», то есть с нулевым окончанием. Но разве Достоевского с Пушкиным в правило загнишь? Они сами есть правило. Как напишут, так и будет правильно. Нету правил у «сапогов». Коварен русский язык, его всё в правила хотят загнать, а он, как река в проливные дожди, разливается и топит установки учёных временщиков.

«Коляски эти разъедутся неизвестно куда, дома все заложены, останется ль, нет ли кредиторам-то старых сапогов пары три. Вот тебе вся недолга?» - Да, это точно «Свои люди - сочтёмся», сочиненные в Воробьино на Яузе Островским.

«Я, вероятно, по успехам в науках буду выпущен в гвардию, - продолжал кадет: - но, к несчастью моему, не имею не только что на обмундировку, но даже купить получше смазных сапогов для выхода из корпуса по праздникам...», - во «Взбаламученном море» пишет Алексей Феофилактович, одно отчество которого может с уверенностью утвердить любую форму в русском языке, недаром что он Писемский!

«Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича», - пишет Владимир Галлактионович Короленко «В детях подземелья».

«Цели не было, и было только направление по звездной карте, пока не сносятся гранитные подошвы знаменитых сапогов», - рассказывает Михали Осоргин в романе «Книга о концах» в главе «Из-под Киева на Чердынь».

Иду тропинкою меж высоких ароматных трав вдоль речки Сороти в Михайловское, а навстречу Пушкин в сапогах. Спрашиваю, мол, куда стопы сапогов направляет, отвечает Пушкин, что двигается к Довлатову в Тригорское вином «Алабашлы» в палатке насладиться. Там такая синяя торговая палатка стояла, на пути к турбазе на городище Воронич.

Между тем Довлатов разговаривал с женщиной-экскурсоводом.

- Нужно как следует подготовиться, - сказала она. - Простудировать, методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного... Кое-что изменилось с прошлого года...

- В жизни Пушкина? - удивился Довлатов.

- Конечно, в моей жизни, - сказал Пушкин.

В дверь заглянула седая тётка Пушкина.

- Ты чего? - спросил Пушкин.

- Довлатов какой-то пришёл, - сказала тётка.

Следом вошёл Довлатов со стуком подков новых сапогов, выданных старшиной в зоне, и предусмотрительно им подкованных, чтобы износу им не было, по совету практичных деревенских ребят.

- В роте охраны стук сапогов должен быть слышен за километр, - сказал Довлатов. - Значит, охранник идёт, стихайте ээки...

- У нас тоже стук сапогов любили, - сказал я. - Помню, выпивали в каптёрке. Не хватило... Побежал один на взлётку к самолёту, слить спиртику... Стук его сапогов долетел до посланца гор из роты охраны... Ну, тот на стук сапогов и стрельнул... Убил гонца...

Тётка обратилась к Пушкину:

- Дай рупь на хлеб и молоко!

Пушкин покопался в брюках, извлёк комок бумажных денег, красных, синих, зелёных... Рубль оказался жёлтым...

Довлатов плюхнулся на раскладушку, отчего она с треском прорвалась чуть ли ни до полу.

Довлатов сказал:

- На каждом шагу я видел изображения Пушкина. Даже возле таинственной кирпичной будочки с надписью "Огнеопасно!". Сходство исчерпывалось бакенбардами. Размеры их варьировались произвольно. Я давно заметил: у наших художников имеются любимые объекты, где нет предела размаху и вдохновению. Это в первую очередь - борода Карла Маркса и лоб Ильича...

- Раньше была Пушкинская улица, а теперь Большая Дмитровка, - сказал я.

Пушкин сказал:

- Выпили как-то по стакану. Довлатов зашелестел страничками дневника Алексея Вульфа. Обо мне Вульф писал благосклонно, иногда с некоторым снисхождением.

- Конечно, каждое тело хочет себя поставить выше другого, - заметил я. - Они не хотят взять в толк, что душа находится в тексте. А текст живёт бессмертно. Да и потом, лицом к лицу лица не увидеть. Никогда пустопорожние, живущие только в жизни тела не признают другое тело, живущее в тексте и выдающее на-гора бесподобные тексты, гением.

А Пушкин сам в красной рубахе, в соломенной шляпе, ну и, конечно, в сапогах, в которые шаровары заправил. А то как Пушкину без сапогов?!

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов...

- Не ваксил, - говорю, - сапог! Правильнее будет...

- Два сапога, конечно, пара, - смеется белозубо Пушкин. - Но пара ненадёжная. Они и поодиночке могут находиться... Вон в Люблино в тине пруда я нашёл сапог Достоевского... И сразу понял, что в родительном падеже множественного числа от слова «сапоги» будет «сапогов»... Да я и так и эдак сапоги склоняю...

- А ваш друг Достоевский как склоняет сапоги?

- Ну, тот от «сапогов» не устаёт...

- Странно, он много позже вас писал сочинения свои...

- Мы свободные птицы, как нравится, так и пишем... Я вот в «Сапожнике» говорю:

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:
"Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?"...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
"Суди, дружок, не свыше сапога!"

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

- У нас одних Сапоговых не пересчитать... Загляните в интернет... Поищите Сапоговых...

«- Кто это с тобой, Сапогов? - спросил Званинцев почти громко.

- Это, братец, мой задушевный приятель, поэт, братец, и идет в актеры, - рекомендую.

Званинцев сухо поклонился, и спутник Сапогова отвечал ему таким же сухим поклоном.

- Что, каков, а? - продолжал Сапогов, толкая своего товарища и поворачивая его к Званинцеву», - услышали мы с Пушкиным от Аполлона Григорьева.

Довлатов достал из-под раскладушки свою зачитанную книжку, полистал, нашёл и прочел для нас с Пушкиным:

«Я благополучно миновал прихожую. Продемонстрировал рисунок землемера Иванова. Рассказал о первой ссылке. Затем о второй. Перебираюсь в комнату Арины Родионовны... "Единственным по-настоящему близким человеком оказалась крепостная няня..." Все, как положено... "...Была одновременно - снисходительна и ворчлива, простодушно религиозна и чрезвычайно деловита..."

Барельеф работы Серякова... "Предлагали вольную - отказалась..." И наконец:

- Поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки...

Тут я на секунду забылся. И вздрогнул, услышав собственный голос:

Ты еще жива, моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой...

Я обмер. Сейчас кто-нибудь выкрикнет:

"Безумец и невежда! Это же Есенин - "Письмо к матери"..."

Я продолжал декламировать, лихорадочно соображая: "Да, товарищи, вы совершенно правы. Конечно же, это Есенин. И действительно - "Письмо к матери". Но как близка, заметьте, интонация Пушкина лирике Сергея Есенина! Как органично реализуются в поэтике Есенина..." И так далее...»

Рассмеялись все, кто были в кладовке.

- Я из интернета не вылезаю, - сказал Пушкин. - Почти в каждой библиотеке живу...

- А Виктора Бокова песни любите?

- Бокова обожаю! - воскликнул левый сапог Пушкина. - Особенно «На побывку едет молодой моряк...» Бывало с Дельвигом и Довлатовым долбанём на троих бутылку водки и запоём...

- Боков тоже «сапогов» пишет... - сказал я. - Мне посвятил стихотворение...

Виктор Боков

ЗА ПРЕДЕЛАМИ

Юрию Кувалдину

Ни разу я не умирал!
Хотя умерших обнимал,
Когда их провожал в свой путь последний,
Как родственник и как наследник.

никак нельзя без сапогов

Я заходил на мавзолей,
Я жалился земному богу:
- Оставь меня! И пожалей,
Мне рано в дальнюю дорогу!

Я слышал голос: - Поживи
Годок-другой, а затоскуешь,
Жить на земле запротестуешь,
Бери ковчег, гребни, пльиви,
И похоронщиков зови!

Звенят печальные шаги,
Передо мной пустыня Гоби,
Вчера я отдал все долги,
Как хорошо-то мне во гробе!

Я умер! Я - земля, я - труп,
Я не трублю и не бряцаю,
Оделся я теперь в тулуп,
Мой мавзолей непроницаем!

Растет великий мой погост,
Мир мертвых тоже очень тесен,
Никто не носит сапогов
И не поет бывалых песен!

Грачи кричат, вороны каркают,
А рядом высится Москва.
И воцаряется над парками
Международная тоска!

14 марта 2001 года,
утром, на даче

- Хорошее стихотворение! - похвалил Пушкин. - Я же тоже
вам посвятил стихотворение...

- Какое?! - я был смущен, польщён и восхищён.

Пушкин, не отрывая глаз от своих щёгольских сапогов,
вскинул руку в красном рукаве, и проскандировал на всё Ми-
халовское...

Александр Пушкин

Юрию Кувалдину

Как шаг чеканный сапогов -
Ритм создается из слогов.
Прославим письменное слово!
Оно живой души основа.
Пусть тело тлеет без него -
На то нам тело и дано,
Чтоб в краткий миг его служенья
Перетекло в стихотворенье
И стало буквами оно.
Бог под копирку нас ваяет!
Нас много тел, но мы одно.
Душою слов его восславим,
Соткав святое полотно.
Ритм создается из слогов,
Как шаг чеканный сапогов.

21 апреля 1836 года
Санкт-Петербург

- Именно «сапогов»! - громко обрадовался я.

- Не «сапог» же в именительном падеже, - сказал Пушкин.

Тут мы с Пушкиным вспомнили ещё ряд примеров.

Лермонтов «Княгиня Лиговская»: «Кадрили кончались - музыка замолкла: в широкой зале раздавался смешанный говор тонких и толстых голосов, шарканье сапогов и башмачков; - составились группы...».

Некрасов: «И вор был окружен и остановлен скоро.

Закушенный калач дрожал в его руке;

Он был без сапогов, в дырявом сюртуке;

Лицо являло след недавнего недуга,

Стыда, отчаянья, моления и испуга...»

Андрей Платонов "Душа человека - неприличное животное": «И они замолчали. Другой, что говорил, ушел. Остался один, у кого в сердце зверь и душа свободна от белья и сапогов приличий...»

Князь Пётр Андреевич Вяземский «Просвирня и шорник»
(Из записных книжек):

«Тут бутешник, услыша крики
И вопли дики,
Пришел,
Взял деньги,
И в съезжую моих соседов он повез,
Его без сапогов, ее без кеньги...»

- Конечно, правильнее писать во всех этих случаях «сапогов», - сказал я.

Пушкин тут же подхватил и стал развивать эту мысль, ведь Пушкин весь стремителен и ассоциативен:

- Сапог один стоит в углу, - для начала сказал Пушкин и помчался: - Другой сапог лежит под столом. Пара разъединяется. Стало быть, во множественном числе в родительном падеже будет - «пирогов», то есть «сапогов» и никак иначе, не надо подсовывать здесь один сапог в именительном падеже, нам нужна склоняемая пара - «сапогов». Никак нельзя без сапогов. Мы же не будем говорить «ножницов», потому что одной ножницы не бывает, они скреплены, два ножа скреплены. Поэтому вытекает незыблемое правило: те парные предметы, вещи, если разъединяются свободно, как носки, чулки, галоши, боты, валенки и так далее и тому подобное, в родительном падеже множественного числа следует писать с окончанием «ов»: носков, чулков, ботов, валенков... сапогов!

Пушкин на мгновение умолк, затем задумчиво повторил пару строк из своего посвященного мне стихотворения:

Как шаг чеканный сапогов -
Ритм создается из слогов...

- Всегда нужно стоять на своём, - сказал я.

Пушкин, не моргнув глазом, ответил:

- А то как же! Пишу и стою, стою и пишу, никак остановиться не могу...

Я сказал, глядя прямо в глаза Пушкину:

- Даже не удивляюсь этому шедевру, посвящённому мне, не спрашиваю, как вы догадались о моём существовании в далёком от вас будущем, потому что ваше тело сделано точно так же, как и моё. Вы стандартны, выпущены компьютером Господа Бога на его нескончаемом производстве и по заранее разработанному плану в Слове, то есть в буквах, цифрах и все прочих без исключения знаках. Слово создаёт всё живое и неживое. Мы создаём Слово. Замкнутый божественный круг, в котором мы и есть все вместе во всех временах и на всех пространствах Бог. Бог един во множестве. Бог размножен до бесконечности...

- Блестящая лекция! - воскликнул Пушкин. - Я сразу всё ухватил. Мы рождаемся стандартными компьютерами, пустыми, с чистой, новенькой операционной системой, и с молодых лет формируемся личностями благодаря Слову!

- Вы блестящий ученик! - сказал я Пушкину.

ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ

- Валера, - звоню Жукову, - завтра нужно перебросить бумагу из Солнцева в Сталь.

- Нет вопросов, шеф! Сколько тонн?

- Шестьдесят, - говорю.

- Три машины по две ходки... Подряжу Колю и Хромого...

- Они длинномеры? - спрашиваю.

- По десять тонн на борт спокойно берут... Такие же, как моя, фуры... «камазы»... По две ходки сделаем! - говорит звонкий Жуков. Он вообще звонкий парень. С хорошей реакцией. Соображает на ходу.

С автобазой Госкомпечати в конце 80-х я сошелся сразу, как только начал издавать книги.

Издавать книги! Какой-нибудь хилый читатель купит книжку в магазине и никогда не подумает, как эта книжка в магазин попала. Ох, тяжёлое дело. В самом прямом смысле. На один стотысячный тираж 500-страничной книги уходит вагон бумаги.

Вот о вагоне я и толковал с Жуковым. Из Сыктывкара в мой адрес на склад в Солнцево пришёл вагон.

Когда я первый раз увидел Жукова, среди прочего он сказал:

- Читал до двух ночи...

- И что же читал?

- «Мёртвым не больно»...

Он был в кирзовых сапогах с подвёрнутыми голенищами.

Ничего себе, подумал я, читающий шофёр.

Время смывает со скрижалей многие писательские имена, как будто их и не было, несмотря на то, что в короткий советский период тысячелетней истории России они печатались миллионными тиражами. А вот, помню, повесть "Мертвым не больно" Василя Быкова перевернула сознание не только антисоветчиков, но и некоторых фронтовиков. Сила художественного анализа поведения коммунистического предателя такова была, что эту феноменальную вещь после публикации в "Но-

вом мире" в 1966 году, когда я ее сразу прочитал и понял, что передо мной произведение великого писателя, держали под сукном и даже не упоминали до наступления свободы подхода писателей к типографским станкам. Я делаю вывод, что Василь Быков с повестью "Мертвым не больно" жив, благодаря силе высоких художественных кондиций. Так и слышу здесь "Записки из мертвого дома"...

Вечером я сидел в кабине Жукова. Стемнело, горел фонарь, и падал снег. Валера передал мне все документы «сдал-принял», а я расплатился с ним, и для двоих других шоферов.

- Экселенц, - он и так меня называл, - вы платите мне за день столько, сколько я за месяц вырабатываю.

- За отличную службу!

Тиражи готовых книг Валера самостоятельно вывозил из типографий и сдавал их на Фрезерную, склады «Союзкниги», откуда они разлетались в контейнерах наземным, водным и воздушным транспортом по всей стране, и через «Международную книгу» по всему земному шару.

- Ты сам откуда, - спросил я почему-то.

- Да ниоткуда, - белозубо рассмеялся Жуков.

- Как это так?!

- Из детдома... Назвали меня «Валерой» в честь Валерия Чкалова... Ну, а фамилию прилепили в честь...

- Догадываюсь...

- Вот именно! Маршала Жукова...

В моей голове клубком закрутились на этот счёт мысли.

- Родителей не знаешь...

- Нет. Кто такие? Чёрт их знает... Бросили под забором...

- Прямо под забором?

- Это мне потом воспитательница говорила, когда я шкодничал... Приструняла!

- Ты хулиганистый был?

- Не без того... Бандиты... Многие, наверно, сидят, или в ящик сыграли... С ножами и кастетами ходили... Любили бить домашних...

- Да-а-а, - протянул я, глядя на круглое простецкое лицо Жукова.

- Да нифига не помню...

- Маленькие ручки, маленькие ножки, - заговорил я, распутывая клубок. - Я представляю сейчас, какие они были маленькие, хотя увидеть их не могу, вижу по аналогии с младенцами, которые в ближнем круге то там, то здесь самым невероятным образом появляются. С колясками у реки в жаркий день молоденькие женщины катают своих новорожденных, с маленькими ручками, с маленькими ножками. Но еще меньше на этих ручках и ножках пальчики. Это просто-таки произведения искусства. Посмотрите хотя бы на одни мизинчики. На ногах тоже есть мизинчики? А как же.

Жуков взглянул на меня с интересом.

- Так вот я стал Валерием Жуковым, - сказал Жуков.

- Имя диктует отношение, - сказал я. - Кто знает поэта Горенко? Нужно превратить этого поэта в Ахматову. Могут ли быть поэтами Степанов, Смирнов, Иванов, Сидоров? Кузнецов?.. При наличии гениальности могут, как, например, Вячеслав Иванов (тот, который с Башни) или Георгий Иванов (автор "Петербургских зим"). Родился без имени, пробежишь от метро до трамвая, и на кладбище, опять рабом Божьим сольешься со всеми. Именно так. По большому счету, человек в мире один, как Бог, только выпущенный из типографии роддома массовым тиражом. Писатель проникает в душу каждого, потому что в каждом находится его душа. Каждый экземпляр тиража прикован к фамилии, навязанной предками. Неосознанное тело другие именуют без его согласия. Другие пусть так и живут, думая, что они родственники кому-то. Биологического родства не существует. Спросите в детских домах и у Маугли. А это, между прочим, выглядит так. Поэт должен сам себе выбрать имя, чтобы не смешиваться с обычными паспортными людьми. Познание идет через слово. Граница человеческого познания начинается там, где кончается Слово. То есть оно само по себе не кончается, но возникают предметы (фай-

лы), не названные человеком. Всё, что не названо, не записано, то не существует. Мы оперируем словами. А слова двигают предметы, взлетают самолетами, работают телевизорами, создают компьютеры. Слово управляет миром. Вырваться из-под власти Слова не дано никому, кроме писателя. И это неопровержимый факт. Спросите у Гомера. Интернет обнаружил массу однофамильцев и полных тезок. Эпоха глобализации требует переназваний, избавления от двойников. Голядкин должен быть один...

- Достоевского не читал... Но хорошо говорите, Юрий Александрович! - похвалил Жуков.

- Ножки подняты вверх и розовые пяточки райскими яблочками переливаются, продолжил размышления я. - Одна ножка идёт вниз, другая к небу, говоря о нетерпении пяточек соприкоснуться с горячим песком, чтобы побежать по берегу моря, беспричинно размахивая ручками и поблескивая новенькими пяточками. Всё новенькое милейшим образом лучезарно, всплеском весенней непосредственности являющееся миру, вечно вращающемуся по немислимым орбитам счастья и благоденствия, выставляет для любования чудесные пяточки, которые без усталости целует алыми устами женщина, подарившая жизнь невероятному по совершенству созданию с божественными пяточками...

Шёл снег.

В юности я писал о снеге, что он всё кружится, медля в воздухе, падает, как будто сыплется из огромного сита мука на мельнице вечности.

- А я читал, экселенц, вашу первую книгу, - сказал Жуков, кладя локти на руль и склоняя к сомкнутым пальцам голову. - Очень мне понравилась... Эта... Как её... Ну там про театральную студию...

- «Пьеса для погибшей студии», - напомнил я.

- Во-во... Алик там с телевизором под поезд с платформы упал...

- Было дело...

- В другой повести... как уж её... ну там слово такое... трансмиссионная, что ли, любовь... хорошо о любви пишете, - сказал Жуков.

- Это «Трансцендентная любовь»... - подсказал я. - Художественная литература, в широком смысле слова, есть маскировка имени Бога. Язык стал развиваться благодаря этому запрету. От одного слова, о чем едва ли мог догадаться великий Зигмунд Фрейд, родились все слова мира. Красота спасет мир - это сказано о фиговом листке, которым прикрывают причинное место, то есть Бога. Отец отекает в мать. Явное стало тайным, а тайное станет явным. У меня есть повесть "Не говори, что сердцу больно"... Там профессор хотел иметь девочку помоложе. Я предоставил ему такую возможность: "Словно во сне, в счастливом сне, он как-то поспешно обхватил ее руками, и прижал к себе, и поцеловал в губы. Она обвинила его шею, а он, точно растерявшееся, преследуемое животное, хотел выскользнуть из-под нее, но она не дала ему этого сделать. И он, забыв все напряжение вчерашнего вечера, забыв окончательный разрыв с женой, как бы вычеркнув из жизни все прошлое, ощутил небывалую нежность..." "У вас есть сексуальная проза?" - спросила меня симпатичная редакторша в издательстве "Московский рабочий". Я сказал, что все мои вещи сексуальны, эротичны, любовны, но этого сразу нельзя разглядеть, потому что с тех пор, как запретили произносить имя Бога, я стал его маскировать...

- Матерщинничаем, значит, именем Бога?! - поразился Жуков.

- А то!

Жуков покачал головой, обдумывая услышанное, затем сказал:

- Я как-то не представлял себя младенцем... Или забыл. Прямо сразу взрослым как будто родился...

Я дал ещё образ младенца:

- В корзинке по реке младенец проплывает, не ведая того, что кто-то это знает. Он медленно плывёт, не зная, что плывёт.

Ласкает его взгляд огромный небосвод. Глаза его всё видят и не видят, транслируют мгновенья красоты, но мимо пропускают, поскольку не запущен в строй магнитофон в головке. А ручки, ножки шевелятся ловко, и пальчики сжимают пустоту. Нет рядом ни души, лишь тихо тростник шуршит, и кое-где из глубины к поверхности взмывают рыбы и хвостиком диктуют всплеск воде. И слышит он и ничего не слышит по той же причине несформированности устройства под названием «запоминалка». Такой запоминалки нет у рыб, такой запоминалки нет у кошек, такой запоминалки нет у птичек... Причалила корзинка к бережку и женщина берет младенца на руки с вопросом: «Чей ты?». На тельце малыша нет знаков принадлежности. Он общий, принадлежит и небу и воде. Всегда, везде под небом синим, на южном полюсе и в северной пустыне...

- Уй, как здорово про «запоминалку!» - выдохнул и причмокнул Жуков.

- Да, Валера, без запоминалки и названий нет человека...

- Как это... Хотя... - Жуков провел ладонью по льняным волосам.

- Так это, - рассмеялся я, любуясь снегопадом за окнами кабины.

- Улиц теперь много переименовывают, - сказал Жуков.

- Да... Вот улицу Готвальда переименовали в улицу Чайнова (до Готвальда это был 3-й Тверской-ямской переулок). А в советское время на Готвальда был еще и Фрунзенский РК партии (первым секретарем был Борис Грязнов, в новые времена ставший крупным бизнесменом, которого в 90-е лихие годы застрелили у международного торгового центра на Пресне) и РК ВЛКСМ. Первым комсомольцем был там мой знакомый Стасик Смирнов, впоследствии возглавивший Торгово-промышленную палату (после него ее возглавил Евгений Примаков). Так вот, с комсомольцами я осуществил несколько совместных издательских проектов, точнее, они мне доставали бумагу вагонами, а я им хорошо платил. Время бурлило, все были возбуждены, бегали по коридорам с горящими глазами, хотели

сразу получить как можно больше денег, недвижимости и славы. Среди секретарей был и будущий олигарх Михаил Ходорковский, который все выпрашивал у меня, как это я стотысячные тиражи печатаю и на пятый день после сдачи на ЦОКБ "Союзкниги" получаю миллионы рублей. Должен сказать, что в то время я был один в поле воин с мешками денег на заднем сиденье «Жигулей»...

Из черноты в конусе света фонаря шёл снег. К чему привыкли, тем и живем. Я помню, как-то Ницше на Цветном бульваре мне сказал: "Истина есть не что иное, как окостенение старых метафор". При этом он стал удаляться на белом снегу, чернея спиной...

- Это да, - согласился Жуков и добавил: - Всё думаю о себе, как о новорожденном... Забавно...

- А какой у новорожденного мизинчик! - всё более распылялся и вдохновлялся я. - Вы взгляните на свой и уменьшите его до размеров мухи. Микроскопический, но уже со всеми приметамы этого крайнего пальчика и так самого меньшего на руках и на ногах. Это не просто мизинчик, это произведение невиданного искусства. Не нужно рассматривать с полнейшим вниманием в это время другие пальчики младенца. Сосредоточьтесь исключительно на мизинце, сконцентрируйте внимание только на нём, предельная концентрация, подобная медитации, позволит понять всю невероятность непонятого, как из ничего создаётся этот пальчик с крохотным ноготком. Вот именно, с ноготком!

- Ну, надо же! Ноготок... Ну, вы даёте, экселенц! Вот ведь я дуб дубом... Никогда бы не подумал о ноготке на мизинце...

Шёл снег. Можно сказать, что художественные особенности текста должны превалировать над смыслом. Но смысл создается из тех художественных особенностей, которыми насыщено произведение. Слово никак не связано с предметом. Это мы его привязываем к предмету (объекту, субъекту). Отсюда проистекает путаница. Главная из которых так называемая наука генетика. Ребенок от своих родителей ничего не наследу-

ет, кроме устройства, сходства физиологии. Но когда ребенок наделяется фамилией, допустим, "Пушкин", мы готовы переносить черты гения Пушкина на это новое тело. Поэтому так бездарны дети, носящие имена (фамилии) гениальных родителей. И не понимают, как же так, ведь он сын Пушкина! Для чистоты эксперимента дети не должны носить фамилии гениальных родителей. Представьте, что детей Пушкина, скажем, именовали бы "Козловыми", а детей Толстого, по тому же принципу, - "Барановыми"! Известное (раскрученное) имя будет приподнимать, неизвестное (рядовое) - опускать. Слово вводит нас в заблуждение, и слово же ведет нас к бессмертию. Надо чувствовать слово и понимать его. Некоторые пишут: "Трава зеленая", забывая, что слово "трава" уже содержит зеленый цвет. Или говорят: "Идет белый снег". Слово "снег" в себе содержит цвет белый. Вот когда ты поймешь, что снег в прозе должен быть зеленый, а трава белой, тогда ты станешь мастером.

- Да-а, - вздохнул, заслушившись, Жуков. - Как это вы, писатели, всё подмечаете, просто уму не постижимо!

- А глазки, - продолжил я, - у него так и переливаются, становясь то голубыми, то карими, то зелёными, и всё тельце подхватывает всевозможные переливы, превращаясь то в цвета обжаренного кофе «арабика», то в северные отблески сияния над льдами и айсбергами. И в большом глазу ослика отражаться кукольным созданием самых совершенных форм, коих на всём свете до сих пор не было, и головка его окружается сиянием, и все зверюшки восхищаются этим сиянием и стараются лизнуть влажными языками самое темечко новоявленного.

- Глазки-то у человека раз навсегда даны... У меня они голубые... И у вас, - он взглянул на мои глаза, - тоже голубые...

- Ну, машины же тоже бывают разные, но машины, - сказал я.

Жуков задумался, затем сказал:

- Читал тут на днях ваше интервью в газете... Интересно вы говорите...

- Разные газеты, - начал я, - журналы, радио и телевидение неоднократно обращались ко мне с просьбой дать им интер-

вью. Кое-кому я шел навстречу, например, очаровательной Галине Фадеевой из телевизионной программы "Вести", или Владимиру Приходько, ныне покойному, из "Московской правды", или Роману Щепанскому из Всесоюзного радио, или Марине Дмитриевой из "Витрины читающей России", или Наталии Дардыкиной из "Московского комсомольца", или Игорю Зотову из "Независимой газеты"... Мне не хотелось этого делать, и не только из суеверия. Главной причиной было время, которого потребовала бы такая задача и которое я предпочел бы отдать работе над новым рассказом, романом или повестью, или чтению произведений авторов моего журнала, или редактуре уже отобранных вещей, или обработке текстов на компьютере, или сдаче балансового отчета в налоговую инспекцию, или покупке в Сыктывкаре или Кондопоге рулонов бумаги на текст и листовой меловки на обложку, или печатанию журнала в типографии, или еще многому и многому другому, творчески и производственно необходимому... Кроме того, для этого мне пришлось бы оглянуться назад и заново перечитать все мои произведения, а их накопилось томов на десять! Таким образом, я оказался бы перед перспективой, страдая, лицезреть скромные останки моих литературных усилий. Моим глазам предстали бы купюры, которые в свое время меня вынудили сделать. В моей памяти их нет, ибо вещи запечатлевались в ней по мере того, как они рождались, росли, наливались плотью реализованного замысла - словом, в своей цельности, а не в том виде, какой они обретали в последние дни противоборства с редактором...

За окнами кабины снег уже не шёл, а валил. Жуков изредка включал длинные «камазовские» щетки на лобовом стекле, на котором возникали как бы два веера обзора.

Я усмехнулся и продолжил:

- В чистоте лежит, в младенческой, как белый лист, на котором ничего не написано, как у каждого, любого и всякого младенца, в любой земле, на любой реке, у любого моря, у любого океана, в горах и в долинах, в селе, даже в Барселе, даже Севи-

лье и Стамбуле, а так же в Тамбове, чувствуете идентичность слов: «Стамбул» - «Тамбов»...

- Ой! Потрясающе! - буквально взвился Жуков. - К «Тамбову» прибавь «С» и - «Стамбул» будет! Ничего себе закрутка!

- Да, Валера, ибо как сказано мною и древними, по всему свету ходит-бродит один и тот же язык, в одном месте слышали звон, но не узнали где он, потому что мало прилагали усилий для понимания неостановимого потока производства младенцев, чистых, как лотос, прозрачных как воздух, да и из воздуха сотканных, поскольку всё на земле создается из подручного материала, ничего не привозится с других планет, на которые всё хотят слетать люди, думая, что там что-то создано из таких небывалых веществ, которых на земле не сыщешь, нет, в том-то и дело, что всё кроится из воздуха, на котором словами написано, что из чего делать и как делать, а ещё и то написано, как конструировать и создавать живых младенцев, только пока мы эти слова не прочитали, но начали читать, а для начала нужно признать, что все являющиеся на свет из лона матери одинаковы, как одинаковы соль и соль, сахар и сахар, мерседес и жигули, компьютер и планшет.

- Так что ж? Я такой, как все?

- Такой, с конвейера...

- Ничего себе!

- Да-а... - вздохнул я.

- Удивляюсь, как это вы из каких-то пустяков интересный рассказ выводите, - сказал Жуков.

- Пустяки... - начал я. - Это только так кажется... Журнал, книга, просто бумага для меня, как холст для художника, носитель, место для размещения своего не бывшего до этого произведения. И пишу, глядя на бегущие по чистому листу строки. Чудо, чудо, чудо! Нужно просто и постоянно писать, а писание можно начать ни с чего. Увидел шпингалет на форточке, пригляделся, а это вовсе не шпингалет, а толстая канцелярская скрепка для большой кипы бумаг, прочная, крупная такая скрепка. В некоторых местах эта скрепка гофрирована, а на

кончиках железной проволоки обязательно есть зазубрина, от перекусывания, она цепляет, а то и рвет бумагу. Но вот скрепки мне всегда представляются с этой зазубринкой на кончике проволоки. Поэтому прежде чем скреплять листы бумаги, я разглядываю очень внимательно скрепку, конец проволоки, ищу зазубрину и вверх этой зазубриной насаживаю скрепку на бумагу, то есть скрепка, как конек по льду, скользит по бумаге, зазубриной вверх. А если бы я не разглядел зазубринку, то скрепка не шла бы по бумаге гладко, а царапала ее, карябала, а то и рвала. Скрепки, покрытые тонким слоем никеля (в несколько микрон) долго не ржавеют, не пачкают бумагу и имеют привлекательный внешний вид. До ее изобретения занудные канцеляристы связывали бумаги стопками или рулонами с помощью лент или просто прошивали нитками. Появились скрепки не так уж и давно, чуть больше ста лет назад. До этого чиновники на протяжении почти шестисот с лишним лет скрепляли бумаги коротким отрезком ленты, протянутой сквозь прорезь... И так далее. То есть я хочу сказать, что я могу писать о чем угодно и это будет интересно, потому что слова, как кирпичи, ложатся в стены, получается дом, с окнами, дверьми, лестницами и всем необходимым...

- И чего это я, балбес, не подался в писатели?! - чуть не хоча, воскликнул Жуков. - Это так захватывает...

- Жизнь, ведущая к смерти, своей монотонностью вселяет во многих людей ужас, сказал я и продолжил развивать мысль: - Ничего не умея противопоставить миру, они бегут от него в свой внутренний мир, но и там не находят ни счастья, ни покоя, потому что их внутренний мир беден. Это не преувеличение, это безумие самой действительности. И, может быть, безысходность и предопределенность у этих людей не столь глубоки, как у Кафки, но дух уже озадачен. Вещие сны, атмосфера тайны, двойники, перевоплощения - лишь внешние аксессуары магического мира души. Литература делает людей умнее, прозорливее, ее вымыслы естественны, но не как сон, а как само существо яви. Как слияние мира литературы с обыденным

злом мира. Если цель литературы для многих - доставлять человеку приятное развлечение и отвращать его от более серьезных или, вернее, единственно подobaющих ему занятий, то есть от таких, которые обеспечивают ему хлеб и зрелища, чтобы он потом с удвоенным вниманием и старательностью мог вернуться к настоящей цели своего существования - быть приводным ремнем в государственной машине и... снова начать мотаться и вертеться, то такая цель не для меня. Литература - не развлечение, а возможность войти в бессмертную божественную программу, поселиться навсегда в мире бессмертных - Данте, Гоголя, Достоевского, Кувалдина...

- Не могу понять, как вы один всё успеваете делать? - с изумлением произнёс Жуков.

- Да так... - сказал я. - И даже очень просто... Стоило объявить Горбачеву о разрешении кооперативов, как надобность в советских издательствах, журналах и сотрудниках, их заполнявших, отпала, поскольку путь в типографию стал открытым. С 1988 года и до сих пор печатаю то, что хочу, ни с кем не советуясь...

- Потрясно! - бросил Жуков.

- Валера, представь себе дом с белыми колоннами в глубине липовой аллеи. Высокая дверь приоткрылась с едва слышимым музыкальным скрипом. И тут же басовитый возглас:

- Нимфа Офелиевна, вы только поглядите сюда...

- Что там, Орфей Аполлонович?

- Чудо свершилось!

На широком крыльце лежал младенец, мужского полу, на женском полушалке, голенький, сучил ножками, подергивал ручками, издавал весёлые звуки, водил синими круглыми глазами по сторонам.

Нимфа Офелиевна не подошла, а подлетела к младенцу, подняла его, прижала к груди, расцеловала всего. Орфей Аполлонович обнял супругу, и тут же отвернулся, чтобы скрыть слёзы счастья, брызнувшие из восторженных глаз.

В кустах цветущей сирени запел соловей.

- Это про меня! - захохотал шофёр Валерий Жуков.

Я вылез из его высокой кабины и направился к своим синим «Жигулям», стоявшими у стены склада и ставшими от снега белыми. Открыл водительскую дверцу, достал из-под сиденья щётку, и принялся смахивать с машины пушистый снег.

В это время уже рычащий с металлическим перезвоном «камаз» Жукова, выпуская клубы сгоравшей в цилиндрах дизельного двигателя солярки, выезжал из ворот.

Я завёл машину, и двинулся следом. Но красные габаритные огоньки Жукова в почти ночной темноте уже были далеко на ленте шоссе. Жуков ездил очень быстро.

НИКОЛЕНЬКА

Плач ребёнка. Где он плачет? Почему плачет?

В красной надувной курточке стоит у почтовых ящиков девочка лет пяти, с трудом дотягивается до своего почтового ящика, выуживает из него листовки и аккуратно опускает их в картонную коробку, поставленную здесь специально для рекламы, которая уже лет двадцать как не работает, но всё новые и новые «бизнесмены» из стоматологий, парикмахерских и, главное, производители окон и дверей, от которых вообще отделаться невозможно, суют рекламки везде и всюду, не желая понять, что все уже с окнами и дверьми. Кризис, стоны и плач.

Ребёнок плачет.

- Чей ребёнок?

- Мой, - говорит девочка.

- Как твой?! Тебе же пять лет!

- Нет. Мне уже двадцать три...

- Как ребёнка зовут?

- Денис... С ним бабушка сидит. Ей восемьдесят восемь лет...

Вот теперь Тихомиров думает, откуда взялся Денис, как эта пятилетняя родила. Но мысль обрывочна, и не до неё. Смывается всё из головы...

Человек формируется на примерах. Например, ты не в настроении, поэтому даже самое приятное ты воспринимаешь, как неприятное. Например, ты в хорошем настроении, тогда даже серенькое нечто ты приветствуешь улыбкой, потому что тебе хорошо без всякой на то причины. Например, у тебя скачет настроение, в один и тот же момент хорошее тебе не нравится, а плохое нравится. Например, плохое выражается в дожде, прохладе и ветре, а тебе это нравится, потому что в этот момент у тебя подскочило настроение, а как только выглянуло солнце, тебе это не нравится, потому что у тебя упадок сил. Например...

Жить негде - это было по-советски. В восьмиметровой комнате жили в огромной коммуналке по десять человек...

То жильё купить было нельзя, а то кругом на каждом новом доме объявления о продаже квартир. То ни копейки в карманах не было, а тут вдруг пачки банкнот стали в целлофановых пакетах носить. То за частную собственность немилосердно сажали, а тут кооперативы пошли на любой вкус. Валера шоферил, в коммуналке жил, дочь родил и вдруг одно время кончилось, а другое началось, без подготовки, как с обрыва вниз головой.

Валера раз, да, на счёт раз открыл кооператив из одного себя. Вozил, торговал, «рафик» купил, бабки сколотил и квартиру купил. Жену посадил с дочкой в машину и привёз в новый дом. Так крутился, напрягался, нервничал, ночей не спал, что забыл о своём слабом сердечике. Жена рюмочку поднесёт вечером, полегчает. А сама не рюмочку, а десяток рюмочек.

Тихомиров из сотрудника госбанка превратился в одночасье учредителем собственного банка, из однокомнатной квартирki в пятиэтажке перебрался в новую четырехкомнатную, женился и сразу завёл сынишку Николеньку, тот немножко не в себе уродился, замедленный. Вот и сейчас на улице не выгонишь, сидит и читает, телевизор не смотрит, всё читает и читает.

А, вообще, мало кто читает. Люди смотрят «кина», и то не до конца, потому что некогда...

Всюду подъезды. Куда бы ни пошёл, на какой бы дом ни взглянул, обязательно обнаружишь подъезд. С дверью. Люди входят в подъезд, и выходят из подъезда. Особенно в высоких домах. Много людей живет в одном подъезде. Но друг друга не знают, и, главное, знать не хотят. Они знают людей из других подъездов других домов, стоящих в другом районе.

Толпа навстречу, толпа в метро, толпа в магазин. Никто никого не знает...

Сначала лица в подъезде запоминаются, когда только отпраздновали новоселье, когда всё кругом новое, стены пахнут краской, в лифтах горят лампочки и не поцарапаны стены, по

ступенькам ещё не били молотками, починая бабушкины самоварные краники, в общем, всё жило, мелькало туда-сюда, в квартиры и из квартир, каждое утро, каждый день, каждый вечер, и так, по кругу, круглый год, и год квадратный, почти такой же, как и те, но треугольный, потом лица вдруг поменялись, дети стали рожать детей, и процесс это не прекращался и не прекращается, ячейки дома сменяются жильцами, жили одни, да померли, на их месте живут другие. Так жил шофер Валера со своей женой, тощей выпивохой с белой собакой, и была у них та самая дочка, которая родила, у которой кричал ребёнок, названный Денисом, с которым сидела бабушка восьмидесяти восьми лет отроду.

Тихомиров так и не выяснил, чья эта бабушка, мать покойного Валеры-шофера, или мать его жены-алкоголички... Ну, а если бы Тихомиров выяснил, чья она мать, что это бы дало Тихомирову... Пустой звук. А ведь живут рядом, в такой же большой отдельной квартире, как у Тихомирова.

В школе учительницу одну уволили за то, что она сказала прямо без обиняков, что все ученики умрут. И уволили, как будто она сказала что-то такое бессмысленное, от которого нарушится государственность. Дети, конечно, остолбенели, но никто не заплакал от выяснения своей жизненной перспективы, даже наоборот некоторые отчаянные ученики расхотались.

Смех смехом, но пятилетняя девочка осталась одна в четырёхкомнатной квартире. Папа, шофёр Валера, взял да умер. Она, девочка, не вполне поняла, что случилось. Немножко, правда, испугалась, когда задеревеневшее тело санитары вертикально поставили в лифте, потому что грузового лифта в этом подъезде не было, ходили только два узких лифта.

Увезли папу. Мама каждый день стала поддавать, лицо краснело и становилось ещё уже, и вообще мама была очень худая и пьющая, но девочка этого не понимала. Она привыкла к тому, что от мамы постоянно как-то по-особенному пахло, как одеколоном.

Потом мама пропала. Девочка спала одна в большой квартире, пока бабушка ехала из деревни. Потом бабушка приехала, и мама нашлась, мёртвая, в кустах. До этого она звонила в дверь к Тихомирову. Он открыл и увидел пьяную соседку, понял, и дал ей несколько бумажек, на которые мама купила то, что ей требовалась, пошла в кусты, выпила много из горла, упала и затихла.

Учительницу ни за что уволили. Она правду говорила.

Про эту правду лучше не заикаться, думал Тихомиров, вон, любуйся новыми домами, машинами, парками, детскими площадками...

День мрачный, в свинцовых облаках. Освещение ровное, мягкое, со всех сторон, без контрастов. Оттенков серого не пересчитать, хотя и трудно разглядеть переходы от тёмного к светлому. Всё стоит и всё плывет. Остановленное плавание в тумане, в мороси, в размытости. Река вытекает прямо из неба и вдалеке уплывает опять в небо. Золото листвы приглушается пятнами влажной зелени. Ничто не выпячивается, ничто не красуется, всё соединяется, всё рифмуется.

Вот оно искомое: соединяется и рифмуется, а не просто там как-нибудь да эдак, нет, всё есть поэзия с парной рифмой синих глаза, а то и чёрных очей!

Пятилетняя девочка родила. Тихомиров посмотрел на своего Николеньку, пришедшего из школы. Ему же тоже пять лет! А он в десятом классе. Ходит в очках и немного не в себе. Ходит как-то бочком. Левая рука плохо слушается. Правую ногу слегка подтягивает. Ступня вывернута в сторону. Бывает. Ко всему привыкает в жизни Тихомиров. В своём банке, где он примерно таких нанимает, и не такое увидишь, но оно и надёжнее.

Но как в пять лет соседская щуплая, смуглая, худенькая девочка родила, понять не мог.

А тут на дорожке от метро встретил к девочке в квартиру приходящую женщину, довольно симпатичную, в белом пальто, спросил:

- Вы рядом живёте, соседка?
- Да, - сказала женщина.
- Но там же пятилетняя девочка родила.
- Ей двадцать три года, - сказала женщина.
- А вы... То есть я никак не пойму... Живёте...

А, собственно, какое дело Тихомирову до соседей? Да ему и нет никакого дела до них, просто изредка возникают оттуда то голоса, то столкнётся с ними, даже у лифта, а вместе не едет, Тихомиров никогда ни с кем не ездил в лифте, ну разве с женой и Николенькой...

А всё-таки в человеке живёт этот сволочный интерес к соседям! Что там у них? Как?

Вон Николенька одним глазом смотрит в землю, а другим на небо, сразу вот так вот смотрит, невероятно смотрит, и всё, кажется, видит сразу, а когда разглядит это всё, то начинает говорить, проглатывая некоторые буквы, ну, скажем, звук "Р" у него совсем не выходит, превращаясь в какую-то стекляннотребезжающую трель, удлиняется звук, и со слюной брызжущей выходит, по которой сразу догадываешься, что язычок у Николеньки живёт своей самостоятельной жизнью, не подчиняясь указаниям головы. А, в общем, понять Николеньку можно, но иногда, глядя на него, хочется рассмеяться, потому что он всё сам с какой-то потоянной улыбкой произносит, как будто ему всё время весело, идёт и лыбится, и ручки не в так разлетаются велосипедными колесиками, и ножка подволакивается, а говорит дельное, умное, даже такое, что и понять с ходу невозможно... Поэтому у некоторых при встрече с Николенькой портится настроение.

Николеньку никто не просит портить им настроение, да он и не собирается портить кому-то его, а так получается, но что злиться на это "так", это всё равно что злиться на дождь, на снег, на жаркое солнце, всё само собой делается. А вы о настроении! Вот Тихомиров никому его не портит. Помалкивает, разговаривает о подпольной правде только с самим собой, даже с женой ни разу про эту правду не говорил, даже названия

потаённых частей тела не произносил, как будто не знал этих слов, хотя слова были, он их знал, но не произносил, когда жена, на то она и жена, всё без слов понимала, ложилась, принимала и кончала, как положено ей и Тихомирову.

То в квартиру входили одни люди, теперь входят другие. Откуда они берутся только?

- Я живу тут с сыном, - говорит она, в белом в обтяжку пальто и в белой шляпке, волосы светлые, заметно, что подкрашенные, сейчас любые цвета можно придать причёске, а лицо то ли молодое, то ли пожилой, косметика скрывает, молодит, красит, манит.

- Не понимаю, откуда, ведь девочке всего пять лет было, когда они въехали...

- Мой сын муж её... А ей двадцать три года...

Пожалуй, жаловать не буду, но не того, кто жалок с виду, а лишь того, кто смысл своей жизни видит в получении жалования. Жалко, конечно, всех желторотых, вылупившихся из яйца капусты на сельском поле в неурожайный год. Что они знают о жалости серых полей, где не растёт даже репей?! Жало плуга вспашет глину, но жалостно будет смотреть на скотину, жуящую солому в каждом неурожайном году. В пруду, заросшем тиной, жалобно стонут жабы, дабы жаловался каждый каждому на свою беду: пожалейте головку шальную мою, иначе в жалобе куда надо всех вас так изображу, что жалобно завоет сама бумага.

Интересное дело, без всяких усилий въехали в трёхкомнатную квартиру. Стало быть, она, это женщина в белом пальто, приходится свекровью пятилетней девочке, родившей, и оставшейся без родителей, поскольку те умерли, не пожелали по какой-то причине жить, хотя жизнь их тел от них не зависела, но всё же их как-то подвели тела, переставшие жить, а пятилетняя их дочка продолжила жизнь, и взяла да и родила. Конечно, если здраво рассудить, одна она не могла бы жить, а где она все эти годы была, что делала, Тихомиров не знал.

- А вас как зовут? - спросил он у женщины.

- Зина... - сказала она, повернувшись к Тихомирову вполборота, намереваясь продолжить движение к метро.

- Вы спешите?

- Спешу... У меня занятия... Я преподаю английский язык...

- А русский хорошо знаете? - зачем-то спросил Тихомиров. Она не ответила.

Значит, это свекровь въехала вместе с сыночком. Известно, что самый простой путь, хотя и довольно трудный, получить жилплощадь в Москве, это выйти замуж или жениться.

Тихомиров не спросил у Зинаиды, москвичи ли они, но по её выговору, замедленному, несколько окающему и гыкающему, как будто в говорении Зинаида преодолевала невидимые фонетические препятствия, предположил, что они провинциалы.

Через Москву едешь в Воркуту? Знамо дело, через Москву, а как ещё? На метро. Так в Херсоне метро нет. Выйдешь на «Новокузнецкой» и перейдешь на «Третьяковскую». Зачем? Ну, тебе же в Верону. Откуда ты взял, что мне из Херсона в Харьков через Москву? Мне из Венеции в Венесуэлу. Тогда поезжай по самой короткой линии от «Каховской» до «Каширской»! Заблудишься в Москве. Но если ты, конечно, чего смотреть приехал из Магадана, то выходи смело на «Третьяковской», а там напрямик через Ордынский тупик в Третьяковку. Зачем мне Третьяковка?! Мне через Тулу в Тулузу надо. А тебе через Стамбул в Тамбов.

Жизнь среди людей и есть общежитие, а не комната с множеством коек. Даже когда живёшь в своей квартире, всё равно живёшь в общежитии. Мечта о жизни в одиночестве так или иначе приводит в общежитие, в бытие среди людей, пусть даже среди жены, детей и тётки. Вагон метро, в котором ты трясешься с утра на работу, есть общежитие. Трамвай, театр, галерея, магазин, переулок, площадь, заграница, стадион есть общежитие. Умение прилично вести себя среди людей, которые населяют разношёрстное общежитие планеты, делает жизнь в этом общежитии более или менее сносной.

Тихомиров про себя думает. А как ещё думать? Вслух, при всех? Известно, за кого примут. Прежде чем выйти на улицу, говорит о себе про себя Тихомиров, иду проверять электрическую плиту, не включена ли. А то, бывало, спускаюсь уже в метро, и вдруг вспоминаю, что у меня она всю работу под кастрюлей. Обливаюсь холодным портом, несусь назад. Успеваю как раз в тот момент, когда мясо начинает жариться на дне кастрюли, вся вода из которой выкипела. Потом заглядываю в кабинет, не работает ли компьютер, работает, но отключаю. Верхний свет под абажуром, конечно, вернувшись часа через четыре, обнаруживаю спокойно горящим. Гашу, чтобы лампочка передохнула и, в потёмках включив компьютер, сажусь к клавиатуре.

Николенька-то пришёл уже из института, сел с книжкой, и сразу окончил институт, ныне на хорошем счету в аналитическом отделе министерства, а Тихомиров всё его из школы ждёт. Жена у Тихомирова красавица, моложе его на десять лет, но смущается, когда ведёт за ручку своего перекошенного, в очках, спадающих на кончик носа, Николеньку в детский сад.

Тихомиров сдержанно приветствует соседей, и садится в свою чёрную машину. Собирается ехать в свой банк, в котором он созидал структуру год, а потом бросил это дела, потому что стали наезжать, угрожать, отбирать, поэтому банк пришлось отдать тем, у кого очень высокая крыша, а самому перебраться советником в префектура, куда он теперь и собирался ехать, а не в банк, но банк постоянно мелькал в остановленном памяти времени, и частенько казалось Тихомирову, что он сам идёт с портфелем в школу, но повременил, потому что Николенька шёл под ручку с какой-то девушкой по асфальтовой дорожке от метро.

Кругом углы. Куда ни бросишь взгляд, всюду углы. А там ещё, только выйдешь, дорожки под углом идут, ни в коем случае не по диагонали, напрямую, а обязательно под углом, чтобы ты побольше мог пройти до углового магазина. Угол за углом и там углы углами углуют с угольниками и уголками угло-

ватыми. Угол есть понятие многотомное, поскольку и у каждого тома есть свои углы, не говоря о том, что за не освоение угловатого произведения мог быть поставлен в угол, то есть в такое положение, которое близко к безвыходному.

Увидев отца, Николенька не смутился, он вообще не смутился, а был в другом измерении, со своими на кончике носа очками, но выправившийся, довольно высокий, хорошо одетый, ну, тут уж Тихомиров с женой следил за внешним обликом Виталика.

- Это Регина, - сказал Николенька.

- Очень приятно, - сказал Тихомиров.

Но вот и тут будут детей производить.

Улыбнулся, промолвил:

- Вы там занимайтесь... Я нескоро буду... А мама уехала на работу...

- Да, папа. Мы с Региной позанимаемся текущими проблемами...

Текущие, подумал Тихомиров, проблемы - самые важные, потечёт и родится ребёнок, сразу, и пойдёт в институт на второй день.

У Оскара два глаза? Да. И у меня два глаза. А у Миранды два глаза? Тоже? Не может быть. И у Парфёна два глаза? И у Парфёна, как и у Оскара. А у Константина Спиридоновича тоже два глаза? Вы, наверно, имели в виду Константина Сергеевича? Так вот, сообщу вам, и у него два глаза. Да что ж это такое происходит! Какие-то штамповки с двумя глазами! Я уж не говорю про руки, ноги, и прочее, даже про то, что у каждого по одному имеется. И у Антигоны одна? Разумеется, одна. И у Анфисы? Да. И у Офелии? Естественно, одна. И у Ромео один? Совершенно верно, и у Ромео один...

Кому как, а Тихомирову робкие люди приятны. В людном месте они всех пропускают в дверь, придерживая её. Если садятся, то на самый краешек стула, сжав колени и тихо положив на них руки. При каждом громком слове вздрагивают. Закашлявшемуся человеку сразу предлагают стакан воды. Розовеют

при виде красивой, и не только, женщины. Где нужно и не нужно, вставляют «спасибо» и «пожалуйста». Нигде и никогда не причиняют окружающим вреда. Стараются как можно чаще и больше быть в одиночестве, и непременно с книгой. На улицах таких оробелых не видно, а если кто и увидит, идущих по стеночке, то думает, что они не в себе.

Всё течёт, и новые жильцы появляются, к которым прилепляются свекрови и тёщи, золовки, деверы, отчимы, свояки, зятя, дядьки и тётки, шурины...

И вот они ходят друг за другом, сливаясь с другими, ходящими по кругу друг за другом, а те сливаются в кольца хорововодов столетней давности и всё ходят кругами по воде, повторяя, то мой дедушка, то моя бабушка, то брат мой, то сестра моя, а когда приехал в старый двор, в старый дом, который был когда-то палатами осьнадцатого века, поди пойми какого, говорят так, что и не поймёшь, как зовут-то, мнут слова во рту, как гречку, и крупички на губах остаются, говорят, едят и производят следующих жильцов, и вот в старый двор заглянул, а когда осмотрелся в нём, то обнаружил там налоговую инспекцию номер восемьсот седьмую, а там, где была кухня, на которой бабушка уронила ведро с кипящим бельём, ошпарилась вся, но не умерла, и кожа с неё сошла, как от загара, и ходила бабушка лет двести жива-живёхонька, несмотря на то, что в осьнадцатом столетии ни бабушки, ни Тихомирова в этом доме не было, хотя там теперь официальная обираловка тех, кто работает, для тех, кто любит подводные лодки и танки, с навешенными на них ракетами, но потом быстро этот металлолом переплавляют, а в доме уже вставляют новые рамы с новыми стеклами, и кто в этом доме жил-поживал, дознаться ныне совершенно невозможно, хотя Тихомиров смутно вспоминал старичка с белой бородкой, который выходил на кухню раз в сутки, чтобы сварить себе манную кашку, а потом его никто не видел, и, главное, Тихомиров даже не знал его имени, безымянным старичок и жил в комнате, третьей справа на втором этаже, а кто там дальше жил, вспомнить невозможно, но ведь жили люди,

жили да сплыли, освободили место для других, а вообще, по центру жилья почти не осталось, только конторы кругом в бывших вместилищах тел, производивших другие тела, и дело с концом, вот вам, товарищ Тихомиров, итог. А вы о Николеньке? Что о нём говорить, поживёт-поживёт, да и исчезнет тоже! Эка загадка!

День был солнечный, весёлый, ароматный, потому что в небе голубили летали, белые из голубятни. Широким стройным шагом прошёл Тихомиров до подъезда. Покручивая хвостом, элегантно пробежала собака. С грациозностью балерины промелькнула кошка. Пронёсся, звонко чирикнув, юный воробей. Показала свою красу чайка, зависнув в воздушном потоке на широких крыльях. Покачиваясь из стороны в сторону, разлаписто и кособоко взлетела ворона, не обращая внимания ни на Тихомирова, ни на собаку, ни на кошку, ни на воробья, ни на чайку, кое-как болтаясь в воздухе, забираясь всё выше и выше, абсолютно не заботясь о красоте полёта.

Со стороны посмотришь на Тихомирова, обычный человек, идёт молча, руками не размахивает. А внутри? Думает. Редкое качество. Идёт и думает. Другие люди тоже, быть может, думают, но об их думах Тихомиров ничего не знает, потому что его мозг не подключен к другим мозгам, а полагается только на собственные мозговые возможности, заключающиеся в том, что в извилинах работает ум, который временно располагаясь там для того, чтобы думать, вот и получается, что не сам Тихомиров думает, а ум его думает, ум, расположенный в мозгу...

У подъезда школьник набирал номер своей квартиры, чтобы ему открыли, но Тихомиров приложил свою магнитную шайбочку на чёрной ручке к латунному кружочку и открыл дверь, пропуская вперёд школьника.

- Как тебя зовут? - спросил Тихомиров.
- Денис, - ответил школьник.
- Это ты всё время кричишь новорожденным голосом?
- Нет.
- А где твоя бабушка?

- У меня нет бабушки...

Они сели в лифт и молча поднялись на пятнадцатый этаж.

- Рад был с тобой, Денис, познакомиться! - сказал Тихомиров, вставляя ключ в свою скважину.

Денис нажал кнопку звонка, и сразу дверь ему открыла пятилетняя девочка, щупленькая, маленькая.

- Сколько у тебя уроков было? - услышал её голос Тихомиров.

- Три, - ответил Денис и, впопыхах втискиваясь в квартиру, в глубине воскликнул: - Mam, можно я на корт побегу в большой теннис учиться...

Дальнейшее Тихомиров не расслышал.

Из комнаты Николеньки слышалась музыка Шнитке.

Тихомиров прошел к себе, сел за письменный стол, посмотрел на одинокое белое облако на счастливом голубом небе, взял чистый лист бумаги и грифелем простого карандаша провел вертикальную линию от верхнего края до нижнего.

Откинулся к спинке стула, закрыл глаза.

Посидел с минуту.

Открыл глаза.

Задумался.

Проведя простым карандашом чёткую линию на чистом листе, понимаешь, что она психически сильно воздействует на тебя. Больше ничего на лист не наносишь, а лишь смотришь, не отрывая глаз, на линию, которая разделила категорично что-то с чем-то. Это очень интересное занятие наносить линию на бумагу. Сама бумага становится очень выразительной с линией. Когда линия выбегает за края, то она уже не разделяет, а соединяет, как тропинка, что-то с чем-то, или кого-то с кем-то из-за невидимого края.

Тихомиров вонне никогда не говорил то, что думал про себя, а думал он такое, что вслух не произносится, всё шло из подпольных мыслей о бесконечно производстве людей через самый животный инстинкт совокупления, основанного на постоянном неутолимом потреблении пищи и для создания ук-

ромного места для секса и еды. Размножение доводило Тихомирова до исступления, в особенности тот факт, что он и сам был сотворён в экстазе зачатия и вылез на свет из того же места, из которого повылезали китайцы, вьетнамцы и американцы. Все повылезали из потустороннего скрываемого от глаз мира в мир приличный, в мир социальных отношений, служебных положений и функционирования системы денежных знаков.

Тихомиров отгонял эти подпольные мысли, но еженощно взбирался на тело своей жены и совершал подпольные действия, гарантировавшие взлёты к божественному удовольствию.

Он смотрел на окна домов и как бы видел мужчин, входящих в женщин, видел тарелки с борщами и жареной картошкой, видел неостановимо жующие рты, стучащие и скрипящие зубами, видел рюмки и стаканы, снимавшие завесу стеснительности, чтобы женщина выше поднимала ноги, а мужчина деревенел в своём органе власти над вечностью.

- Что ты читаешь? - спросил он у Николеньки.

- «Лексикологию сакрального пространства», - ответил тихо пятилетний Николенька, пришедший со службы под ручку со своей женой.

- А я такое не читал, - сказал Тихомиров.

- Да и не надо, папа, - сказал Николенька. - Ты всё равно ничего не поймешь.

ВОРОБЕЙ

Воробей проворно прыгнул с дерева на забор, с забора, часто взмахивая крылышками, к машине, сел, завёл, поехал.

В прошлый раз, когда оформил в сельской конторе, как положено, все бумаги на дом, Воробей забил дверь досками крест на крест, и уехал в отличном настроении. Осуществил мечту. Купил дом в деревне.

Можно говорить «дом», можно говорить «изба». Кому как нравится. Дом был построен из солидных брёвен, заметно побуревших и даже кое-где, с дождями и снегами, почерневших. Из стволов деревьев. Вот стоят в лесу высокие деревья с ровными толстыми высокими стволами, они-то и будут лежать друг на дружке в стенах, переплетаясь на углах так, как люди сплетают пальцы.

Места с лесами мрачными, вечнозелеными, из елей. Это деревья такие. Не елей вам на душу глаголом стекает, а деревья ели мрачный дремучий лес образуют. Нижние широкие густые лапы елей по земле стелются, а под лапами - маслята да лисички желтенькие.

Потом стена чёрного елового леса редет, манящий просвет впереди открывается, березки начинаются, поляны раскатывает скатерть, а на скатерти белые грибы ждут погружения в лукошко.

Машину бы теперь купить. Надо как следует покрутиться, коли ни с того ни с сего в стране вечного счастья, которое построили революционно навсегда, время вышло, игра закончилась, прозвучал финальный свисток, и с места в карьер рвануло ошеломительное настоящее. А то на электричке, считай, три часа езды. Но это пока, потому что завершением мечты Воробья было поселиться здесь насовсем, прекратить московскую беготню. Несмотря на то, что все его звали «Воробьём», пошёл ему седьмой десяток, а с Мариной Сергеевной долго не покрутишься.

Есть такие на свете мужички, которые и на седьмом десятке «воробьями» остаются, бегают легко, крутятся, вертятся.

Марина Сергеевна, с черноволосой короткой завивкой, так шея казалась очень длинной, делая голову возвышенной, как бы существующей помимо тела, в советское время заведовала снабжением огромного столичного района, а теперь бойко делала то же самое, но только как собственница своего дела: покупала и продавала.

Посетители и просители шли к ней очередями, а те, которые с ней сотрудничали по советским условиям, принимались вне очереди, потому что были людьми проверенными, которым можно было без расписок отгружать кирпичи банковских упаковок наличности, заключать выгодные сделки, выискивать деловых партнёров.

Воробей был таким деловым. Как только в конце восьмидесятых разрешили кооперативы, так он сразу превратился из хозяйственника, а он заведовал на военном заводе складом готовой продукции, стал кооператором.

Пришли на завод из Германии компьютеры. Вот через эти компьютеры Воробей и познакомился с Мариной Сергеевной. Толкнул через неё партию втридорога, а Марина Сергеевна еще две цены себе наварила.

Воробей сразу согласился купить дом в деревне, прямо в первую встречу.

- Далековато, - сказал Воробей.

- Подальше положишь, поближе возьмёшь, - избитой поговоркой ответила Марина Сергеевна.

На другой день после поездки в деревню Марина Сергеевна огорошивает Воробья:

- Бери «москвич» в полцены в Южном порту...

- Беру, - говорит Воробей мечте навстречу и достает из портфеля три тысячи, теми деньгами.

Полная стоимость «москвича» была шесть тысяч, но в продаже-то машин не было.

А тут!

Взял у Марины Сергеевны талоны, квитанции, съездил в Южный порт, сел в свой белый «москвич» и сразу порулил в деревню.

Изба стояла заколоченной, как и оставил её Воробей.

Он монтировкой быстро отшелушил прибитые доски, отнес их к забору, посмотрел с восторгом на свою новую машину, и пошел в избу.

Осмотрелся.

Удивился картошке в плетёной корзине.

Воткнул в розетку плитку.

Картошка Воробьём была начищена мгновенно, когда он встал над помойным ведром и срезал острым ножиком очень тонко кожуру серпантином, почти всегда в один проход, потому что ему нравилось, как кожура длинной ниткой зависала над ведром.

- Только сковороду не мой! - проскрипел кто-то простуженно с печи.

Воробей в ужасе посмотрел на лысую с белыми патлами по ободку голову, выглядывающую из-за занавески лежанки.

Застыл в окаменелости. Ну, ещё бы! Приди домой, а там чужой!

Холод протрещал по позвоночнику.

«Там старик какой-то!» Но набрался храбрости для сохранения спокойствия.

- Да нет, надо помыть, тут жир застыл... - сказал он как можно равнодушнее.

Старик откликнулся:

- Это-то и хорошо...

Воробей поднёс сковороду к глазам и, чтобы лучше разглядеть, подошёл к низкому окошку.

- Чего хорошего? - спросил он.

- Ставь на огонь, увидишь... - сказал старик.

Воробей поставил сковороду на плитку.

- Ладно...

Старик продолжил инструктаж с печки:

- Режь туда сразу картошку...

Через некоторое время жир, оставшийся на сковороде, зашипел, а Воробей спросил:

- А масла подсолнечного нет?

Вместо ответа до слуха Воробья стал доноситься приглушенный храп, а спустя секунд пять, проснувшийся голос:

- Откуда!

Воробей нарезал ломтиками картошку, прямо на руках, а не на доски, причём делал это уверенно и тонко, чтобы жареная картошка потом похрустывала.

- Как на газу, быстро затрещала... - сказал он.

Пахло деревом и землёй.

Причём деревом пахло пронзительно, как будто Воробей сам был из дерева, а оно при солнечных лучах активно делилось ароматами всех своих соков.

Но откуда в забитой избе какой-то старик?

С печи лился уже храп с посвистываньем.

Воробей вышел из комнаты на мост, по-деревенски, а по-городскому - в прихожую, а там дверь открыта, не забил в прошлый раз. Сначала шло подобие скотного двора, через который в ворота без створок выходишь прямо в огород, в котором ничего не растёт, а метров через двадцать зеленеют в бурьяне вишни.

Но Воробей этого всего не видел, он в страхе думал о старике. Чёрт его принёс!

Когда вернулся, с порога спросил:

- А вы кто?

Голос с печки ответил незамедлительно, как будто не спал:

- Я - ты...

Страх на Воробья уже накатывал нешуточный.

- То есть как это - «я»? - выдавил он вопрос.

Занавески у лежанки как-то незаметно сомкнулись, ситцевые занавесочки, по синему фону белыми цветочками, но голос был слышен:

- Так и есть...

- Не пойму, - впадая в какой-то транс непонимания, отрешённо сказал Воробей.

- Так и есть... Купил избу?

- Купил...

- Для чего?

- Чтобы здесь жить в спокойствии...

- Ну вот и жизнь проскочила, ты залез на лежанку и оканчиваешь свои дни...

- Да бросьте шутить...

- Я не шучу... Мне уже шутить некогда... Девяносто шестой годок пошёл...

Воробей взъерошил волосы, чтобы лучше думалось...

А что тут думать.

Как хорошо идти с тобой вдвоём, я радуюсь тебе, мой друг случайный, я - это ты, и мы вдвоём поём, согласные во всём без замечаний, я - мой двойник, а ты - двойник меня, двоится жизнь до «двух» по поведению, поёт двойник, в тебе меня сменя, включая в жизнь твои во мне виденья.

Вот так вот, как говорится. Тут думай не думай, а ты есть он. И ни шагу назад!

Природная жизнь не думает, а само собой по заведённому порядку прокручивается, правда, незаметно для глаза, и, особенно, невнятно для глубокого понимания, да и для мелкого понимания никак не раскрывается.

Как выйдет Воробей в огород, так сразу любитесь крапивой. Она тут по забору не просто так растёт.

Воробей приваживал её сюда.

В разных овражных местах накопал с корнем и аккуратно, как малину, посадил вдоль забора. Воробью очень нравилось цветение крапивы, когда небольшие зеленоватые цветочки собирались в тонкие колоски. А в сентябре и урожай крапивный появляется в виде серо-жёлтых горошин. Вымахивала рукотворная крапива у Воробья в человеческий рост.

А уж щи получались знатные, без всяких там примесей, из одной крапивы.

Про щи из крапивы мысли уж очень глубокие получались, так и рехнуться сознанием можно. Лучше вообще ни о чём не думать. Пусть всё совершается само по себе, без прессовки, без наяриваний, разузнаваний, подталкиваний.

И вдруг из-за занавески сам посмотрел на молодого Воробья.

С вечера он протопил печь и забрался сюда на лежанку, или на полати, кому как нравится называть это чудесное приспособление для согрева костей.

«Как же так жизнь-то невидимо проскочила?», - подумал старик, с удовольствием отмечая, что Воробей очень умело жарит картошку.

Какой день наступал, Воробья мало волновало. Пройдёт через лужок к реке, сядет на бережку, и сидит смирно, без посторонней суеты. Долго ли сидит, коротко ли, неведомо, но Воробей всю жизнь шёл к этому сиденью у речки. Смотрит в даль далёкую на самую линию зубчатую леса и чувствует, что сердце бьётся совсем незаметно и много ровнее прошлых городских сердцебиений.

Сидит на травке Воробей, на бугорке, хорошо прогревшемся на солнцепёке. А само солнце, которое не устаёт греть, высоко стоит и всё вокруг заливает ласковым светом. А если прислушается Воробей, то слышит, как даже муравьи бегают к своей кучке.

Речка довольно широкая по деревенским меркам и очень чистая. Кусты ивняка плакуче свисают над водой. Рыба так кишмя и кишит. Кроме Воробья, некому ловить рыбу-то. Только с крючка одной удочки подлещика снимает, как на другой удочке уже клюёт. Только успеваает складывать рыбу в ведро. Воду в реке Воробей берёт для варки щей из крапивы, и для прочих хозяйственных нужд. Купается сам на середине, где глубина метра два достигает.

А так иногда любит лежать на намытом рекой песочке, прямо в воде лежать, у берега, ощущая приятную ласку омывающей его тело воды.

- Посиди со мной под яблонькой, - голосом влекущим позвала одинокая Воробьяха из крайней избы, когда Воробей шёл от реки с удочками и с ведром, полным рыбы.

- А чего ж не посидеть, - согласился он. - И рыбки тебе отвалю... Неси посуду...

Воробьяха сходила в дом за эмалированным тазиком. Краснощёрые, золотистые и прочие скользкие рыбки наполнили тазик доверху.

- Вот уха-то будет! - всплеснула руками Воробьяха.

Это потом она стала Воробьяхой, когда Воробей с ней сошелся. То ли она была старше его, то ли нет, не имеет значения в деле утешающего воссоединения. Но вот приглянулись друг дружке, поладили омолождёнными телами, к тому же по какой-то загадочной причине не стареющими. Нет, с виду-то вроде как старики, а как обнимутся где-нибудь под яблоней или в избе у него, или на перинах с шестью подушками у неё, так возраста сразу лишались, становились молодостойкими.

Поди, разберись в загадках жизни.

Старик довольно бодро приподнялся, свесил ноги с печи и, посмеиваясь, ступил сначала на широкую лавку, затем уж сошел на крепкие некрашенные доски пола. Включил плитку, нагнулся к корзине с картошкой, и быстренько начистил миску. Затем поставил сковороду на разгорячённый кружок плитки.

- Мыть сковороду никогда не надо, - сказал Воробей сам себе.

Да, Воробью было за девяносто. И сейчас, рассуждая и даже разговаривая сам с собой, он никак не мог в это поверить.

Только вчера заезжал к Марине Сергеевне, в подвал к ней, где она развернула широкий бизнес по отъёму денег у населения, но у Воробья отнимать стеснялась. То дома в деревнях продавала мифические, лишь Воробья не могла по старой дружбе обвести вокруг пальца, он единственный и купил эту избу, но как Марина Сергеевна с другими поступала, люди ведь несли ей деньги, она складывала их в мешки и ничего не боялась. То же было с машинами, один Воробей получил свой белый «москвич», другие ничего не получили, а деньги сдали.

Передислоцировалась всё время Марина Сергеевна. То в НИИ арендует офис, то в подвале, то на рынке, неделю посидит в одном месте, соберет деньги с доверчивых людей, и на новое место.

Где она сейчас, эта Марина Сергеевна?

Нелегко относиться к жизни легко, хотя, казалось бы, что может быть легче жить играючи, не беря в голову проблемы века, жэка и человека, когда с легкостью можно обходиться без всех этих сиюминутных проблем, стремящихся так нагрузить легко парящего над жизнью, что он не только под этой тяжестью падёт ниц, но и, главное, начнёт жизнь воспринимать тяжело, всю тяжестью рассудка, учитывая процентные ставки и курс рубля, международное положение и, особенно, длину китайской стены.

А она, Марина Сергеевна, учитывала. Ум работал, как счётная машинка! Где она ныне, эта Марина Сергеевна?!

Ветром сдуло. След простыл. Таких оборотистых людей в конце восьмидесятых проросло, как грибов после дождичка. Реформа шла за реформой, деньги кучами плавали над городом, дождём золотым проливались и исчезали. На то они и деньги, чтобы появляться и исчезать.

А зимой для Воробья вообще наступал рай. Кругом всё бело. А у него печь раскочегарена, и он млеет на печи. Вернее, спит, весь при этом бодрствуя. Ходит в валенках и полушубке по тропинке, которую сам протаптывает, ходит, снегом поскрипывая, и вдруг жарко ему становится, один глазок приоткрое, а он на речке сидит на бугорке, загорает, а рядом полная корзина белых грибов, крепких, как барабаны, музыкально постукивают.

Приехал доживать в деревню, а жизнь всё не кончалась. Все прежние-то, близкие ему люди, как-то и до шестидесяти не дотягивали. Отец, помнится в сорок восемь помер, жена в пятьдесят два, сын надорвался на работе, в тридцать девять отошёл в мир иной, а Воробей с этим делом всё тянул. Сначала тянул, потому что много думал об этом грустном деле, каждый день

ждёт с осторожностью, напряженно, думает, что помрет сейчас, а потом смотрит, год прошёл, три прошло года, десять лет миновали одним днём, ещё десять, и ещё спрессованные до минуты годы, а он всё не торопится покинуть жизнь.

Сходил как-то в дальнее село. Просто так прогулялся. Да и на церковь посмотреть. Звон, поговаривали, колоколов там чудесный. Действительно, звучание колоколов понравилось Воробью. Служба отошла. Все, кто были, человек десять, разошлись. Священник вышел заводить свой мотоцикл с коляской. Он жил в районном центре.

Воробей рядом стоял, между прочим, сказал:

- Если б знал срок окончания своей жизни, то не дёргался бы по пустякам...

- Это точно, - сказал рыжебородый священник и перестал давить на стартёр.

- Думаю про это, но никак не распечатаю эту посылку, - сказал Воробей.

- Не одни вы не распечатываете, - сказал священник.

- А что, и другие думают на эти темы по отпущенным срокам?

- Видать, так... Голова-то приставлена не для ношения головного убора...

- Да уж!

- Вот... Многое в отпущенной знаковой программой жизни делается необдуманно, - сказал с загадочной улыбкой священник.

Ну, священнику положено излучать добро. Иначе нельзя.

- Как это «знаковой»? - удивился Воробей, не позволявший своему уму подниматься в непонятные выси.

- Да очень просто.. Сконструированный по известным чертежам человек даже не подозревает о том, что это действие (жизнь) автоматически, точнее, биологично, поскольку человек есть биокомпьютер...

- Биокомпьютер? - обалдело спросил Воробей.

- Это я для понятности современным языком говорю, - сказал священник. - А так... Ведь сказано, что каждый человек со-

здан по образу и подобию, и в него уже заложены некоторые свойства «по умолчанию»...

Воробей вдруг рассмеялся и сказал:

- Ну да, например, хватать руками соплеменника за воротник, грызть в пивной воблу, надевать на прогулку армейские сапоги и, главное, вертикально ходить. Смотрите, сам идёт и не падает.

- Это вы лихо заметили! - в свою очередь рассмеялся священник. - «Идёт и не падает!», говорите?!

- Вертикальный! - утвердил Воробей.

Не надо думать никогда, когда движение отлажено. Как только задумаешься, сразу спотыкаешься. Шёл без дум уверенно, прекрасно, а как только задумался, сразу поскользнулся и упал. Если бы не думал, то продвигался бы уверенно, не задумываясь о завтрашнем дне. Уж этот будущий день просто не даёт уму покоя! А ты не думай о завтрашнем дне. Что толку о нём думать, думай не думай, он всё равно, не спрашивая тебя, придёт. Не думай ни о чём, не думай о том, успеешь ли ты на подходящий поезд, он ведь не последний. Не думай о жизни, она сама тебя несёт. Думать вредно!

А сам шёл и думал. Тьфу на тебя! Чёрт знает что в голову лезет.

В каком году родился Бог? Ну, ты, братец, спятил. Какие года могут быть у Бога?! Бог, разве, рождался? Нет, ты не отговаривайся. Откуда тогда начало времён, нулевой год, минусовые годы до чёрных фараонов и выхода Фрейда из Египта? То-то и оно, что повсюду темно.

Ранним утром капля росы застыла на подорожнике. А в капле весь мир отражается, переливается, оживает, не топчется никуда.

«Неужели всё это будет тут со мной?» - стуча вилкой по тарелке, наслаждаясь жареной картошкой, подумал Воробей.

Он встал из-за стола, почти бесшумно подошел к печке, поднял руку, раздвинул занавески.

На лежанке никого не было.

Пошел через задний двор в огород. Погодка стояла нектарная, с золотистым отливом и с остановившимся воздухом. Крапивы рядной по забору не росло. В задумчивости взял заступ, прошёл через лужок к оврагу, где благоухала сочная высокая крапива. Надел рукавицы и стал с корнем откапывать чудесное растение, затем в брезентовом тюке принялся переносить кусты крапивные в огород к забору и ровным рядом начал высаживать.

После огородной работы сходил к реке, посидел на бугорке, нежась в безмятежном солнечном просторе.

Потом походкой богомольца пошёл куда глаза глядят, благо, глазам было на что посмотреть.

Воробей оказался на узкой тропинке, ведущей к дальнему лесу. Тропинка пролежала через бескрайнее поле.

Воробей был всецело и безоглядно, одурманенно погружен в природу, слился с ней в буйстве трав, в пестром живописном наряде божественного ковра с васильками, лапчатником, дурманом, маками, ромашками, мальвами, донниками, люпинами, незабудками, колокольчиками, зверобоем, кислицей, душицей, девясилом, дягилем, дудником, снытью, осотом, пыреем и лебедой...

Ковер переливался морем красок в легком ветерке.

Но вдруг над горизонтом мгновенно почернело, далеко громыгнуло и побежало всё марево на Воробья. Ослепила молния справа, полыхнула молния слева, грохотнуло так, что земля под ногами затряслась и гул по ней пошёл.

Воробей сначала сильно испугался, съёжился, но как только первая капля ударила в лоб, так сразу успокоился расправил плечи и подставил лицо хлынувшему дождю.

Потемнело поле до ночной зги. Трава прижалась к земле. А Воробей скинул рубаху, всё скинул с себя и остался стоять нагишом в плену умопотрясающей грозы. Молнии били одна за другой почти рядом с первозданным человеком. И уже казалось, что эти невероятной силы электрические заряды вылетали из самого Воробья, что он был энергией вселенной, что это

он, а не кто-то иной, был Ильёй-пророком и самим Господом Богом.

- Ш-ш-ш... - шипел Воробей синим пламенем над пёстрым разнотравьем.

Мысли сверкнули молнией в чёрном влажном тяжёлом небе, а потом омрачились начисто, то есть вовсе никаких мыслей в голове не обнаруживалось, мрак наступил, а уж какие мысли во мраке души, хотя голова была на месте, и операционная система компьютера была чиста и невинна для вхождения детородного органа знаков из книги вечности, но зачатия мысли не происходило, глаза лупили по сторонам без запоминания, магнитофон испортился, оглушил до потери памяти гром.

Никто писем Воробью не писал.

А он всё равно как бы отвечал на не полученные им письма. В ответ на ваше письмо ничего нового сообщить не могу, хотя вы тоже написали, что у вас всё идёт по-старому, при этом я порадовался, что всё именно идёт размеренно, без взлётов и падений, как, впрочем, и у меня всё идет по мерке предыдущего дня, не внося неразбериху в чётко отлаженный механизм жизни, которая постоянно хочет внести какие-то изменения в сложившийся ритм, но я, как и вы, противостояю всяческим новшествам опорю на фундамент выработанной давным-давным позиции.

Когда возвращался в деревню, у крайней избы увидел на скамейке под яблоней, такая высокая яблоня, с маленькими яблочками, называемая китайкой, женщину в цветастом платке на плечах.

- С новосельем! - тепло сказала женщины.

- Спасибо! - ласково сказал Воробей.

- А у меня самовар поспел...

- От чая из самовара не отказался бы, - сказал Воробей.

- У меня и варенье из этих яблочек, - сказала женщина.

«Будущая Воробыха», - пронеслось в голове Воробья.

Яблочко сорвали, чайку попили, о том, о чём вслух не говорят, поговорили, шторы закрыли, жизнь прожили. Забава!

воробей

Всё в нашей жизни совершается очень медленно и равномерно, даже понять эту равномерность не в состоянии. Если бы сразу, скажем, после восхода солнца, оно резко падало вниз, выволакивая на сцену ночь, то люди подивились бы этому явлению и стали бы давать всевозможные объяснения, вроде затмения или жуткой черной грозы. Но равномерность никогда и никем не объясняется и не понимается, потому что из цветка через три минуты не может сформироваться яблоко, но люди упрямо его срывают и тут же падают на землю недалеко от своей яблони.

Окна настезь, воздух летний.

Легким взмахом на заборчик Воробей вскочил, и кончил...

Жизнь.

ЧЕЛОНЕТ

- Как вы говорите? - спросила Софья Павловна.
- Челонет... - ответил Чацкий смирно.
- Ну и?
- На улицах хмарило, - сказал Чацкий.
- Как это «хмарило»?
- Стояла хмарь...
- Это как? - вновь спросила Софья Павловна.
- Серый воздух плёнкой серой делал всё мрачнее мрака...
- Очень мрачно... Мне понятно...
- Вот я мрачно пешковал...
- «Пешковал»? Что это значит?
- Я, как пешка, шёл пешком...
- Мне понятно...

- Смотрю, горят витрины магазина. Поздно уже. Стемнело. Никогда ещё не брал в этом магазине. Зашёл. При входе у никелированных турникетов взял зеленую корзину и прошёл в зал. Уже нацелился снимать с полки намеченную бутылку, как из-за спины выскочила худенькая, как я понял, кассирша в зелёном фартуке, и буквально набросилась на меня с требованием:

- Верните пятьсот рублей!

Я стоял, как дурак, у полок с протянутой к бутылке рукой, и никак не мог сообразить, с какой стати эти пигалица наскочила на меня. Всё же я переспросил:

- Пятьсот рублей?
- Пятьсот, - подтвердила зелёная. Лицо у неё было кукольное и немножко придурковатое.
- А почему именно пятьсот?
- Да потому что вы вчера дали мне тысячу, а купили на восемьсот семьдесят рублей... А я вам вместо сотни машинально сдала пятисотрублевую бумажку...
- Я вам должен пятьсот рублей?

- Касса показывает недостачу в пятьсот рублей!

- Я в этом магазине первый раз, - сказал я, и снял с полки бутылку.

Зелёная поникла головой и скоренько ретировалась.

На кассе сидели такие же кассирши, как та, что подскочила ко мне, но именно той там не было.

- Так-так...

- Вот так вот...

- А если подробнее?

- Чуть свет уж на ногах! И я у ваших ног...

- Со станции «Охотный ряд»?

- Не с «Площади...» ж «Свердлова»... Прямо с площади Свердлова на Охотный ряд, где огни Кремля горят... - пропел Чацкий.

- Где ж лучше? - спросила Софья Павловна.

- Где нас нет!

- Блажен, кто верует, тепло ему на свете! - Софья Павловна откинула с Чацкого одеяло, подняла подол его рубашки, обнажив в русых зарослях член, на который был надет мочеотводный катетер с пакетом, переполненным желтой влагой.

- Земной шар до словесного периода уже был опутан биокомпьютерами, не из железа, а из плоти, что много совершеннее, которые воспроизводят сами себя, а не на заводах, впоследствии получили название «человек».

- Любопытно, - сказала врач Софья Павловна.

- В том-то и дело, что любопытно, - сказал Чацкий. - Вот вы думаете, что вы - это вы. А на самом деле вы биокомпьютер.

Софья Павловна была молода, красива, стройна, высока, большие глаза её лучились и были то зелеными, как новорожденные весенние листочки берёзки, то цвета небесной безоблачности, то наполнялись глубокими тонами ночи, в зависимости от освещения и времени суток. В своём накрахмаленном и изумительно выглаженном белом халате, облегающем грудь и бедра, надетом на голое тело, как Чацкий догадался, когда полы халата при движении открывали белую кожу бедер, по ко-

торым возбуждённому Чацкому тут же хотелось провести рукой от колена, поднимаясь всё выше, до самого паха.

Софья Павловна сидела на стуле возле кровати Чацкого, который, пока она осматривала его член, осмелился-таки незаметно положить свою ладонь на оголившееся колено Софьи Павловны и стал продвигать её всё выше к трусикам, но, не обнаружив таковых (на голое же тело был накинут халатик), утопил пальцы в шелковистых волосах на лобке.

- Хорошо, - сказала Софья Павловна. - Продолжайте...

Явление Чацкого. На станции метро «Охотный ряд» в час пик он расталкивал всех подряд с криком: «Я - биокомпьютер!»

Да, вот и всё зелёное, зелёное, с зелёными оттенками. Как будто трава проклюнулась из-под снега, но это снег позеленел. Что-то не так. Сними очки и посмотри на снег внимательно. Видишь, что он белый? Нет, не может снег быть белым. Это короткое замыкание в дне глазного яблока. Снег всегда был зелёным. И только, пожалуйста, не надо спорить. А кто спорит? Зелёный так зелёный. Почвы для полемики нет. Вам кажется снег зелёным, а мне... Он взгляделся внимательнее и сказал, а мне он видится синим...

Слава тебе, Чацкий! Наконец-то доехали до понимания снега. И, вообще, никогда не спеши с красками.

Помедли.

А то привыкли белое выбеливать до такой степени, что тошно становится. Куда ни кинь, всюду белые березы, белый снег! Я, сознаюсь, сразу понял, что снег не может быть белого цвета.

Белее белого печаль, белее белого тревога, уходит в облако дорога, уходит жизнь, и это жаль, но начинается, пусть строго, вторая вечная дорога...

С кем был! Куда меня закинула судьба! Все гонят! Все кланут! Мучителей толпа, в любви предателей, в вражде неутомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простяков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором, - безумным вы меня прославили всем хором. вы

правы: из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробить успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Вон из Москвы! сюда я больше не ездук. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок!.. Карету мне, карету!

И карету тут же подали, карету «скорой помощи», с проблесковыми маячками и с воющей сиреной, и мигом доставили в клинику Грибоедова.

Это она в белом халате? Свесил ноги на койке небритый биомонитор под брэндом «Чацкий». Принимал до этого горсточку разноцветных таблеток из маленького прозрачного пакетика, которые на снегу возле кроватей раскладывают, на тумбочки, конечно, белые, медсёстры, кстати говоря, тоже в белом, хотя белого цвета нет.

Есть только снег. Но и он не вполне белый, потому что вышел из парижских нег. В том-то и дело, что слово «снег» французское.

Высокая худощавая, в снежном халате, облегающем тонкую талию, и вообще, вся такая юная, сдержанная, а как ещё в молодости подчеркиваться своё медицинское положение, врач поскрипывает снегом.

Глаза опустил ниже. Ножки стройные, туфельки на каблучке, красивые, темные.

Как-то всё в снегу, но разноцветное за окном. Как будто башенка из детских кубиков высится. Радостно и щемительно на душе. Ещё бы, никак диагноз поставить не могут, а всё кажется белым и всё болит.

Хор голосов по клинике летел:

- Э! брось! кто нынче спит? Ну полно, без прелюдий решишь, а мы!.. у нас... решительные люди, горячих дюжина голов! Кричим - подумаешь, что сотни голосов!.. Да из чего беснуетесь вы столько? Шумим, братец, шумим! Княжны, пожалуйста, скажите ваше мнение, безумный Чацкий или нет? Ах! Чацкий! бедный! вот! Что наш высокий ум и тысяча забот! Скажите, из чего на свете мы хлопочем!

Что конкретно болит, где болит, не понять. А вот башенка привлекает, особенно когда светит мартовское солнце, которое из белой палаты кажется жарким. Койка стоит параллельно очень широкому окну, под подоконником которого дышит даром батарея.

У койки стоит пара сапогов с накинутыми на отверстия голенищ портянками.

- По-о-дъём! - нечеловеческим голосом заорал дневальный.

Две ноги одновременно въехали в болотного цвета галифе, а затем нырнули, продвигая вытянутыми пальцами ног портянки по тоннелям голенищ, в сапоги. В строю Чацкий оказался первым.

Старшина Скалозубченко, в фуражке невероятных размеров, прямо-таки генеральской, маленький, румяный, с золотым зубом, квадратный, выкрикнул:

- Рядовой Чацкий...

- Я!

- У два у шагха уперед!

- Есть!

Чацкий, бухая каблуками кирзовых сапог по надраенным до блеска свекольного цвета мастикой доскам пола, сделал два широких шага и замер.

- Устаньте лицом у к строю!

- Есть!

Чацкий синхронно с постановкой правой ноги подал корпус несколько вперед и на носках обеих ног энергично повернулся кругом через левое плечо, то есть против часовой стрелки.

В строю раздался хохот, больше похожий на ржание жеребят. Особенно заливался Коноваленко из-под Харькова, здоровенный деревенский парень, стоявший в шеренге строя правофланговым, как и положено по ранжиру.

Чацкий, ища причину столь бурной реакции на его появление перед строем, опустил глаза себе на грудь, и тут же сам

рассмеялся: гимнастерка на подъёме была впопыхах надета задом наперёд.

- Чацкий, это вы написали книгу «Челонет»?

- Я, - ответил Чацкий.

- А судака вы ловили в метро?

- Да это мы с Ницше... Уж очень судака полюбили, ловили на пару. Ницше-то мне тогда и посоветовал есть ущицу из судачка, хероставна, говорил.

РЕКЛАМНА ПАУЗА: Антимаскитная сетка не только защищает от насекомых, но и добавляет изюминку в ваш интерьер!

- Вы обращали внимание в интернете на однофамильцев? - спросил, горя глазами Чацкий.

- Их море, - сказала Софья Павловна.

- Биокомпьютеры интернет открыл. Идёт тираж неостановимый биокомпьютеров, смонтированных так, что им кажется, что они единственные, центры мира. Своего рода телецентр: изображение, звук подаются в одну точку, в него, и прочие чувства идут в него, но первым в биокомпьютере выступает интеллект, или операционная система. Мощнейшая. Биокомпьютер, названный "Достоевским» берёт топор и становится Раскольниковым...

Голоса по клинике летели:

- Так Бог ему судил; а, впрочем, полечат, вылечат авось; который Чацкий тут? Известная фамилия. С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Вы слышали об нем? Об ком? Об Чацком, он сейчас здесь в комнате был. Знаю. Я говорила с ним. Так я вас поздравляю! Он сумасшедший... Что? Да, он сошел с ума. Представьте, я заметила сама; и хоть пари держать, со мной в одно вы слово. Ах, гранд маман, вот чудеса! вот ново! Вы не слышали здешних бед? Послушайте. Вот прелести! вот мило!.. Мой труг, мне уши заложило...

Чацкий продолжил:

- Соревнуются не с рядом живущими, а с классиками. Ходит автор по фамилии Миронов, и думает, что он войдет в литературу. Дорогой, с такой фамилией в литературу не принимают, потому что с такой фамилией пишут и мажут мимо мишени сотни Мироновых (слабое прикрытие неблагозвучного имени Бога Нероһуу, от которого производятся путем маскировки имени Бога следующие фамилии: Сераков, Шаронов, Чуранов, Чуркин, Черкасов, Хоркин и сам Ширак и даже Жирков, и даже Жириновский, Херков стал Хорьковым, Херов стал Перовым, Хуев стал Киевом, или Куйбышевым т.д. - имя им легион).

Голоса продолжали лететь:

- ...скажи погромче... Время нет! Что? что? уж нет ли здесь пошара? Нет, Чацкий произвел всю эту кутерьму. Как, Чацко-го? Кто свел в тюрьму? В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны. Что? к фармазонам в клуб? Пошел он в пусурманы? Ее не вразумишь. В тюрьму-та, князь, кто Чацкого схватил? Тесак ему да ранец, в солтаты! Шутка ли! переменял закон! С ума сошел! прошу покорно! Да невзначай! да как проворно! Ты, Софья, слышала? Кто первый разгласил? Ах, друг мой, все! Ну все, так верить поневоле, а мне сомнительно.

Софья Павловна слушала. Чацкий говорил:

- Или просят меня написать о книге Владимира Соловьева из телевизора, на что я отвечаю: в метафизическом пространстве, то есть в Слове есть один Владимир Соловьев - философ и поэт. А телевизионный Владимир Соловьев с НТВ не существует, это клон бесчисленных Соловьевых. Недаром один композитор к фамилии Соловьев сделал прибавку - Седой! Национальность, язык, партийность половым путем не передаются. Это всё приобретенные качества. Русским, евреем, французом - не рождаются: ими становятся. Это раз и навсегда должен уяснить себе каждый своеслов и словлюб.

Подслушивающий Фамусов бубнил про себя: «О чём? о Чацком, что ли? Чего сомнительно? Я первый, я открыл! Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет! Попробуй о властях - и ни-весть что наскажет! Чуть низко поклонись, согнись-ка кто

кольцом, хоть пред монаршиим лицом, так назовет он подлецом!..»

А Чацкий распался шире, шире:

- Как втащили тебя наставники в нацию, так ты свободно можешь выйти из нее. Пример - вся наша первая волна эмиграции, отпрыски которой стали французами, американцами (англичанами), немцами, испанцами и т.д. Рецептализм - революционная теория - отменяет нации, государства, объявляет мир глобальным интернет-единством, саморазвивающимся, демократическим. Первый признак нации - язык, второе - все остальное, что свойственно этой общности, живущей в границах и с языком (диалектом).

Опять запели вместе:

- Туда же из смешливых; сказала что-то я - он начал хохотать. Мне отсоветовал в Москве служить в Архивах. Меня модисткою изволил величать! А мужу моему совет дал жить в деревне. Безумный по всему. Я видела из глаз.

Чацкий неостановимо продолжал тревожить ум Софьи Павловны:

- Но можно, как Отче наш, хранить свою принадлежность к какой-то национальности, говоря при этом на языке страны пребывания. А вообще в мире язык один. И начинается он с фамилии "Херяхуй", подлинное Zero (Неро) языка, точку отсчета, имя Бога, которое запрещено произносить, а в разрешенном эвфемистическом варианте звучит как Яхве, или прикрывшее его имя Херостеос (Христос - огласовка пришла в поздние времена для тонкой настройки смыслов, фараоны и их жрецы идены (иереи) писали только согласными, консонантами) - что по-русски звучит как Хер Бог наш. Херос, Эрос, Секс, Любовь. Вникайте глубже! Для открытого пользования говорим: Бог есть любовь!

Дополнил Фамусов:

- По матери пошел, по Анне Алексевне; покойница с ума сходила восемь раз.

- Как по-английски будет «космос»? - спросил Чацкий.

- По-английски? М-м-м...: Спасе. Читаем как спейс, - вспомнила Софья Павловна.

- А видим нашего Спаса, Спасителя Христа, - сказал Чацкий.

- Удивительно...

- Спас - это калька из английского. Так рождался русский язык - калькированием и привязкой к сходным смыслам. Херос теос - это эрос бог наш. Христос.

Закатив глаза, Софья Павловна повторила:

- Херос теос...

- Русские женщины сплошь ходили в платочках, а староверки - и до сих пор.

- В платочках... Точно, все ходили в платочках... Я видела дореволюционную хронику... Толпы женщин, и все - в платочках...

- Вот! Раньше они были мусульманками. А до этого иудейками. А до этого - вообще не было языков. Были обезьяны, или незагруженные биокомпьютеры, - резюмировал Чацкий.

- Необразованные, - сказала Софья Павловна.

- Чтоб грамоте никто не знал и не учился? Опять увидеть их мне суждено судьбой! Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен? Когда ж постранствуешь, воротись домой, и дым Отечества нам сладок и приятен!

- В Москву понаехали неграмотные люди, - вздохнула Софья Павловна, и при этом её поднялись груди. - По-своему бормочут там и тут... Из Африки, из Азии, китайцы, малайцы, таджики...

- Господствует ещё смешенье языков: французского с нижегородским?

- Смесь языков?

- Да, смесь идёт помимо нашей воли, поскольку изначально был один язык. И заработал челонет. По проводам людским пошел словесный ток. Услышали одно, а передали другое. Фа-раон Яхуй, которого для маскировки называют Эхнатомом, говорил отрывочно, по слогам, как нынешние китайцы... Букв не было. Иероглифы с картинками... Так этот стиль создания ми-

ра проник по челонету до территорий нынешнего Китая, закрепился там, и донныне рвут на слоги и палочками иероглифов пишут... Хотя сцепление мира обязует их на латиницу переходить... Все государства отомрут. Настанет время нового общества, когда ни один биокомпьютер, вылезший из материнского влагалища не останется без интеллектуальной загрузки... Как говорил Чехов, школы будем строить повсеместно, школы, школы... Чтоб хлеб только поспевал...

РЕКЛАМНА ПАУЗА: По многочисленным просьбам доступна еще одна партия любимых зеркалок «Авиаторов», варианты цветов не ограничены.

- За кем не поспевает хлеб? - спросил Чацкий.
- Какой хлеб? - удивилась Софья Павловна.
- Растущий хлеб, пшеница...
- А-а...

- Так вот. За ней. А она кто такая? Она баба. Мужик заряжает её каждый год. А в этот год она ходит пустая. Вот все её и спрашивают, мол, чего это она "холостая"? Вот словечко писателя Андрея Платонова подвернулось в "Чевенгуре"! А то и поточнее ввернется через прямую речь любопытных мужиков: "Паруешь, Марь Матвеевна?" Как земля стоит под паром, накапливая силы для нового урожая, так Платоновская баба уподобляется плодородной земле. Сексуальность Андрея Платонова разливается на все страницы его прозы.

Софья Павловна, впусившая в себя глубоко тему, вздохнула и сказала:

- Всюду сочленение полов и размножение жизни.

Чацкий с восторгом подхватил:

- Всюду божественное начало, ибо Бог занимается сексом, рождением и смертью. Бог есть любовь и плодородие. Нобелевский лауреат академик-физик Виталий Лазаревич Гинзбург, например, публично, даже воинственно, что подчеркива-

ет его филологическую неосведомленность, заявляет, что он не верит в Бога, как будто его не из лона матери доставали, а нашли в капусте. Лono матери - есть место Бога. Туда Бог влагает свое прямое имя с буквы Х. Не пугайтесь, дам замаскированную версию, эвфемизм - Христос (Херостеос - Хер Бог наш). Поэтому Бог настолько реален и предметен, взгляните на купола и башни православных храмов, что порою удивляешься, что еще есть философы, в кавычках, доказывающие или опровергающие бытие Бога, хотя сами были зачаты Богом, явлены (еблены - срываемое яблоко: яблоко - метафора совокупления) миру Богом (Йэбохуем), и все еще не знающие Бога!

Все вместе:

- На свете дивные бывают приключенья! В его лета с ума прыгнул! Чай, пил не по летам. О! верно... Без сомнения. Шампанское стаканами тянул. Бутылками-с, и пребольшими. Нет-с, бочками сороковыми.

Из выписного эпикриза Чацкого: «ХАИ (хроническая алкогольная интоксикация) с полиорганными проявлениями: хронический панкреатит в стадии обострения. Алкогольная энцефалопатия, полинейропатия. Алкогольный делирий...»

А Чацкий был в ударе:

- Бог есть причина, материальная часть, генерирующая метафизическое Слово, имя Бога, которое запрещено произносить, и, прикрывая которое мы получаем всю палитру всей мировой лексики. Если всю мировую лексику записывать латиницей, то все слова мира сведутся к одному имени Бога, далее - к кресту, к нулю, к зеро (zero).

Меняем одну букву в запрещенном имени и получаем американское расхожее и краткое приветствие "хай"! И малороссы вторят: "Хай живе родянска Украина!". Одним словом, Яхве жил, Херхуй жив, Яков будет жить! Херос Бог наш - Херистос, Христос.

Софья Павловна вставила:

- Я понимаю... То, что запрещено произносить, заменяется приличным словом.

- Так точно! - воскликнул Чацкий и продолжил: - Этот процесс называется эвфемизация. Собственно, уже второе слово поменявшей "х" на "к" есть эвфемизм. Таким образом, процесс создания новых слов, исходящих от имени Бога - бесконечен. Вот поэтому говорится, что Бог есть Слово, что Бог зашифрован, сидит в каждой букве. Мир букв управляет миром физики. Эвфемизм (греч. - от "хорошо" и "говорю") - стилистически нейтральное слово или выражение, употребляемое вместо синонимичной языковой единицы, которая представляется говорящему неприличной, грубой или нетактичной...

И снова Фамусов:

- Ну вот! великая беда, что выпьет лишнее мужчина! Ученье - вот чума, ученость - вот причина, что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей, и дел, и мнений.

- Гоголь признавался, что никогда не знал женской любви и даже гордился этим, считая чувственность низменной и унижительной. На вопросы доктора Тарасенкова во время последней болезни Гоголя писатель сказал, что не имел в жизни связей с женщинами. Когда говорят, что весь чувственный мир Гоголя был ориентирован на мужчин, то забывают, что Бог - прежде всего и есть мужчина, и не просто мужчина, а Фаллос, Яхуй, Херос, и что есть праздник обрезания Господня, и что купола церковей говорят о потенции мужчины, и что имя Бога по этим соображениям непригодно, оно зашифровано, но теперь-то тайное стало явным, имя Бога - Яхве (Яхуй), трансформированное христианством из иудаизма в Херостеос, Христос. Буквы и слова формируют жизнь, управляют ею.

Софья Павловна в загипнотизированном состоянии поддакнула:

- Управляет... Ею...

- И в каждой букве сидит Бог, в замаскированной форме, и что все слова всех языков мира построены на имени Бога, но имя его непригодно, потому что оно нецензурно, матерно, а без матери нет совоплощения Бога, нет семени его в прорве вечности, и так далее. Захочешь объяснить, да не сможешь,

сойдешь с ума, как Николай Гоголь. Однако он не дошел до раскрытия имени Бога. Это сделал я, Чацкий. Имя - всего лишь имя и его можно сменить. От Яхуй произведено слово Януй, то есть Ной, а при дальнейшей маскировке выпуклая часть стала называться по-русски "нос".

Софья Павловна повторила:

- Нос... - и добавила: - А раньше я не понимала, что «Нос» - это член...

- По-вашему «нос», по-нашему «Херос»...

Софья Павловна согласилась:

- Херос звучит лучше, красиво...

- Да... Вспомним, что вторая часть фамилии Гоголя была Яновский. Нос и нос - близко произведенные слова. В самом заголовке повести "Нос" Гоголь сказал о дешифровке "страшного", по его мнению, имени Бога. Гоголь догадался, кто есть Бог, и сошел с ума - таково мнение Чацкого. У майора Ковалева нет нося. Поэтому у майора Ковалева (Николая Гоголя) шли проблемы сексуальные, столь насущные в непонятной, мучительной и скрытой личной его жизни. Майора Ковалева мучила мысль, что без носа он не сможет жениться. Вот герой "Носа" видит на улице "легонькую даму", очень похожую на "весенний цветочек". Читаем: "Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его". Здесь, полагаю, Николай Васильевич Гоголь, классик наш богоизбранный, вспомнил о своих "невидимых миру" слезах.

Софья Павловна воскликнула:

- Какой вы умный! Вам горько от ума?

- Мне сладко, а другим горько, что я у них отобрал всё: и родство, и национальность, и государственность... Все иллюзии ликвидировал!

- Это невероятно! - воскликнула Софья Павловна.

Чацкий же не уставал:

- Философ Артур Шопенгауэр, насколько я помню, делил или определял человека по трем категориям: Во-первых, человеком он называл личность в самом широком смысле слова. Во-вторых, человек как собственник имущества, недвижимости и так далее. В-третьих, человек в представлении других.

Чацкий же думает, что лишь в третьем пункте Шопенгауэр приближается к пониманию человека. Чацкий выводит свое определение человека: Человеком становится лишь тот, кто запечатлел себя в Слове. Запечатленный другими - лишь персонаж Логоса, но не сам Логос. Иными словами, по определению Чацкого: Человек есть Логос. Ибо то, что не было записано, того не существовало. Например, "Грачи прилетели" - это не картина, это слова, это Логос, это Слово. Картина без слова жить не может, как и человек. Без слова нет ничего. Даже нет слова "зеро", вырвавшегося из слова "херос", который только собирается вас произвести, но пока вас нет.

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА: Уникальный домашний отбеливатель зубов разработан профессиональным стоматологом. Самостоятельное отбеливание зубов на 10 тонов дома. Безвреден! Только 3 дня! Специальная скидка 55 процентов.

Седовласый Фамусов, завотделением, который все время топтался у отдельной палаты Чацкого и подслушивал, из-за двери громко прошептал:

- Эй! Софья Павловна, беда. Зашла беседа ваша за ночь...

В это время Софья Павловна сняла с весьма внушительного члена Чацкого катетер, причём во время этого действия член становился всё больше и больше, пока не встал во всю золотую купольную колокольню Ивана Великого.

А Фамусов, не отходя от двери, подглядывая в щёлку, шептал про себя, что ну и пациент попался, Бог ты мой, ведь докопался ж до такого, с ума сойти! Ну что? не видишь ты, что он с

ума сошел? Скажи сурьезно: безумный! что он тут за чепуху молот! Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно! А ты меня решилашь уморить? Моя судьба еще ли не плачевна? Ах! Боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!

Софья Павловна тут же птичкой взлетела над Чацким, широко распахнула крылышки упругих бёдер и опустилась детородным набухшим розой отверстием, влажным от росы утреннего пробуждения, сначала на головку члена, а затем всё ниже и глубже, дабы прочувствовать до каждой клеточки эротического нерва чудо размножения биокомпьютеров.

Фамусов не сдержался, закричал на всю клинику:

- Сюда! За мной! Скорей! Скорей! Огня побольше, фонарей! Где домовые? Ба! Знакомые все лица! Врач, Софья Павловна! Срамница! Бесстыдница! Где! С кем! Ни дать, ни взять она, как мать её, покойница жена. Бывало, я с дражайшей половиной чуть врознь - уж где-нибудь с женщиной! Побойся Бога, как? Чем он тебя прельстил? Сама его безумным называла! Нет! глупость на меня и слепота напала! Всё это заговор, и в заговоре был он сам, и гости все. За что я так наказан!..

Софья Павловна шла от клиники Грибоедова к метро и всё время повторяла про себя, что не может быть, не может такого быть, чтобы мужской член был Богом, так просто и так сложно, но тут же вспоминала это магическое запретное слово Х., вздрагивала, при это гладила ладошкой низ живота.

ТУНДРА

И ты напишешь, и он напишет, и они напишут, все напишут, в будущем времени, а стало быть, никогда. Были мастера в редакциях, которые красным карандашом исчеркивали мои рукописи, говоря, что это не пройдёт, а потом, мечтательно вскинув глаза к потолку, говорили, что тоже так напишут, даже по-лучше. Спустя лет десять, как только увидят меня, так сразу прячутся за углы, опасаясь моего сурового вопроса: «Ну, написал!». Ничего они не написали, сидели шлагбаумами в редакциях, преграждая дорогу талантам и пуская в печать проворных мастеров по извлечению доходов из литературы.

Деревянный человек пустой головой расшибёт стальную балку. Деревья вырастают до основания черепа. Балка имеет форму вечности, если согнута в арку. Череп нужен для того, чтобы его выкапывали археологи. Пустое дерево называется тростником, хотя является травой. Археологи убеждаются, что череп пуст. Пустота имеет форму колеса, потому что все время вращается. На пустой голове растёт тростник, хотя это волосы. Арка всасывает пустоту, потому что создана для сквозняка. Тростник мыслит, потому что существует сам по себе и в своей пустоте.

С тяжёлым взглядом, замедленный автор пришёл ко мне в редакцию, сел и стал носовым платком промокать крупные капли с толстого лица.

В моей голове побежали мысли. Надо всё-таки как-то встать с дивана, проверить выправку, подтянуться. Конечно, тянуть себя нелегко, потому что приходится подтягиваться ежедневно, когда мог бы этим не заниматься, ведь чувство соглашателя, сидящее прочно в глубине тебя, постоянно по-доброму советует не суетиться, не дергаться, не реагировать, не встречаться ни с кем, даже на улицу не обязательно выходить, разве только по необходимости не спеша съездить на службу, а так отдыхай, распустив пояса, довольствуйся блаженной возможностью не подтягиваться.

- Вот, написал, - говорит автор, и кладёт на угол моего огромного письменного стола страничку, текст на котором занимает треть.

Я, даже не читая, понимаю, что к литературе эта «писулька» не имеет отношения, и что этого новенького автора потряс до основания какой-нибудь трагический случай. Они хватаются за карандаш только тогда, когда их что-то долбанёт по темечку. Точно! Убило бурильщика на нефтяной вышке болванкой.

И чего они идут ко мне? Плашка красная привлекает? У меня название журнала дано на красной «плашке», как мы называем стандартную шапку издания, то есть заголовок, а заголовки газет и журналов изготавливались путем травления в цинкографии, так вот по красному фону белыми буквами «Наша улица», ну все и решили, что это их улица, что можно прямо с улицы спокойно, как к себе домой, заходить в литературу. Тупей тупого, ну, прямо, тундра!

На это «красное», как быки на красную тряпку, первым делом повалили коммунисты, с петициями против «дерьмократов». Насилу от них отбилась, даже не пытаюсь объяснить, что литература живёт сама по себе, никуда не торопится, что её интересует исключительно пепельница, о которой и нужно писать рассказы, развертывая текст до художественных откровений в мало приметных изобразительных деталях.

И вот притопал очередной автор, грузный, потливый, неповоротливый, с «материалом» о гибели бурильщика.

Дорогой, дорогая, дорогие, по дороге жизни идущие к окончанию, полагая, что на этой бесконечной, как кажется многим, дороге окончания никогда не будет, и что оно, это окончание, для дорогого, дорогой, дорогих не намечено, дорога будет без конца, но изменяются слова и люди по падежам, вот именно, по падежам, по падежу, о падеже, да и падежом, так оно и есть, только не для Гоголя: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите

меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего...»

- Где хоть он бурил-то? - спросил я.

- Да на севере...

- На каком Севере?

- За Уралом...

- А что там за Уралом? - спросил я, пытаюсь представить себе карту необъятного Советского Союза.

- Да почти у океана...

- А вы как там оказались?

- На поезде...

- Что, там поезд за Уралом на Север до океана ходит?

- Ходит...

- Первый раз слышу...

- Это недавно железнодорожную ветку протянули...

Тут я вспомнил урок географии, вспомнил горбоносую узкоглазую Елену Сергеевну, учительницу этой самой географии, с указкой в руках, с алым маникюрчиком, водящей указкой как раз по тем местам, где побывал автор, и говорившая:

- Безжизненное пространство, называемое тундрой, где может разместиться пять Франций...

Точно не помню, сколько Франций она располагала то тут, то там... Но Елена Сергеевна оперировала именно площадями государств, которые, как грибы в корзинку, все до одного сыпались в нашу территорию.

Я встал из-за своего письменного стола, снял с полки том энциклопедии на букву «Т», нашёл Тюменскую область, прочитал:

«От Уральских гор и почти до самого Енисея раскинулась самая большая в России Тюменская область (образована в современном виде 14 августа 1944 года). На юге она граничит с казахскими степями, на севере её берега омывают студёные волны Северного Ледовитого океана. От крайней южной точки области до самой северной расстояние такое же, как от Тюмени до Москвы: - 2100 километров...»

Поставил том на место, для очистки совести взял том на букву «Ф», открыл «Францию», прикинул расстояние. Всего с юга на север 950 километров...

Ладно, бог с ними, с этими километрами и площадями...

Я водрузил тяжеленный том на место, прошел к столу у окна, где стояла электрическая пишущая машинка.

- Вы печатать умеете? - спросил я у автора.

- Нет...

- А как же вы пишете?

- Как? Обычно, шариковой ручкой...

- Вот то-то и оно, что шариковой, а пишут головой...

С этими словами я заправил в каретку лист, и со скоростью пулеметчика прилюдно и пригласно для автора настроил следующий текст:

«Вы видели когда-нибудь до горизонта уходящее сукно письменного стола? И не только оно уходит до горизонта, потому что взгляд направлен направо из окна поезда до горизонта, но и до горизонта налево, и назад до этого самого горизонта, более походящего на дугу, которая все время и везде с этим малахитовым сукном закругляется, диктуя тебе понимание круглости всего на свете?

Мозг устроен так, что предлагает от однообразности голой зелёной, с оттенками серого в поверхности болот, поверхности, где нет ни деревца, ни травинки, ни былинки, другую картинку, поскольку в твоей памяти за жизнь накопилось столько картинок, что если поставить задачу все их записать словами, то получится невероятно длинная книга, быть может, самая интересная на свете, которую ещё в таком виде не создал.

Вокруг тянется тягуче и однообразно поверхность вечной мерзлоты, вечная тундра, а картинка перед глазами другая.

Высоко между многоэтажными столичными зданиями тянутся многочисленные провода. Под самым небом, можно сказать. И вот на один из проводов села огромная ворона и стала раскачиваться, как это делают дети на качелях, то в одну сторону, то в другую. При этом ворону всё время отбрасывает то

на спину, то вниз головой, вот-вот сорвётся, но синхронными взмахами широких крыльев выравнивает положение, продолжая раскачиваться на фоне синего неба с маленькими чётко очерченными белыми облаками. Дух захватывает, а не падает!

Но на залитой зелёной скатерти бесконечного пространства нет не то что ворон, нет ничего и никого».

Автор на некоторое время потерял дар речи, смотрел на меня с каким-то невероятным испугом и в то же время уважительно. В такое странное промежуточное состояние я ввел автора своим обычным умением писать на машинке.

- Как это у вас сразу так выходит? - спросил автор.

- По вдохновению... Вдохновение равняется бездумью. Так скажу, чтобы обескуражить. Из тебя льётся легко и просто поток неконтролируемой лексики, подобно тому, как идёт захвативший всего тебя сон, которым ты не управляешь, но в котором всё самое разномастное, даже абсурдное, связывается какой-то невероятной логикой, стоящей выше обычного понимания вещей и явлений. Но это случается именно с пишущими людьми, которые мыслят не картинками, а словами, набившими свою операционную систему высочайшими образцами словесного искусства. Почитайте перед сном Кафку!

Автор достал блокнотик, записал себе, я увидел, «Кафка».

А у меня своё о людях бурлило.

Очень хорошее занятие совсем ничего не делать, причём, у моря загорая, даже не прислушиваясь к ропоту волн, хотя оно что-то там ропщет, даже не ощущая солёный привкус на губах после купания, не ждать ни от кого ответа на незадаанные вопросы, к тому же не находя в самих себе проблесков каких-либо мыслей, после чего в таком же безмятежном состоянии идти к белоскатертным столам для поглощения ресторанной пищи с лёгким вином, для поднятия тонуса всепоглощающей абсолютной пустоты, для почти неосязаемого погружения в полное блаженство.

- А как его звали? - спросил автор.

- Кого?

- Кафку этого?

- Франц...

Автор приписал имя к фамилии.

Пройти по улицам, не видя ничего. Только так и ходит население. Устремлённо, глядя под ноги, всегда в спешке, чтобы куда-то не опоздать, но постоянно опаздывая везде и всюду. И это в культурной столице! В Третьяковке бывал? Что это? Картинная галерея! Мне этого не нужно. В центре всю рабочую неделю бывает, правда, под землей, в метро, причём, всегда в час пик, в густо спрессованной толпе, дышащей друг другу в затылок, наступающей на ноги, толкающей в спину, когда едет из дома на работу, переходя с Замоскворецкой линии на Сокольническую, или с Таганской на Калужскую, или с Арбатской на Серпуховскую, или....

- Вы кто по специальности? - спросил я.

- Нефтяник... кандидат геолого-минералогических наук...

- Интересно...

- Нефть изучаете?

- Да.

Тут я поймал себя на том, что задаю вопросы. А ведь знаю, не задавай вопросов, не мешай другому. Вот стоит человек, а ты к нему с вопросом. Зачем? Почему? Как? Где? Куда? Откуда? Человек выведен из себя. Зачем человека выводить из себя? Он просто стоял, был сам в себе. Ему было хорошо. А ты со своими вопросами. Тебе, что, делать нечего, что ты с вопросами пристаешь к первым попавшимся людям? Или тебе доставляет удовольствие будоражить людей? Им, что, делать нечего, кроме как отвечать на твои вопросы? Для ответов на любые вопросы есть энциклопедия. Открой том, найди страничку на свой вопрос. И получишь ответ, никого не беспокоя.

Я умолк. Автор помолчал. Видно, что его что-то занимало. Хорошо, думаю, сейчас он начнёт задавать вопросы. И вопрос не заставил себя долго ждать. Причём такой, которого я, в принципе, и ожидал. Меня почти все поголовно спрашивают об этом.

- Как вы стали писателем?

Ну, что писательство - дело неподъемное для обычного человека?

- Как бы вам сказать... - начал я и остановился.

Когда человек не готов к восприятию, он только будет делать вид, что слушает и понимает тебя, но стоит ему покинуть тебя, как он опускается в русло своих рек, напрочь позабыв о тебе. Разные состояния, разные импульсы чувств, разная интеллектуальная подготовка, разный образ жизни, разные профессии, разные интересы. Говорю ему, что, чтобы стать писателем, нужно писать всю жизнь, возвышаясь по бесконечной лестнице мастерства, умереть телом и родиться навсегда книгой. Соглашается, но покинув меня, забывает. Иначе бы все были писателями, но их, к сожалению, или к счастью, единицы из миллионов.

Автор со всем вниманием смотрел на меня. А я лишь добавил:

- Чтобы стать писателем, надо писать...

- Ну это понятно, - сказал автор.

- Понятно?

- По телевизору как-то смотрел... - начал автор.

Но я не дослушал.

Отчего ты грустен, почему не весел, что же ты, приятель, голову повесил? Я печален, мрачен, замкнут оттого, что не могу отойти от телевизора, потому что невероятно осложнилось международное положение, что на выборах не учли голоса голосовавших, а приплюсовали голоса не голосовавших, оттого печаль моя неизбывна, что опять бастуют угольщики правого побережья, а на левом побережье денежными купюрами растапливают камин в дворцах, от этого не то что голову повесишь, сам повесишься.

Я поднял руку и указал на дверь...

Автор дернулся, думая, что я его выгоняю, даже привстал.

- Сидите-сидите, я к примеру... Впрочем, покажу вам дверь...

Я опять прошел к машинке, и на листе, где оставалось место, не глядя и не думая, настучал в мгновение ока: «Только появятся двери, как тут же начинают хлопать ими, ходят туда-сюда, не так, как прежде сидели на ветвях и грызли орехи, но ведь на дереве сидеть скучно и утомительно, вот и пошли ставить двери, еще только-только кладка стен началась, так уже ставят двери, ну ещё окна, чтобы стены не сплошняком шли, а сразу с окнами и дверями, чтобы ходили непрерывно то на улицу, то домой, хлоп-хлоп, и ещё раз хлоп, но не просто хлоп, а с железным щелчком. Захлопнулся английский замок, а ключи там, за дверью».

Автор стоял за моей спиной и дышал мне в затылок.

- Вот это да! - выдохнул он.

- Ничего особенного... Просто я с детства тренируюсь выстукивать буквы и шевелить мозгами.

Автор подошел к окну, из которого открывалась панорама Ленинградского проспекта, вздохнул и со смущением сказал:

- Я стихи в юности писал... Потом выбросил их...

- Со стихов многие начинают...

Я выкрутил исписанный лист, вкрутил чистый и с ходу, не думая, настрочил:

«Идёт снежок, не спит дружок, лежит кружок фонарной лампы. Поёт рожок, звезду зажёт тот бережок, как сцена - рампю. Идёт плужок на тот лужок. Ешь пирожок без дифирамбов. Тронь рычажок, ставь сапожок, начни стежок, поставь стожок, как ставишь ямбы».

- Слушайте, вы просто волшебник! - изумился автор.

- Да, я тоже писал стихи... Когда в них мне стало тесно, плавно перешёл на прозу... А теперь мне не оставляет труда написать стихотворение, экспромтом, любым размером, хоть хореум, хоть анапестом... А это я вам ямбом набабахал.

- Вот размеры я плохо в стихах различаю... Можно сказать, совсем не знаю...

Я посмотрел сначала на автора, затем на потолок и выдал громко экспромт:

- Что ты, деточка, там пишешь? Я пишу стихи назавтра, чтобы маме прочитать. Кто учил тебя по буквам слагать слова? Это дедушка мне буквы в день рождения показал. Прямо в самый день явленья? Не «явленья», а «рожденья»! У тебя одно явленье, а рождений сколько хочешь, через каждый оборот наступает новый год, нет не праздник для застолий, а по году от явленья твоего на белый свет.

- Как правильно! - поддержал, даже одобрил мой экзерсис автор. - Конечно, являемся мы один раз, а потом отмечаем ежегодно...

- Напишите мне про нефть... Всё что вы знаете о нефти... Но напишите не казённо, не газетно, а художественно... Не спешите. Пишите каждый день по кусочку. Лужицы темные на раскалённом песке. Кто-то первый во времена ещё бессловесные поджог лужицу и она загорелась...

- Оттуда идти?! - поразился автор.

- Оттуда и туда, куда укажет слово...

- Слово?

- Вот именно... Какое сегодня число?

- Двадцать третье, - сказал автор.

- Спасибо. Но я не о том. Ведь, скажем, календарь не висит на деревьях. В лесу нет пятниц и вторников. На небе не пишется дата. Меняются формы одежды. Черняются на белом без листьев деревья. Какое число? Свет идёт без числа. У птицы спроси о размеренном времени, и сколько этой птице лет, и какого числа она родилась. Названия деревьев не сыщешь на ветках. И даже у птицы названия нет. Весь мир без названий, без чисел кружится. Лишь я называю число, и прочее всё именую, доволен всем знанием безмерно. Я сам для всего календарь.

- Я, наверное, тоже, - согласился автор и добавил: - Хорошо вы меня зацепили древней нефтью... Уже захотелось думать о ней вот так иначе и писать...

- Отлично! - похвалил я. - Ближе к этому я вот что вам скажу. Если хорошенько подумать, то мы катаемся на печке вокруг

другой печки, потому что в глубинах нашего шара бурлит раскалённая до жидкого состояния материя, изредка то тут, то там выливающаяся лавой из вулканов, так что именно поэтому не нужно хорошенько думать, мало ли что где кипит и варится, тыто идешь по тропинке мимо дома, мимо сада, мимо огорода. Хорошенько становится на душе без глубоких дум.

- Я просто заслушиваюсь! - вздохнул автор с улыбкой на полном, несколько остывшем лице. - Но знаю, как сяду за чистый лист, так не могу ничего написать...

- В том-то и дело! И это не только с вами происходит... Неверно думать о людях, что они чего-то не понимают, поскольку они находятся в своей телестудии, куда идёт трансляция многого из того, что видишь ты из своей телестудии, аналогом которой является каждый появившийся на свет человек, по образу и подобию твоей телестудии, коих во всех временах и пространствах было и есть столько, что не поддаются подсчету, хотя и заниматься этим подсчётом бесполезно, ибо счёт идет только до цифры «7», а уж далее - тьма тьмущая, бесконечность, «8».

- Надо же!

- Да... - вздохнул я. - Бесконечность...

- А мне на следующей неделе будет сорок!

- Готовитесь?

- Не очень, хотя дата обязывает...

- Торжество... И всегда восклицаем, что вот и подошёл этот торжественный день. В какой-то дымке и проскочил. Хотелось, чтобы он остановился и не двигался. Так нет же! Взял и побежал. А ведь столько сделано для этого дня! Зачем торжество встречи с чудесными людьми улетает? И, собственно, куда улетает? На горизонте маячит следующее торжество, а за ним другое торжество, а за этим торжеством намечается такая встреча, что просто дух захватывает, несмотря на то, что за ним будет совершенно невероятное событие, которое своей торжественностью затмит все предшествующие...

Автор громко рассмеялся.

- Точнее не скажешь... Всю дорогу готовимся к торжествам... Оживляем жизнь... Стремимся к цели, которая тут же оказывается за спиной...

- Надо писать... И писать ежедневно, - сказал я, ходя из угла в угол просторной редакции.

- Всё времени нет... Крутишься, как белка в колесе... А потом, командировки замучили... Дочь школу кончает... Жена болеет...

- Это мне знакомо... Это знаки препинания...

- Препинания...

- Да, хочешь сделать что-то, а тебе под ноги бревно выкатывается...

- Бревно?

- Это я образно...

- Понятно...

- На каждое действие есть своё противодействие..

- Это точно!

- Вышла запятая погулять. Под ногами крутится всё время, не зная, куда встать. Приостанавливаются прохожие, размышляя, какой оборот событиям придать, смысловую паузу выдерживая. Но и точка выходит погулять. Многомиллионный дышит город. Запятая тормозит ненадолго всех подряд. Точка останавливает резко. Но опять движение возобновляется, и идут, и бегут предложенья там и тут, чтоб опять передохнуть перед запятой, и остановиться по команде точки. Восклицательный знак из-за угла выбегает, останавливается перед замешкавшимся и восклицает: проходите, товарищи, не задерживайте движение, не создавайте давку! Что случилось, почему стоят, откуда очередь, что дают? Это уже запыхавшийся знак вопроса подбежал, опасаясь быть обойдённым.

- Обалденно! - восторженно отреагировал автор.

Я подошел к окну, посмотрел на шпиль высотного здания между «Соколом» и «Аэропортом», затем сказал:

- Случайное... Рассчитываешь на одно, получаешь другое. Так в жизни всегда. Даже если дают то, что ты хотел, но обяза-

тельно с каким-нибудь изъяном, в несоответствии с твоим ожиданием, поэтому получается, что совсем не то. Так что лучше вообще ни на что не рассчитывать, тогда получается как-то само по себе. Не ждешь, и вдруг тебе прямо в руки падает то, о чём ты безнадежно мечтал. Вот это и есть то самое случайное, которое становится необходимым, самое то, что художник получает на высшей точке нежданного вдохновения.

- Вот бы мне на эту точку взобраться! - простодушно изрёк автор.

- Сказать... Да, легко сказать, но трудно сделать. Частенько повторяют эту сентенцию. Я же придерживаюсь иного мнения. Легко сделать, трудно сказать. Вокруг и повсеместно все что-то делают, а сказать не могут. Сказать для меня - это написать. Хорошо написать, умно и художественно. Потому что устное слово не существует. Да, оно есть, мы его слышим, но потом, после произнесения, где оно? В том-то и дело. При Достоевском тоже все делали чего-то, хорошо делали, с азартом, но от эпохи остался Достоевский. Так что сказать свое Слово, практически, невозможно.

- Знаю по себе, - согласился автор.

Запомним раз и навсегда, что помнить нам запрещено, забудем дни, как и года, не выпьем пьяное вино, и не досмотрим то кино, запомним только для того, чтоб оборвать событий нить, чтобы не помнить ничего, чтоб в твой мобильник не звонить, и к разговору не клонить, запомним раз и навсегда, запомним только для того, чтобы проснуться в никогда, чтобы не видеть никого при воскрешенье своего, ни твоего, ни моего - всё для того из ничего извлечено для полноты пустопорожней суеты.

ДАЛЁКОЕ

Ещё там снег, а здесь бутончики почек едва приоткрылись. Так крадется из зимы в весну Шопен в Первом концерте для фортепиано с оркестром. Я останавливаюсь в безлюдном переулке и напеваю вполголоса фрагменты из этого внеземного чуда. Тогда мы играли в отгадки с ребятами. Кто-то начинал что-то мурлыкать, а другие должны были угадать, чьё это сочинение. Малер? Нет. Шопен? Точно... Так мы постигали классику.

Ты был тогда в том далёком, когда казалось, что время стоит неповоротливой глыбой на месте. А хотелось сразу вперёд, чтобы увидеть результат. Но ты так привязан к стрелкам часов, что выпрыгнуть из своего времени не в состоянии. Вяжи его, связывай, оно всё равно рано или поздно отвяжется. И вот прыжок, и ты уже на восьмом десятке. А прыгнул двадцатилетним. Сидит приёмная комиссия, все солидные, басовитые, с бабочками. Отбирают, выбирают, как огурцы на рынке, или клубнику. Трогают каждый огурец пальцами, особенно женщины, старухи, те всё перещупают, даже неприятно после них покупать огурцы или клубнику. И женщины сидят в приёмной комиссии, эдакие Комиссаржевские, в позах, не в естественной простоте, а в позах величия. И выбирают. Тебе сейчас двадцать и восьмой десяток одновременно. Ты не стал работать телом, ты стал перемешивать в своей операционной системе слова, потому что догадался, что тело есть лишь копия других тел, и всех вместе, поэтому тело бессмертно. Лопнуло колесо, поставил запаску и едешь дальше.

Человек является колесом, которое едет всегда.

Ну, не колесо, кому не нравится, а компьютер, точнее, биокомпьютер. Чистым вылез из известного места, с чистым жёстким диском, с таким же чистым, как и у Данте, как и у Моисея, таким же точно, как они, но не заклеил себя их именами, а то хорошо бы сразу, как думают некоторые, стать Данте, или

Моисеем, или самим Христом... И такие компьютеры есть, были и будут, но в чем тут дело? В словах, называющих биокомпьютер, в тех бесконечных словах, которыми описано и изучено очень многое на свете, но не всё, потому что ежечасно пишутся новые слова, которые выхватывают позитроны из электронов, ловят энергию, заставляющую вращаться Юпитер не только вокруг Солнца, но и в твоей голове, когда ты сидишь в кафе «Юпитер».

В рассказе, конечно, не так. Привыкли, что вошёл он, сказал ей, она ответила, потом солнце погладило кота на подоконнике под геранью. От рассвета до заката. Но у меня слова так не хотят строиться, потому что люди окончательно разочаровали меня. Именно тем, что собирают кости, называемые мощами, и поклоняются им. Детали компьютера положили под стекло, и поклоняются.

Конечно, можно и не поклоняться, а парады закатывать перед мавзолеем.

Алфавит, записанный без порядка, теряет свою стройность, но рождает любое слово, вытаскивающее любую мысль, но не наоборот, потому что мысли без алфавита не существует, как не существует любого материального объекта, самого даже твёрдого, без вращающихся в нём вокруг своей оси с мчащимися тут же электронами атомов, состоящих исключительно из алфавита, потому что только алфавит даёт жизнь и смысл всему везде и во всём, даже в кажущейся пустоте, даже в цифре, даже в запятой.

Временных людей, коих 99,99 процента, раздражают пишущие люди, стремящиеся к бессмертию. И чего они пишут книги? Писателей теперь больше, чем читателей! (Забавное преувеличение.) Брось писать, помрешь тоже, как все мы. Ну, написал ты книгу, и что из этого? Ты что, хотел удивить мир, или заработать денгу, или выставиться перед соседом? Будь временным, как мы, вкушай радости жизни. Брось писать! Ты же не Толстой! Какой? Лев, конечно! А не бросишь, приду и отберу карандаш и бумагу!

Известно, что на вкус и цвет товарищей на свете нет, свет посылает нам привет, вкус выявляет наш ответ, горит ночами верхний свет, мой освещая кабинет, пока не явится рассвет, который красит столько лет течение сладкое бесед, тебе в самом даёт совет, как удивительный поэт, что отказаться силы нет от поражений и побед, их перепутал интернет - большой литературовед!

Ты создан образцовым существом, ни мамой и ни папой, ты создан Книгой, в которую входит всё живое и неживое, бывшее, являющееся перед твоими глазами, и будущее, чтобы не упускать ни единой детали, что составляет прошлое, настоящее и будущее, не забывать ни шинели Башмачкина, ни Христа на кресте, вплетая всё это в воссоздание себя в Книге, погружаясь в миры Книги, рождаясь заново в Книге, объединяя всех в себе одном, чтобы потом ты один, собранный из букв, рассредоточился во всех.

Слов люди в большинстве своём не замечают. Они ныряют сразу за слова, которые на что-то указывают, и так овладевают с возрастом языком, что он, как воздух, незаметен. Но вот эта незаметность и является основой человека. Без слов - это вообще не человек. А скажешь: «Иванов», - так сразу что-то проявляется, но в таком количестве, что уму не постижимо. Тогда уточняется: «Иван Иванов». Ну, таких тоже немало. Еще более тонкую настройку телу дают: «Иванов Иван Иванович». Дубликатов уже поменьше, но всё равно много. А вы ломаете голову над именем (словом) новорожденному!

Стою у большого окна, солнце через стекло греет довольно сильно, нашёптывая о весеннем дне, но меня не проведёшь, уж я-то знаю все эти уловки московской хорошей погоды в феврале, её уметь прикидываться под хорошую, когда только выйдешь, как почувствуешь озноб от сильного северного ветра, до слёз пробирающего тебя, поэтому продолжаю стоять у окна и любоваться великолепным зимним пейзажем до горизонта за рекой, иными словами, лучшая жизнь - из окна вагона, лучшая погода - из окна дома.

Не спеши прощаться с зимой, а то скоро по ней соскучишься, не рвись в весну, а то испугаешь её и не заметишь, как она спрячется за лето, тянущее за собой, как кобыла телегу, осень, с падающими по голове яблоками, с перебродившим из этих яблок вином, с уксусным запахом сада, с постоянно укорачивающимся днём, открывающим ворота на чёрном фоне белому, чтобы упротить зиму не уходить, ведь всё равно вернётся, так чего ж суетиться, сиди на лавке и грей свой мороз у печки.

А всё дело в том, что я семит и ты семит, посчитайте до семи, счёт повсюду и везде на седьмой висит звезде, дальше будет цифра восемь, от неё ни что не просим, в бесконечность семь ведёт, вот и весь сакральный счёт.

По телевизору - Владимир Соловьёв. Философ и поэт. Преподавал в Санкт-Петербургском университете. Познакомился и сблизился с Федором Достоевским. Стал прообразом Алеши в "Братьях Карамазовых". А сколько дубликатов у Владимира Соловьёва?

Я в Кувалдина переключился из Трифонова! Я биокомпьютер. Начал раскручивать свой брэнд (ещё раз повторяю, что правила правописания создаю я, поэтому пишу слово «брэнд» через «э», чтобы избежать звучания «бред») «Кувалдин» с нуля. И стал навсегда в литературе писатель Кувалдин. Надо знать, что в литературе Трифонов есть. Юрий Трифонов, автор «Дома на набережной».

Так ведь ходят-бродят Толстые! Пушкины! Ничем не обеспеченные биороботы под раскрученными брэндами.

Владимир Соловьёв один, и он грустит и пишет:

В час безмолвного заката
Об ушедших вспомяни ты, -
Не погубило без возврата,
Что с любовью пережито.

Пусть синеющим туманом
Ночь на землю наступает -

Не страшна ночная тьма нам:
Сердце день грядущий знает.

Новой славою Господней
Озарится свод небесный,
И дойдет до преисподней
Светлый благовест воскресный.

1892

Владимир Соловьёв «Чтения о богочеловечестве».

«Сущее в своем единстве уже заключает потенциально волю, представление и чувство. Но чтобы эти способы бытия явились действительно как такие, то есть выделились из безразличия, необходимо, чтобы сущее утверждало их в их особенности или, точнее, чтобы оно утверждало себя в них как особенных, вследствие чего они и являлись бы как самостоятельные относительно друг друга...»

Слышит благовест знаменитого Владимира Соловьёва мхатовская Инна Соловьёва.

Театр, сцена, Булгаков... "«Театральный роман» («Записки покойника») с фактами жизни Булгакова в Художественном театре соотносится примерно так, как история Иешуа в «Мастере и Маргарите» с Евангелиями. Между прозой и тем, как в самом деле было, - зазор, в нем-то и возникает художественная энергия... Из воспоминаний Маркова про Булгакова: «О нем и о его романе "Белая гвардия" мы узнали в одну из наших встреч от всегда спокойного и размеренного Бориса Ильича Вершилова. Ему в свою очередь указал на булгаковский роман поэт Павел Антокольский. Когда мы прочли этот многоплановый, сложный, написанный в особой манере роман, многие из нас, молодых мхатовцев, были захвачены и покорены талантом Булгакова. На наше предложение инсценировать "Белую гвардию" Булгаков откликнулся охотно и энергично». Что Булгаков до предложения из МХАТ Первого с января 1925 года сам писал пьесу, Марков опускает. Впрочем, он мог и не

знать того. В конце мая перед отъездом в Крым, в Коктебель, куда его пригласил Максимилиан Волошин, Булгаков получил почти одновременно два письма. Вершилов спрашивал: «Как обстоят наши дела с пьесой, с “Белой гвардией”? ... Жажду работать Ваши вещи. По моим расчетам, первый акт “нашей” пьесы уже закончен». С тем же к писателю обращается Марков («завлита» тормозит Судаков, напоминающий, что молодежи б. Второй студии - их спектакли Судаков вывез на гастроли - необходимы пьесы к началу сезона). Булгаков отвечает с волошинской дачи: «Пьесу “Белая гвардия” пишу. Она будет готова к началу августа»...» - это наша Инна Соловьёва пишет.

Слов не хватает, чтобы бесконечные стандартные тела с табула раса клеймить.

И всё же, как отличить одного Соловьёва от другого Соловьёва, а того от третьего Соловьёва?! Кругом Соловьёвы! Из внутренних комнат высыпали чуть не все Соловьёвы, как жильцы госпожи Липпевехзель, и сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в исступление.

- Хоть бы умереть-то дали спокойно эти Соловьёвы! - закричала она на всю толпу, - что за спектакль нашли! Соловьёвы с папиросами! Кхе-кхе-кхе! В шляпах войдите ещё Соловьёвы!.. И то в шляпе один Соловьёв... Вон! К мёртвому телу Соловьёва хоть уважение имейте!

Сидят компьютеры за приёмным столом, и я, компьютер, выхожу, перевоплощаясь в тексте под брэндом «Мандельштам», и бросаю им в надменные мониторы:

Я не увижу знаменитой "Федры",
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,

далёкое

Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

- Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданием крепнет голос
И достигает скорбного закала
Негодованием раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсиновой коркой,
И словно из столетней летаргии --
Очнувшийся сосед мне говорит:
- Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

Понимаете? И что же? Один лысый компьютер под клеймом
«Радомысленский» восклицает:

- На третий тур его!

Объективности ради буду просто нажимать кнопку, абсолютно ни о чём не думая, потому что потом выяснится, что, если бы я даже рассматривал картину всю без остатка перед собой, всё равно многого бы просто не заметил, когда глаз скользил то по одной, то по другой детали, не схватывая весь вид сразу с предельной точностью во всех предлагаемых объектом деталей, которые потом при рассматривании снимка вдруг обнаруживаешь, и особенно удивляешься попавшим на картинку безымянным людям, остановленным объективом.

Сначала искали «двушки» для телефона-автомата, чтобы, отстояв очередь у будки, дозвониться. О чём-то договаривались, голоса летели туда и оттуда. Редко у кого телефоны были дома, вроде К-5-35-38. А у кого были, там уж отводили душу, болтали до посинения. Ты мне звонил вчера? Звонил, но не застал. «В круге первом» шифровали разговор. Теперь каждый, как в шарашке, бродит с рацией, чтобы произносить везде и всюду коронное: «Давай!». Как приятно осознавать, что весь тюремно-лагерный научно-технический прогресс шёл именно для этого слова!

Вот окно. В нём лицо. Рамка окна. Фотография видна. Дом альбом. Твоё лицо в нём. Картинка дома. Всё в нём знакомо. Снимок лица. В окне ты одна. Смотрю на картину. Не прохожу мимо. Окно лица остановило меня. Рамка лица. В доме улицы. В рамке дом. С твоим окном. Лицо окна. Ты в нём одна. Снимок в рамке. Альбом сна.

Взыщу-ка с недругов я свои неудачи, свои провалы, своё тщедушие, свою забитость и свою бездарность, обязательно взыщу, надо вот только всех недругов наметить для взыскания, а взыскивать непременно нужно, и как можно нелицеприятнее взыскивать, иначе перестанешь себя уважать за невзыскательность, только вот я очень серьёзно буду взыскивать, чтоб неподвадно было ущемлять меня и препятствовать мне, а то уличат меня за излишнюю снисходительность, мол, невзыскательным совершенно стал, но я и это учитываю, ничем больше в жизни заниматься не буду, кроме взыскательности, так что за поимённую взыскательность не взыщите.

Конечно, у северного полюса свой календарь. К чему северному полюсу май?

Но и там есть свой май, а также декабрь. Как у всех людей на земле. Но есть особенные, живущие двумя календарями. Все уже отпраздновали, а у нас своё Рождество и свой Новый год, правда старый новый, но он для погоды более подходящ, к нему по-старому и морозы подъехали, а как же, если морозит, то тормознём календарь, а если солнышко листочки выпустило

зелёные, то март, но уж если не выпускает, до 14 марта будет ещё февраль.

Давай для разминки ума напишем несколько слов. Особенно вдохновляет это многослойное слово: «Давай!» Давать, конечно, очень хорошо, даже прелестно. Но, спросим для ясности сами себя, что давать? Иду в раздумьях над этим словом и вдруг из-за спины слышу громкое: «Ну, давай!». Обгоняет меня шубка на шпильках и в джинсах. Это она кому-то в прижатую к уху мыльницу крикнула: «Ну, давай!» И там кто-то неведомый даёт. И она даёт. И все дают! В грохоте вагонного метро то оттуда, то отсюда доносится это «давай». Дай, давай, даю, даёте, дайте...

Погружённый в себя шёл медленно по снегу, пытаюсь уловить вальсирующую мелодию анапеста, этого вальсирующего трехсложника, с последним ударным словом, и тут же подставил подобное слово, «далеко», и с ходу запел про себя, «далеко-далеко, где кочуют туманы», и тут же подумал, как это хорошо быть далеко-далеко, в тумане, размытым для всех глаз, облачком проплывающим над морем жизни.

Шопен свободно komponует тончайших звуков светотень, и я рифмую букву с небом, пишу словами, но без слов. Концерт рождается любовью с чистейшим отзвуком рассвета, когда полоской нежной тронут над переулком небосвод.

Запомним этот день. Он был прекрасен. Ясен. Без замутнений и намёков. Любвеобильно прямодушен. Послушен каждому движению души. Сердечный день. Моё сердце колотилось в нём. Сердце дня постукивало во мне. И всё повторялось в ритме перестука сердец. И солнце постукивало. И земля постукивала, продолжая своё неустанное вращение. Но особенно остро я почувствовал вращение всего на свете именно в этот день. Поэтому нужно никогда не забывать постукивание всего на свете именно в этот единственный день.

День прошёл, и слава Богу! А что ещё ждать от этого дня, как и от другого? Ждёшь его, ждёшь, а он приходит сам по себе, и проходит. Причём делает это с такой регулярностью, что

просто диву даёшься: когда же ему наскучит это однообразие? Но дню не наскучивает. Он опять приходит. Смотреть уже на него нет сил, а он тебя втаскивает без спросу в новый день, не предлагая абсолютно ничего нового. Всё тот же реалистический вид за окном: избушка справа, берёзка слева. Ну, конечно, если поменять ракурс, выйти, обойти пейзаж с тыла, то берёзка будет слева, а избушка справа.

Лизы ещё не было на свете, а Урмас уже был. Он в сладком урчании садился мне на грудь, как я только ложился читать книгу. Иногда мне казалось, что Урмас диктовал мне, а я только успевал записывать за ним поток сознания "Кота Мурра", "Мастера и Маргариты", с котами нельзя, "Кота в сапогах", "Кота Мурлыки"... Потом Лиза появилась, как цветок весной. Урмас увидел Лизу. Лиза увидела Урмаса. Но так застеснялись друг друга, что при встречах прятались. Проходили дни и месяцы. Лиза стала изучать Достоевского. Узнав об этом, Урмас перестал стесняться и время от времени начал подходить к Лизе. Теперь они друзья, но на некотором расстоянии.

Закат пылал. Лоб, глаза и щеки разгорелись до такой степени, что смотреть на них было больно, а тут ещё его могучий торс с квадратными плечами молотобойца обжигал до такой степени, что, казалось, я сам оказался в плавильной печи. И это существо оторвалось от стены и с балконом на руках двинулось на меня с тяжелым стуком чугунных ног по обледенелому тротуару, только сколотый лёд разлетался фонтанами искр. Я ускорил шаг по безлюдному переулку, но сколь энергичнее я не ускорялся, тень атланта накрывала меня, и он готов был сбросить мне на голову балкон. Я бежал. Закат пылал!

Замерзают пальцы рук. Вдруг. Если держишь фотоаппарат в мороз голыми руками. Руки надобно одеть. Неприлично ходить, да ещё фотографировать голыми. На руки желательно надеть перчатки. На персты надеть перчатки. Что-то с перцем здесь звучит, но тем не менее перста в перчатках не будут деревенеть. Хорошо в мороз в перчатках! Пальцы слушаются импульсов взгляда, жмут на кнопку, щелкает затвор в одной из

извилин мозга, потому что только там начинается экран, благодаря надетым на пальчики перчаткам. Не простым, а вязаным, ведь кожаные твердеют, а нитяные облегают мягко и плотно пальчики, и не мешают им сгибаться и разгибаться.

С чувством, привычным к всевозможным контрастам, от удовольствия до отторжения, выхожу на улицу. Иду и наблюдаю за людской безалаберностью, которая никак не приводится в порядок простейшими правилами, сводящимися к элементарному: не мешай другим. Трое стоят и кричат, сразу все вместе. Я сначала подумал, ругаются. Нет. Это они так «беседуют». Остановился на узкой дорожке, полагая, что они дадут мне дорогу и тут же посторонятся. Стою минуту, ноль внимания. Потом один замечает меня, но делает вид, что меня нет. Второй же бросает: «Не трамвай, объедет!» Обошёл молча по сугробу, я же не трамвай.

Не станция «Достоевская», а первое в мире метро, или андеграунд, появилось в Лондоне в январе 1863 года. А отец Раскольникова был в английской столице в 1862 году. Правда Раскольников был ещё в тумане. Он отшлифовывался на даче у сестры в Люблино летом 1866 года на станции «Волжская» Люблинской линии, что и «Достоевская». Достоевский только макнёт стальное пёрышко в чернильницу, а поезд метро в Лондоне уже отходит от станции «Паддингтон». Мандельштам садится в вагон и на ходу сочиняет: «Когда, пронзительнее свиста, я слышу английский язык, - я вижу Оливера Твиста над кипами конторских книг. У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда...» И Достоевский спросил у Диккенса, с которым и познакомился в Лондоне.

Солнце светит понемножку. Можно сказать, что вовсе не светит. Хотя ведь иду по улице, кое-что различаю, лбом о фонари не бьюсь. Но все же как-то уж очень темновато. Так и хочется прибавить яркости, да и контрасту бы не помешало. Короче, необходима регулировка экрана монитора. Ведь то, что я вижу, бесконечной чередой проплывает и исчезает, давая возможность показаться следующему кадру.

Имея в виду соображение, что писателем становится читатель, можно вполне уверенно утверждать, что хороший писатель не просто начитан, но перечитан, зачитан, набит буквами и словами до отказа, как вагон метро в час пик. А ведь сначала он был обычным читателем, но его операционная система была настроена на такие высшие лексические эмоции, что параллельно с чтением он стал писать.левой рукой листает прочитанные страницы, а правой пишет свои вариации на тему вечности, у которой «ворует всякий, по словам Мандельштама, а вечность, как морской песок». Вот так. И только так!

Всё своё ношу с собой где бы ни был, в горах, на море, на Арбате, но во мне, как я и сам, струна строки, поющий Гоголь, ясный Тютчев, Маргарита, мастер Достоевский, трансцендентальный Фридрих Шеллинг, мечущийся по улицам тёмным Мандельштам, с нравственным выбором Шопенгауэр, звучащий неотступно Рахманинов, Бачурин с вишнями в ожидании лета, с кругами ада Алигьери, и много, много светлых душ во мне одном, и в каждом умном, познавшем тайну остаться в жизни навсегда.

Не успокаивайся никогда, тебя Тот успокоит в своё время без твоего ведома и без твоего согласия, поэтому нервничай, читай, пиши, успевай сбегать в Академию художеств на выставку авангардиста Игоря Снегура, попутно заглянув в Новую Третьяковку ради одной картины Левитана «Над вечным покоем», вечерком заскочи в Театр Армии под куполом на Бурдонского, не застывай на месте, переживай за своих персонажей так же, как переживаешь за себя, становясь персонажем, не жди троллейбуса, иди пешком, тормоза все свои впечатления, чтобы выплеснуть их в цифровое пространство, к Тому, минуя бумагу.

А наше небо бесконечно, конечно. Только тронуту детскими лучами, как среди плотных облаков открывается бездонная голубизна, окрашивая отраженно в эти нежные тона улицы и переулки. С морозным дыханием проявляется, как переводная картинка, утро. Где-то тронули струну, кто-то в зале кашлянул,

шевелинулся занавес и зазвучало вступление. Спектакль нового дня начался по обычному расписанию, без задержек и промедления. Актёры из кулисы в кулису побежали по своим делам по сцене жизни. Освещённые солнцем.

На тёмном зимнем небе месяц и звезда напротив. Что бы это значило? Да просто то, чтобы я это увидел. А если увидел я, то увидели все. Вот как получается, сразу через меня увидели все, а я увидел через всех. Я нахожусь в каждом, и каждый находится во мне. Один во всех, и все в одном. Эта формула применима к каждому, увидевшему в чёрном небе звезду с месяцем. Сомнений быть не может. Я поднял взгляд в морозное небо. И все подняли взгляд. Напротив звезда месяца в небе зимнем тёмном.

Ходят люди посуху и по морю, ходят всюду по шару, ходят даже вниз головой и не падают, в каждой дырке, как пробки, затычки, где бы ни был, повсюду они. Люди-люди, откуда вы взялись? Ни пройти, ни проехать из-за множества вас! А уж там, где граница Европы и Азии, там народ отдыхает, как море, после бурного шторма праздничного, с пробочными пулями и поисками отметин на земле, как на циферблате, чтобы знать, который час вращается вокруг себя этот шар многоглазый и многоголовый, сам в себе заключённый, а не для показа моделей на подиуме Млечного пути под аккомпанемент выхлопных газов.

Нет ничего печальнее наблюдения за собственным состоянием, когда после сытного обеда 80-летний пациент, ожиревший от бездействия и наблюдающий за своим состоянием, является пациентом самого себя, прислушивается к биению сердца, выявляя в нём сильные и слабые тоны, а то и, как пациенту кажется, перебои и покальвания, после чего, не вставая с дивана, протягивает руку к телефону и вызывает «скорую помощь», которая прибывает через какое-то время, осматривает и выслушивает пациента, но в больницу не берёт, и так продолжается почти ежедневно, в результате чего «скорая» перестает к нему приезжать, но после каждого из пяти блюд обеда пациент возводит глаза к потолку и шепчет: я умру -

возьмите меня в больницу, но вот уже двадцатый год прислушивания к себе не умирает.

То ли музыки недостаточно, то ли слышу я песнь чужую, но мелодию, хоть зачаточно, нахожу я. Вопреки неоглядной дальности напеваю себе в новой статье о реальной такой нереальности в благодати. Ты напитанный сладким пением пробуждаешься утром новым, чтоб сложить свою жизнь с умением в Слове.

И не надо спрашивать, даже глупо задавать не кому-то, а самому себе вопросы о том, прекратятся ли когда-нибудь в мире варварство, узколобость, невежество, бескультурье и прочее из того же ряда, поскольку штамповка существ, которые только в минимальном количестве становятся людьми, не прекращается ни на секунду и, следовательно, всё отрицательное будет жить вечно, давая благодатную почву для написания «Философии печали».

Ну, ладно, если брюзжат по современным нравам, и при этом с умилением вспоминают прошлую жизнь, но вот что настораживает: с какой-то завидной одержимостью продолжается прямо-таки советская полемика с телевизором, сочиняются какие-то петиции протеста с требованием «подпишите петицию», вместо того, чтобы написать свой, новый, оригинальный абзац о каком-нибудь простом деле, например, о поливке герани с утра на подоконнике, о том, как она цветет в январе алым маком. Ведь на телевизор ты повлиять не можешь, а на герань - да. Герань приподнимает.

В кафе «Артистическое» напротив, в бабочке и в шляпе, шарфик шелковый, пальто длинное драповое серое. К стойке. Рюмку коньяку.

Некоторые пишут с окончанием «а», я люблю на «у». Как-то сближает с Господом!

Приспособился к языку и к месту, значит, свой. Приспособился к семье, значит, хороший семейный человек. Приспособился к работе, стало быть, хороший специалист. Приспособился к молчанию, тогда умным всюду сльвёшь. Приспосо-

бился к вежливости, культурно жизнь проводишь. Приспособился не вступать в спор, сохраняешь нервы себе и оппоненту. Приспособился к тайнописи, обеспечиваешь спокойствие семье и раздумья будущим приспособленцам, ну, и так далее без изъятий.

Приспосабливаешься ко всему, незаметно даже для самого себя, потому что так уж создан приспособленцем, который в мороз одевается, а в жару раздевается.

Войдите!

Кар-кар!

В поисках всего утраченного, а утрачивается всё и всегда, кроме Слова, с удивлением обнаружил у Марселя Пруста стихотворение «Шопен», и в свободном полёте музыкальной интерпретации перевёл его...

Marcel Proust

Chopin

Chopin, mer de soupîrs, de larmes, de sanglots
Qu'un vol de papillons sans se poser traverse
Jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots.
Reve, aime, souffre, crie, apaise, charme ou berce,
Toujours tu fais courir entre chaque douleur
L'oubli vertigineux et doux de ton caprice
Comme les papillons volent de fleur en fleur;
De ton chagrin alors ta joie est la complice:
L'ardeur du tourbillon accroit la soif des pleurs.
De la lune et des eaux pale et doux camarade,
Prince du desespoir ou grand seigneur trahi,
Tu t'exaltes encore, plus beau d'être pali,
Du soleil inondant ta chambre de malade
Qui pleure a lui sourire et souffre de le voir..
Sourire du regret et larmes de l'Espoir!

Marcel Proust (1872-1922)

"Les plaisirs et les jours", 1896

Подстрочный перевод:
Марсель Пруст

ШОПЕН

Шопен, море вздохов, слез, рыданий,
Как полет бабочки, не спрашивая, проходит через
Играя на печаль или танцующий на волнах.
Мечтает, любит, страдает, кричит, успокаивает, шарм или убаю-
кивает,
Всегда ты делаешь бегать между каждой боли
Забывчивость головокружительный и нежный твой каприз
Как бабочки летают с цветка на цветок;
Твоего горя, то твоя радость-это сообщник:
Пыл вихрь усиливает жажду плач.
Луны и воды, бледный и мягкий товарищ,
Принц в отчаянии, или великий господь предал,
Ты возвышен еще более красивой, чтобы быть бледнее,
Солнце, заливая свою комнату больного
Кто плачет, а он улыбается и терпит видеть...
Улыбкой сожаления и слезы Надежды!

Марсель Пруст (1872-1922)
"Наслаждения и дни", 1896

Мой поэтический перевод:

ШОПЕН

Шёпот моря, Шопен // слезою лёг в слог ли...
Как во льду пепел, он - // сизой бабочки смех.
Игры в танце волны // печалью намокли.
В обаянье любви - // сострадательный грех.

Ты от боли до боли // звенящий напев,
Где волной опьянённой // ласкает сон бриз.
И цветком от цветка // насладиться успеv,

далёкое

Чередуются клавиши // пальчиков близ.
Ты в любви пробуждаешь // то радость, то гнев.

А когда не уснуть // с луной до утра.
Ты в обманутой страсти // мгновенного рая
Сам возносишься к небу. // Надежда святая!
И рассветного солнца // больная игра!

Там, где форте и пьяно, // кончается страх,
Только слезы улыбки // дрожат на губах.

Перевёл Юрий Кувалдин

И ещё раз без обозначения цезур после второй стопы анапеста:

ШОПЕН

Шёпот моря, Шопен слезою лёг в слог ли...
Как во льду пепел, он - сизой бабочки смех.
Игры в танце волны печалью намокли.
В обаянье любви - сострадательный грех.

Ты от боли до боли звенящий напев,
Где волной опьянённой ласкает сон бриз.
И цветком от цветка насладиться успев,
Чередуются клавиши пальчиков близ.
Ты в любви пробуждаешь то радость, то гнев.

А когда не уснуть с луной до утра.
Ты в обманутой страсти мгновенного рая
Сам возносишься к небу. Надежда святая!
И рассветного солнца больная игра!

Там, где форте и пьяно, кончается страх,
Только слезы улыбки дрожат на губах.

Перевёл Юрий Кувалдин

В первой строке «французского» Шопена я по-русски передвигаю под удар во вторую стопу. Почему? Потому что по-

французский он произносится с ударом на первый слог - шопин!

Звук «Р» записываю как «ХР», ибо французы всегда картавят. У нас картавить, значит, надобно поработать с логопедом, а у них это норма, даже шик!

РИТМ. Даю произношение французских строк, как я их слышу из уст Марселя Пруста:

шопин мехр до супИхр, до лямхре, до сОглю
ка воль дО папийОн со пУзы тхравЕхрс
жуа сЮхр ля тхристЕс у донсО сЮхр ли флЁ
хрев эмЕ сУфхро кхри апЭз шахрм у бехрс...

и так далее.

Ещё раз повторяю, что у Марселя Пруста «Р» идёт из горла. Поэтому я его обозначаю как «ХР», ибо букв для такого произношения не придумано. Отличие горлового «Р» от правильного состоит в том, что вибрация образуется колебаниями не кончика языка, а мягкого неба (маленького язычка). Такое произношение звука «Р» считается правильным во французском и некоторых других языках. А у нас на юге России, на Украине сплошь и рядом произносят «Р» гортанно, по-французски.

И для большей ясности с делением на анапест в три слога, с ударным третьим слогом в стопе:

/_ / - безударная цезура (вдох как бы звук «И»)

/шопин мЕхр/ /до супИхр/, /_ до лЯ/мхре, до сОглю/
/ка воль дО/ /папийОн/ /_ со пУ/ /зы тхравЕхрс/
/жуа сЮхр/ /ля тхристЕс/ /у донсО/ /сЮхр ли флЁ/
/хрев эмЕ/ суфхро кхриИ/ /апэз шАхрм/ /_ у бЕхрс.../

- и так далее.

Теперь в анапесте на звук мой перевод:

/шёпот мО/ /ря, шопЕн/ /_ слезО/ /ю лёг в слОг ли.../
/как во льДУ/ /пепел, Он/ - /сизой БА/ /бочки смЕх./
/игры в тАн/ /це волнЫ/ /_ печАль/ /ю намОкли./
/в обаянь/ /е любвИ/ - /сострадаА/ /тельный грЕх./

- и так далее.

А вот так запись анапестом в две стопы в строке будет много лучше передавать музыкальность стихотворения:

ШОПЕН

Шёпот моря, Шопен
слезою лёг в слог ли...
Как во льду пепел, он -
сизой бабочки смех.
Игры в танце волны
печалью намокли.
В обаянье любви -
сострадательный грех.

Ты от боли до боли
звонящий напев,
Где волной опьянённой
ласкает сон бриз.
И цветком от цветка
насладиться успев,
Чередуются клавиши
пальчиков близ.
Ты в любви пробуждаешь
то радость, то гнев.

А когда не уснуть
с луной до утра.
Ты в обманутой страсти
мгновенного рая
Сам возносишься к небу.
Надежда святая!

И рассветного солнца
больная игра!

Там, где форте и пьяно,
кончается страх,
Только слезы улыбки
дрожат на губах.

Перевёл Юрий Кувалдин

Марсель Пруст написал своего «Шопена» четырёхстопным анапестом с цезурой после второй стопы. Я перевёл «Шопена» звукоподражая французскому произношению, не отходя далеко при этом от ритма анапеста и смысловой окраски.

Анапест - трехсложный размер, в котором ударение падает на последний слог, а два других - безударные (пример: человек (одна стопа); человек, человек (две стопы); человек, человек, человек (три стопы); человек, человек, человек, человек (четыре стопы); четырёхстопный анапест просит паузу (цезуру) после первых двух стоп).

Звуковой сходный пример четырёхстопного анапеста из Александра Вертинского (последняя строка из трёх стоп):

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

И совсем для ясности усвоения ритма нашего анапеста пример из блатных «Журавлей»:

Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный
Слышу крик журавлей, улетающих в даль.
Сердцу больно в груди видеть птиц караваны,
В дорогие края провожаю их я...

Подморозило и сразу стало легко. Немножко, чуть-чуть, самую малость, но асфальт на глазах подсыхает от снежной слякоти. Идти можно легко и уверенно. Лёгкий месяц над аллеей светло светит. А напротив него мигает лёгкая яркая звезда. Лёгкое небо плотно и темно-сине. Что может быть прекраснее лёгкого зимнего ясного вечера! Дышится легко, походка легка, мысли легки, месяц легок, звезда легка. Что ещё вокруг легкого? Да всё подряд. Особенно легки лёгкие, легко сердечное сердце, легка душевная душа, легко зоркое зрение, лёгок чуткий слух, лёгок морозный мороз и легко приятен, как лёгкий умный приятель.

Клейма компьютеров: «Радомысленский», «Карев», «Монюков»...

От простого человека ничего приметного не остаётся, даже внуки его не знают хоть что-нибудь. А что уж говорить о путешествии семени тысячу лет назад? Но ведь семя-то путешествовало, с женскими яичками соединяясь в лоне! Ну были, как-то жили, что-то делали. Одни родственники говорят, что прадед был сильным, другие настаивают на том, что после ранения на войне, ходил с палкой. От человека великого остаются не внешние признаки, а книги, в которые вмещаются все простые люди вместе со всеми родственниками с рыцарем Копёнкиным на кобыле «Пролетарская сила».

«Признавая подлинное бытие только за единичным реальным фактом, мы, будучи логически последовательны, не можем признать настоящим, действительным существом даже отдельного индивидуального человека: и он с этой точки зрения должен быть признан за абстракцию только. В самом деле, возьмем определенную человеческую особь: что находим мы в ней как в реальности? Прежде всего это есть физический организм; но всякий физический организм есть агрегат множества органических элементов - есть группа в пространстве. Наше тело состоит из множества органов и тканей, которые все сводятся к различным образом видоизмененному соединению мельчайших органических элементов, так называемых клето-

чек, и с эмпирической точки зрения нет никакого основания принимать это соединение за реальную, а не за собирательную только единицу. Единство физического организма, то есть всей этой множественности элементов, является в опыте как только связь, как отношение, а не как реальная единица». (Владимир Соловьев «Чтения о богочеловечестве».)

Ничего не объясняю, потому что Кеворков не понимает рассказа.

Жду тебя на новом месте возле леса у реки. Да, вот здесь, среди лесов и болот, стала расти когда-то татарская Москва, на семи холмах, как Рим. Всегда холодно, дождливо и снежно. Поэтому изобрели белое вино под сорок градусов. Поднимает на ноги и роняет в лужу. Для поднятия духа надо поднять стаканчик. Например, Нагибин после месячного возлияния, едва придя в себя, записал в дневнике: костер мой полыхал с опухшими глазами и кровоточащим шрамом на щеке! Эх, пропью все деньги до гроша! Девки пляской удивляли - юбки выше головы! Да и неподражаемый, могучий Уильям Фолкнер лежал в кювете при дороге на ферму неделю, прежде чем написать что-то путное.

ГОЛОС ДЕТСТВА

Смотрю глазами постороннего человека на прохожих, но не замечаю их. Какой-то постоянный оптический обман. Они есть, и в то же время их нет. Как, впрочем, нет и меня. Я невидим. Почему-то мне не нравятся вещи, где изображается видимое, как в случае с прохожими, и нет намёка на ту тайну, которая скрывается за видимым. Я слышу шорох за спиной, оборачиваюсь и вижу, как прохожий взмахивает крыльями и взлетает на козырёк подъезда. От меня падает тень в лужу и загорается. Я жмурюсь, часто дышу, и выбегаю через чёрную арку в переулок. Стая голубей слетается к моим ногам.

Сажу на белой лавке, спинкой прилаженной к застекленным рамам террасы. Курю, поглядывая на белые облака в синем небе. Под ногами ползает в песке Саша с машинкой. Для-для-для. Это Саша звукоподражает открытым голоском, без кавычек. Зачем звуки брать в кавычки? Так всё сплетено в жизни, что разять невозможно. Теплый летний день с высоким солнцем. Начало июня. Мы на даче одни. Тишину нарушает лишь это для-для-для и чеканное щелканье соловьёв в зарослях всё ещё цветущей сирени.

За нотой «до» поётся «ля», чтобы сложилась в сущность доля. В квадрате - чёрная земля, в чугунном колоколе - воля. Железный скрип, предсмертный крик давно исчезнувшей эпохи, был молодым стальной старик, гранит перемоловший в крохи... Точильный камень режет ночь, искрится твёрдое пространство. За тенью тень уходит прочь от диктатуры постоянства...

Саша... Имя... Моего сына... А я кто? Ни на лбу, ни на другом каком-нибудь месте тела не написано, что я «Юра». К чему ещё не прикрепили слов, того пока не существует, но это абсолютно не означает, что слова не найдутся, как нашлись в начале времён слова, рассеявшие одно из первых слов, означавшее отсутствие слов: «безвидность». Вроде бы глаза видели всё

вокруг, ведь глаза были, как у кошки, как у мышки, как у мишки, но что конкретно они видели... Вот тут нужны слова, которые расскажут, что малышки без книжек видели. Тебя как зовут? Пока никак, потому что я только что родился. Хорошо, ты будешь «Сашей».

Отлично.

Это уже кое-что... Поэтому неправильно говорить: «У меня родился Саша». Сашей не рождаются, а становятся.

Село наше Барселона, Барсело наша на карусели в Марселе и в Брюсселе, одним словом, а Спас наш есть Спейс, то есть космос, а космос есть Москос, иначе говоря, Москва, которая в Дамаске родилась, чтобы маскироваться красотой космоса, отселе сёла наши стали русским языком именоваться, чтобы ловить ай лав ю облавами, чтобы лавировал между любовью с liebe от Стамбула до Тамбова и обратно так, чтобы окончательно окосел и обрусел.

Если утро туманное, вспомним Тургенева. Если утро солнечное, вспомним Фета. Если на Невском проспекте вдруг настанет весна, вспомним Гоголя. Если ночи были белые, вспомним Достоевского. Если ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, вспомним Тютчева. Если утро серенькое, вспомним Чехова. Если муза в уборе весны постучалась в окно, вспомним Блока. Если озеро стало отвесным, вспомним Мандельштама.

Мотокитель, воскликнул Саша после того, как за штакетником дачной ограды проскочил мотоцикл, и я сказал мотоцикл, после чего возникло это чудесное звукоподражание мотокитель, без кавычек, как звук, подобный другому звуку, как в звуках протекает птичья жизнь, когда желтороты птенцы прислушиваются к вибрациям голосовых связей родителей и вторят им, голосистый соловей, пой неустанно в зарослях сирени под воркованье голубей, под философские кар-кар-кар ворон, под лиричные возгласы воробьёв чирик-чирик, под трепетанье хвостиков трясогузок, под призывный клёкот распластанных в полёте чаек.

Когда слова сами собой связываются, без диктата автора, который просто пишет первые пришедшие в голову слова из одной любви к графической форме слова, то возникает совершенно необычная мысль, к которой без слов не подступишься, хотя есть множество людей, которые, как им кажется, думают без слов, а когда спросишь у них, о чём они думают, отвечают, что и так без слов всё ясно.

Эти бессловесные люди напоминают мне бутылки, закупоренные наглухо, и брошенные в море, авось, кто-нибудь поймает, откупорит, но ничего не узнает.

Смотрю глазами постороннего человека на прохожих, но не замечаю их. Какой-то постоянный оптический обман. Они есть, и в то же время их нет. Как, впрочем, нет и меня. Я невидим. Почему-то мне не нравятся вещи, где изображается видимое, как в случае с прохожими, и нет намёка на ту тайну, которая скрывается за видимым. Я слышу шорох за спиной, оборачиваюсь и вижу, как прохожий взмахивает крыльями и взлетает на козырёк подъезда. От меня падает тень в лужу и загорается. Я жмурюсь, часто дышу, и выбегаю через чёрную арку в переулок. Стая голубей слетается к моим ногам.

Для-для-для с крышкой от большой кастрюли мчится вокруг дома автомобиль, для-для-для звуковетроие проезжающей машины в маленьких тувельках на хлястике с дырочками для гвоздика пряжки, в клетчатых, в синюю с чёрной клеткой, штанишках на бретельках крест-накрест, с застёгнутыми на пуговку чуть ниже чашечек колен, в белых гольфиках, с лицом, переполненным улыбкой, с сияющими огромными голубыми глазами, и с неперенной нежной струйкой изо рта, стекающей по розовому подбородку на миниатюрный фартучек-передничек, для-для-для.

Тувельки эти висят у меня на гвоздике на книжном стеллаже, как в музее. Не ленюсь снять их, рассмотреть и измерить линейкой размер. Крохотные тувельки, в длину 13 сантиметров, бегают с кастрюльной крышкой по песчаной тропинке вокруг дачного дома, для-для-для.

Всё так упрятано, зашито, замаскировано, прикрыто, что не увидишь самой сути, о чём догадываться можешь, но видишь только занавески в цветочках радостных по фону весенней травки, как газоны, они украшенными будут, о красоте запомнить надо, но красота есть оболочка того, что видеть неприлично, но видеть очень бы хотелось, об этом в книге в одиночку читайте ночью, рядом с тенью, обняв её, гасите свечи.

Водадоту в одно слово говорится, водадоту, какая ещё водадота, потом уясняется копирование звуков, когда папа ушёл на работу, да не ушёл, а учёль, и не на работу, а во дадоту, короче, учёль водадоту., можно и отдельно, во дадоту, вам понятно, или ещё раз повторить, что папа учёль во дадоту?! И это произносится чётко и восторженно, как свидетельство овладения звуками каких-то работ.

Каждый человек исполнен зародышем мысли. Нужно записать её прямо в этом зародыше, чтобы затем методично развить до объёма книги.

Да куда там! Некогда.

И так всё в нём, в этом человеке. Он богат сам в себе, да ещё так, что стыдно вслух произносить. Мелькнул зародыш мысли об этом и тут же исчез. Человек при этом улыбнулся, не сожалея об утраченном зародыше, потому что тут же моментально возникает в голове другой зародыш, ласковым солнечным лучом глядящий щеку.

А поезд стучит колесами, за окном мелькают зародыши мыслей о красоте пейзажей и столь же быстро сменяются столбами и полустанками. А вот и конечная станция. Жизнь пронеслась в зародыше.

Циты прекрасные, циты воздушные, циты звучащие особенно у огнедышащего огромными пурпурными бутонами шиповника, к одному из которых маленький Сашенька приближает носик и восклицает ци-ты, цветами наполняясь, когда на всю жизнь, всегда пойдут, сменяя друг друга, цветы добра, цветы любви, цветы света, цветы рождения, цветы вдохновения, цветы сна, цветы мороза, цветы воспитания, цветы глупости, цве-

ты жажды, цветы сытости, цветы восторга, цветы счастья, цветы разлуки, цветы встречи, цветы победы, цветы поражения, цветы города, цветы деревни, цветы улицы, цветы моря, цветы ласки, цветы горя, цветы мира, цветы войны, цветы нежности, цветы жалости, цветы дикости, цветы молодости, цветы старости, «Цветы зла».

Валель в маленьких ручках, и бегают по просторной в квадрате солнечного света Саша, валель. Какая валель? Акварель Макса. Распахнута большая папка с рисунками Волошина, с уплывающим в лунном свете Кара-Дагом, с бесконечно прекрасным морем. За окнами настоящее море, голубизной ослепляющее! Валель, валель... А вечером к пирсу подходит теплоход, и Саша восклицает кробадель, после моего несколько сюсюкающего корабль, поясняющего, а пояснять ничего детям не нужно, операционная система мозга восприимчива к любому новому звуку, готова обрабатывать молниеносно любую информацию, потому что сначала идет мозг, а потому уж все прочие чувства, без мозга нет чувств, без быстродействующего компьютера ребёнка нет человека, потому что человеком становятся, а не рождаются, ибо рождаются устройством, экземпляром бесконечного тиража тел, разработанных главным художником, виртуозным мастером всего на свете, кробадель, валель, Волошин.

Литература лежит себе годами на чердаке, или под кроватью, или в чемодане, или на стеллаже, или в чулане, отдыхает, никого не тревожа, не призывая срочно читать, потому что рано или поздно приходит созвучный ей читатель и читает, не отрываясь, не спрашивая, где же автор, подайте сюда автора, которого тело распалось на электроны с атомами сотню лет назад. Читая Гоголя, мне не нужно тело Гоголя, читая Чехова, мне не нужно тело Чехова, вот почему я перестал ходить на литературные вечера, потому что литература есть дело тёмное и одинокое, с глазу на глаз с книгой, а не с эстрадными артистами из Лужников, к примеру, но они к литературе никакого отношения не имеют.

Каждое слово имеет свой размер. Каждое слово состоит из одного, двух, трех и более слогов. Каждое слово имеет своё звучание. Каждое слово имеет свой крючок, как удочка. Этим крючком подвязывается что-то из внешнего мира, отовсюду, что вызывает определённый смысл. Если подбирать слова по размеру, по ритму и по звучанию, то появляется музыка. Умение писать музыку словами есть истинная поэзия. Иными словами, поэт тот, кто не ищет смыслы, а пишет музыку.

Нам нужно углубиться до полного забвения себя в книгу, когда-то волновавшую нас. И эта книга опять будет тревожить в новых ракурсах ситуаций, открывающихся при каждом последующем прочтении, ибо хорошая книга неисчерпаема. Перечитывать с неизменно возникающим в нас при этом трепетным чувством прикосновения к чему-то очень близкому, хорошему, радующему душу. Всегда хочется быть в приподнятом настроении от прочитанного, поскольку плохого и так много вокруг. Хороший автор чувствует это, и даже если даёт негатив, то лишь затем, чтобы оттенить прекрасное.

Сердце, пусть вы сердитесь на сердце, если сердцем вашим овладеет робость, когда сердце горит, сказали вы с сердцем, сердце стало сильнее колотиться, а это всё от чистого сердца, при этих словах екнуло сердце, даже затрепетало ваше сердце, и не просто сердце билось, но с бьющимся на разрыв сердцем вы высказали все свои сердечные муки и покинули сердечного друга, чтобы в слезах успокоить ваше ранимое сердце.

В кровати лежит чёрный кот Кадик, рядом во все глаза смотрит на меня Саша и говорит дачле, ну, я, естественно даю дачле, когда он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каж-

дый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться... Я и сам не заметил, как Сашенька уснул спокойным сном. Кадик котик нежный задремал чуть раньше.

Слезится снегопад, дробится в грустных лужах, на пепельный асфальт легло стекло ледка, прохожие не спят, им дождь февральский нужен, чтоб чувствовать весну в чернилах февраля, о, если бы достать рукой до колокольни, и выпить ночь до дна, поторопив рассвет, «Над пропастью во ржи» читает новый школьник, и подгоняет жизнь под выбранный сюжет.

Удлиненная форма закругляется, выявляя всё новые повороты плавного перехода от одного своего состояния к другому, не касаясь при этом предыдущего спирального виража, и даже не замечая изгибов, находится в полной уверенности следования от некоего начала к смутно намеченной цели, к достижению чего-то, то есть форме в себе самой жизнь представляется абсолютной прямой линией, следующей от одного счастья к другому, и она, форма, не замечает, что уже в бесконечный раз по кругу проскакивает одни и те же точки.

Ужасно не хотелось рассказывать ему - что да как. Все равно он бы ничего не понял. Не по его это части. А ушел я из Элктон-хилла главным образом потому, что там была одна сплошная липа. Все делалось напоказ - не продохнешь. Например, их директор, мистер Хаас. Такого подлого притворщика я в жизни не встречал. В десять раз хуже старика Термера. По воскресеньям, например, этот чертов Хаас ходил и жал ручки всем родителям, которые приезжали. И до того мил, до того вежлив - просто картинка. Но не со всеми он одинаково здоровался - у некоторых ребят родители были попроще, победнее. Вы бы посмотрели, как он, например, здоровался с родителями моего соседа по комнате. Понимаете, если у кого мать толстая или смешно одета, а отец ходит в костюме с ужасно высокими плечами и башмаки на нем старомодные, черные с белым, тут этот самый Хаас только протягивал им два пальца и притворно улы-

бался, а потом как начнет разговаривать с другими родителями - полчаса разливается! Не выношу я этого. Злость берет. Так злюсь, что с ума можно спятить. Ненавижу я этот проклятый Элктон-хилл.

А ты всё пишешь? Что ж делать мне, я болен буквами! К тому ж я Юрий. Вот Юрий Олеша первопроходец коротких, в одно дыхание, записей. Он провозвестник феёсбука в интернете, где объясняются столь же кратко, правда, до высочайшего художественного уровня Олеша там никому не достать. Фейсбук по большей части - информация, Олеша - искусство. Информация не нужна искусству. И даже враждебна. Олеша бросил писать сюжетные вещи. Даже его первая повесть "Зависть", в сущности, бессюжетна. Там важен стиль, художественные особенности текста. Никакой театр, никакой кинематограф не передаст особенности художественного текста. Адекватное переложение текста кинематографом - это показ текста на экране, чтение с экрана текста, букв, слов, фраз, как в интернете. Литература адекватна только в кодировании мира буквами и в дешифровке второй реальности через буквы. Литература - это писание и чтение в одиночестве. Где уже двое - там нет литературы.

Сон наступает, чтобы ты всё, что было в минувший день, забыл. Ты спишь мгновение. Только уснул, как уже просыпаешься. Так всегда бывает после насыщенно проведенного дня в работе. Картины сна, скрепленные по абсурдной логике, пролетают мгновенно, хотя делятся вечность. Чистую страницу открывает тебе рассвет. Ещё было темно, ещё длилась ночь, но что-то шевельнулось за горизонтом. Рассветает бесшумно и медленно, когда торопишь наступление нового дня, устремляя взгляд на узенькую полоску мягкого света.

В юности люди в большинстве своём восторженно воспринимают жизнь и даже пишут стихи. Частенько пребывают в экзальтированном состоянии. Молодость распахивает себя навстречу прекрасному. Но время неумолимо тащит человека по жизни, и он, как правило, в конце концов сникает. Вялости су-

ществования способствует однообразию быта и работы, раз навсегда выбранной, пусть и со сменой мест. Писателем становится тот, кто никогда не сникает, у которого вдохновение возникает при каждом написанном слове. Ибо много званых, да мало избранных.

Сажаю в детский столик-стулик Сашу. Он моментально кистью, смоченной в банке с водой, разводит плиточку синей акварели и начинает тютювать. Саша, ты чем занят? Тютюю, как всегда в блаженном смехе, отвечает Саша, закрашивая лист белой длюмаги. Каски, каган и длюмага у нас всегда наготове. Еще ходить и говорить не научился, а уже после «Преступления и наказания» подайте ему длюмагу, каски и каган, который разумеется мною произносится как карандаш.

Лист бумаги требует красивой темы, хотя молчит. Красивую тему нужно красиво исполнить. Лист чист. Он и в ворде интернета чист, как лист бумажный. Интернет есть бумага. Лист интернета требует красоты. Что напишем, то и будет. Художеству не нужна точность, а нужна красота, доставляющая удовольствие. Удовольствие спасает мир и делает его красивым. И всё молчит пустое, и требует непременно красоты, как женщина перед зеркалом.

Пятя банка на пол, вода разливается. Саша смеётся, хлопает в ладошки, патя, патя, патя... Упала банка. Патя!

Не разглядеть ближнего в облаке. Ближний становится дальним. Дальние плавают в облаке. Любовь начинается в облаке. Облако плывёт по реке. Облака чувств возвышают влюблённых. Река поднимается в небо. Птица сидит на облаке. Того берега не видно. Этот берег окутан облаком. Земля стала воздушной. Девушка превратилась в птицу. Юноша ходит по воздуху. Небо прижалось к земле. Земля стала рекой. Теплоход с распластанными крыльями парит в облаке. Рядом с белой невестой летит жених в чёрном фраке. Крылатая земля стала свадьбой.

В допешеходные времена, когда движение на четвереньках было столь стремительным, что я даже не замечал, как Саша

оказывался передо мной. Он вздумал ручки и требовал аконя, можно и отдельно, а коня. Я поднимал Сашу, даже подбрасывал и сажал его себе на плечи. Саша обнимал мою голову, шевелил маленькими нежными пальчиками на моём лбу, я держал его за ножки и начинал бегать вокруг дома конём, как Саша, когда пошёл, ездил автомобилем с крышкой от кастрюли с возгласами для-для-для. А коня!

Если с рождения существо загружается словами «ушат», «бушлат» и «автомат», то он и будет обливаться из ушата, ходить в бушлате с автоматом. Вот он, незаменимый, и необходимый казарменному старшине для управления территорией, огороженной бетонным забором с колючей проволокой.

Природа скрывает неказистые социалистические строения, состоящие из покосившихся амбаров, солдатских бань, с выщербленными стенами дворцов культуры первых пятилеток. Как природа украшает разбросанные на огромном пространстве «деяния рук человеческих»? Очень просто, как в театре, реквизитит и бутафорит, костюмирует и гримирует. Тополь выбросит юную листву и скроет с глаз долой убогие сараи гаражей. Сирень своими волнами цветения закроет казарму. Дуб пышной кроной задрапирует забор с кольцами ключей проволоки военного завода. Диву даёшься от энергии природы! И грустишь от портящего всё вокруг прямоходящего. Он-то к красоте природы какое отношение имеет?!

Ему не везёт, говорит он горестно, опускаясь на дно жизни, потому что всё время мешают, и ехать нет никакой возможности и нет тяги, которая его бы тащила, то есть везла. Говорят, что везёт тому, кто везёт. Но как он везёт? Ему же тоже всю дорогу мешают?! Значит, чтобы везло, нужно обладать способностью преодолевать обстоятельства, которые мешают, а он этому не обучен, потому что не он живёт, а кто-то другой тащит его по течению реки отпущенной жизни щепкой.

Не ходи туда, не смотри сюда, не слушай то, не кушай это... Приметы ошейником водят людей на прогулку жизни. Гуляешь сам по себе, но под присмотром. Тебя устрашают приметы, то-

бой управляют приметы, тебя одобряют приметы, тебе посылают приветы невидимые поводыри. Без них бы живородящие всё посшибали, стекла повыбивали, двери срывали с петель, друг друга перестреляли. Можно ли жить без примет? Никак нельзя без дрессировки человека приметами, вот мой на это ответ!

От лавки до бочки первый пеший ход с таким удивлением, что ротик был открыт, головка повернута ко мне, сидящему на лавке и дымящему беломором, с восхищенным взглядом - неужели это я сам прошел от лавки до бочки?!

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хоть бы в каком бы то ни было, и, не смотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Настроенья перепады всем знакомы с детских лет. Говорят, что все вам рады, - к ним у вас доверья нет. Почему же с малых лет, не находите ответа, почему проходит лето, а не длится сотни лет?

По правилам не пишется роман, он возникает с первым поцелуем, таким простым, как вешняя капель с высоких крыш московских переулков. Все правила бессильны против вздоха случайно недосказанной главы, в которой было трудно различить намерения главного героя. Он говорит, а мы его не слышим, не различаем назначенья слов, поскольку всё сливается в журчанье блестящих, гонимых солнцем утренних ручьёв.

Просёлочная с двумя пыльными колеями дорога от дачи к Лавре шла в гору через золото пшеничного поля, пронизанного тут и там яркими васильками. Я шел, задумавшись, как обычно, над очередным эпизодом работываемого мною текста, и не заметил, как Сашенька поотстал. Когда я оглянулся,

юрий кувалдин

сыночка нигде не было. Я ринулся назад под горку, стал кричать, звать Сашу, но его и след простыл. Смотрю нервно по сторонам. Кругом золото пшеницы. Над золотом - васильковое небо. На горизонте - колокольня Лавры. И вдруг прямо из зарослей высокой пшеницы в своих клетчатых штанишках, которые я называл «Тёма и Жучка», как ни в чём не бывало выходит Саша. Я сдержался, чтобы не пуститься сгоряча воспитывать. После паузы спросил: «Ты спрятался?» Саша с младенческой улыбкой и со струйкой на подбородке вымолвил: «Атисся!». Спрятался? Атисся!

"Наша улица" №210 (5) май 2017

ШИФР

По вертикальной стене Кара-Дага лезет босиком, в одних шортах Володя Купченко, хотя он почти полностью растворяется до невидимости в моих потоках мыслей, как сам Володя растворился в Максе Волошине, как Сэлинджер растворился во ржи, а Генри Торо в лесу, как все мы оказались в тексте - лучшей из лучших жизней.

Генри Торо пишет: «...люди заблуждаются. Лучшую часть своей души они запахивают в землю на удобрение. Судьба, называемая обычно необходимостью, вынуждает их всю жизнь копить сокровища, которые, как сказано в одной старой книге, моль и ржа истребляют, и воры подкапывают и крадут. Это - жизнь дураков, и они это обнаруживают в конце пути, а иной раз и раньше».

Оказывается, я уже писал об этом. От кромки моря до белёной кельи десять шагов. Занавеска колышется в проёме. Володя Купченко сидит за пишущей машинкой в одних шортах. Очки, пшеничного цвета борода. Стучит по клавишам: «20 июля 1961 года в поселке Лебяжье, под Ленинградом, сошли с электрички трое молодых людей...»

- Надо ли столь точно указывать? - спрашиваю.
- Старик, только точность, хронометражная точность...
- С чего ты взял?
- У меня даже каждый комментарий о Максе датирован...
- Это важно для его жизнеописания, но не для прозы...
- Ты сам пиши, а я о Максе...

Стучит дальше: «Мы были детьми 56-го года: камня на камне не оставив от всего того, во что нас так долго учили верить, он, в то же время, толкнул нас к поискам новых истин. Мы стали скептиками; нам требовалось всё перещупать своими руками... Между тем, нас натаскивали для работы в "партийной печати". На практиках, учебных и производственных, мы вполне оценили, что это такое, - и наше стремление вырваться из-под опеки "взрослых" становилось всё неодолимей...»

Когда он выстукивал свои страницы - вернее, большую их часть, - я думал о том, который жил один в лесу, на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда в Конкорде. Меня зовут Холден-Уолден-Генри-Джерри-Торо-Сэлинджер. Я тоже стал писать так, как завещал великий Торо в своем «Уолдене, или Жизни в лесу». Я лес заменил рожью, и стал ловить детей, чтобы они никогда не становились взрослыми. Блуждал по буддизму, хотя тот был лишь поздним отголоском великого Яхве и его сына Христа: будьте как дети! Я ушёл от людей, построил свой бункер за высоким забором в городке Корниш, штат Нью-Хэмпшир, чтобы жить по написанному.

Создать файл. Звучит зазывно. Взять и создать. И что? Файл. Вы знали об этом что-нибудь во времена пятилетки в три года? Вот то-то и оно. Какие файлы у пятилетки в три года? Вообще-то, так и надо было именовать пятилетку трёхлетней. Зачем и ради чего брать длинную палку, чтобы обломать её о чью-нибудь голову до маленькой? Возьми сразу маленькую палку и ни на чьей голове не обламывай. Ведь тебе же нужна была трехлетка, а не пятилетка. Так же дело обстоит и с созданием файла. Например, файла «Войны и мира» на одной странице, одним файлом. И самое интересное, что это возможно. Будешь прокручивать текст колесиком мышки, и весь внимательно прочитаешь... Вот до чего наш рулевой додуматься не мог!

Дж. Д. Сэлинджер («Подношение Уиту Бёрнетту»): «Как-то вечером во время занятий мистер Бёрнетт почувствовал, что у него есть желание почитать вслух «Когда наступает ночь» Фолкнера, и он сразу же осуществил свое желание и прочитал этот рассказ... Почти любой человек, наугад выдернутый из переполненного вагона метро, устроил бы из чтения более драматичное или «лучшее» представление. Но мистер Бёрнетт представления не устроил, и в этом-то и было дело. Мистер Бёрнетт весьма сознательно воздержался от представления. Он воздерживался от художественного чтения. Он, казалось,

превратился в настольную лампу, а его голос просто читал печатный текст. В общем, он предоставил слушателям самим понимать, как говорят персонажи, и что они говорят. Слушатели получили рассказ Фолкнера из первых рук, безо всякого посредника».

После сухого вина из армейской фляжки я спросил:

- И как ты, старик, здесь оказался?

- Пришёл пешком...

За оградой чуть-чуть шелестело мере. В кустах трещали цикады. Чёрное небо заблестело звёздами.

- А если подробнее...

И Петрович пустился в рассказ. За какой-то час с небольшим он выложил мне всю свою историю пешего прихода в Коктебель.

Как обычно в таких случаях, я сказал:

- Это надо написать...

- Зачем?

При этом вопросе от ничего не написавших будущих авторов, которые не станут таковыми, я вставал и уходил, почти всегда. Зачем объяснять тем, кто живёт в жизни, что истинная жизнь протекает, никогда не кончаясь, в тексте.

- Чтобы не быть маргарином, а стать маслом, - сказал я.

- Не понял...

- Ты, старик, не обижайся, но всех литературоведов и прочих, топчущихся вокруг литературы, я называю «маргарином», то есть заместителями «масла», или заместителями литературы...

Видимо, это задело Петровича. Я редко называл Купченко «Володей», всё больше по отчеству - «Петрович».

Из повести Владимира Купченко «Путешествие»: «И вот, наступил день, когда ИДЕЯ пришла - пришла ко мне. Не помню теперь, по какому поводу, я представил человека, который ищет свою возлюбленную "по всему свету". Подумалось: а ведь это не так уж тягостно: по всему-то свету... Пожалуй, на каком-то этапе этакий странник мог свыкнуться с жизнью в пу-

ти и не очень-то торопиться ее кончить. И шевельнулось: а что, если?..»

Почему, - часто спрашивают, - автор заставил своего героя лежать на диване? Почему, - часто спрашивают, - автор заставил своего героя писать роман о Христе? Почему, - часто спрашивают, - автор заставил своего героя убивать топором старуху? Почему, - часто спрашивают, - автор заставил своего героя скупать мертвые души? Почему, - часто спрашивают, - автор заставил своего героя поселиться в палате номер шесть? Почему, - часто спрашивают, - автор заставил своего героя делать революцию на кобыле Пролетарская сила? Ответ: потому!

Дождь шёл вместе со мною. Я шёл вместе с дождём. Когда мы друг другу надоели, я спрятался под аркой ворот в переулке. Здесь было сухо, лишь по центру глубокой подворотни протекал в русле асфальтовой впадины образовавшийся от дождя ручей. Арка представляла собой мудрую историю градостроительства, предназначенную именно для того, чтобы здесь можно было переждать дождь. Хорошо неспешно покурить под аркою ворот, постоять, поглядывая на капли дождя в лужах старого переулка.

Беспокойство возникает неожиданно. Вроде бы ничто до этого момента не тревожило тебя. Всё в порядке. Но вот ты вдруг ускоряешь шаг, совершенно машинально. И мало того, постоянно принимаешься оглядываться, словно за тобой гонятся. Но никто тебя не преследует. Да и вообще, кому ты нужен?! Новому замыслу.

Друзья-антисоветчики в другой воздушной жизни. Орлы самиздата! Это мы, и только мы готовили падения дома Эшеров, о котором Эдгара пела арфа. С Володей Купченко мы перелопатили не одно антисоветское произведение. Я по родственным связям изготавливал в логове советской разведки, которая первой с ГБ рука об руку обзавелась копировальной техникой тлетворного запада. Падение нерушимого СССР славно мы готовили.

На электричке в непогоду доезжаем до Семхоза, в вагон входит в чёрной шляпе, в черном пальто и в черной юбке до пят красивый чернобородый человек. В тамбуре расцеловываемся. Проходим в почти пустой вагон. Ехать всего несколько остановок. Александр Мень для меня прежде всего артистичный человек. Говорит со вкусом, пересыпая речь поэзией и анекдотами. Что-то вроде моего деда, который тоже окончил академию в Лавре, бросает про одного служителя культа, что, мол, выбился в профессора, а рассудок куриный. Эх, моя б воля - лишил бы всего и - в швейцары.

Подвижный, реакция моментальная, шаг скорый, хотя невысокий. От вокзала напрямик идём к Лавре, едва поспевая за Менем. В академии в гардеробной раздеваемся, а Мень преображается, черная ряса, на груди поблескивает наперсный крест на цепи, белый подворотничок, как мы ходили в армии в гимнастерках с такими подворотничками. Показывает аудитории. Я всё время вижу деда, который, конечно, был в начале века молоденьким студентом академии.

Жизненный горизонт деда тогда был небольшой. Пока он только лишь учился, сначала на Кудринской, потом в Донском училище, и наконец в духовной академии Троице-Сергиевой лавры. Потому взгляд Толстого, что человеку для жизни достаточно три аршина земли, деду пришлось по душе. У него создалось возвышенное представление о человеке, каждый человек ему казался сложным и большим. По своему телу, по внешности человек ничто, ибо достаточно какого-нибудь щелчка - и он умрет, но вот внутренний человек, его мысли, чувства, героизм, духовная красота - в этом и есть суть человека, его могущество. Дед знал, что Толстой не оригинален, все это сказано и до него, но он силой своего гения вновь в век электричества и пара поставил этот вопрос и по-своему доказал. Уход Толстого дед мыслил себе как последнее доказательство, что не хлебом одним жив человек, а есть нечто высшее. Мысли же о том, что для жизни прежде всего нужен хлеб, иначе человек погибнет, ему в голову не приходило. К жизни он подходил метафизиче-

ски, считая ее чем-то очень хорошим, людей не знал и, наконец, сам еще учился, ел готовый хлеб и о том, как зарабатывается копейка, не ведал. Деду казалось, что жить очень легко, ибо люди расположены друг к другу, и стоит только быть хорошим человеком, как все пойдет по маслу. Где-то в глубине сознания были и иные мысли, и сам он жил как и все - правда, никого не обижая и ни к чему не стремясь, - но что люди должны быть хорошие, и что жить нужно в мире, и что это в нашей власти, и что это - самое главное, - в это дедушка уверовал раз и навсегда, и меня потом наставлял на путь правильный. В этой его вере главную роль и сыграл Лев Толстой. Дерево этой веры росло в его душе и без него, но он выполнил роль садовника, вовремя его обвязав и укрепив, подставив шест.

В академическом музее Мень довольно кратко, но ёмко, переходя от экспоната к экспонату, обрисовал всю долгую историю становления христианства. У макета времён пещерного христианства Мень сказал:

- Человек имеет две родины, два отечества. Одно отечество - это наша земля. И та точка земли, где ты родился и вырос. А второе отечество - это тот сокровенный мир духа, который око не может видеть и ухо не может услышать, но которому мы принадлежим по природе своей. Мы дети земли и в то же время гости в этом мире.

В ресторане «Север» Мень, заметив красивую иностранку, а ресторан был закрыт для простых смертных на обслуживание интуристов, заметил:

- Хороша, но измождена красотой...

Позже я с иронией о такой красоте где-то написал: Зубной пастой натрите щёки, чтобы придать тонуса «физиогномии», не забывая при этом стимулировать сердце во время приступа, а именно на две столовых ложки кефира возьмите одну чайную ложку зелёнки, тщательно перемешайте и натрите спину под левой лопаткой, тогда же примите внутрь полстакана холодной воды из-под крана (ни в коем случае не кипятить) и заешьте ломтем черного хлеба (предпочтительнее «бородинско-

го»), после этого смешайте столовую ложку крупной (как для засолки огурцов) соли с таким же количеством сахарного песка и жуйте эту смесь в сухом виде, естественно, не разбавляя водой.

На стук священника Александра Меня в дверное стекло ресторана беспрекословно с нами пустили. Белоскатертный столик тут же был накрыт. Водка, фрукты, икра, фужеры, рюмки. Купченко поднял графинчик и было нацелился наливать в рюмки, но Меня прервал:

- В фужеры, Володя, по полному фужеру! Пусть интурист поглазеет, как русский поп пьёт водку!

Мень был в рясе с огромным крестом на груди.

Мы чокнулись. Мень залпом выпил полный фужер.

Дж. Д. Сэлинджер (выдержка из письма Свами Никхилананда, 1972 год): «Между крайним безразличием к телу и самым крайним и ревностным вниманием к нему (хатха-йогой), по-видимому, вообще нет никакой полезной середины, и это представляется мне еще одной ненужной печалью майи».

Мень казался мне праздничным человеком. От него буквально шло сияние, как от рождественской звезды.

Маргарита Прошина столь же празднично в одном из своих эссе написала о Рождестве: «Я кружусь на катке, лёгкая, воздушная как мотылёк под хрустальный голос Зои Рождественской: «Вьётся лёгкий вечерний снежок...». Мерцают разноцветные огоньки. Звенит каток подо мной. Снежинки тают на губах. Музыка воспоминаний и осязаемость юности переплелись во мне, так что отделить фантазии от реальности всё сложнее. А теперь я понимаю, что главное в жизни происходит над реальностью, в художественном космосе. Я лечу на фигурных коньках по ледку воспоминаний и с завидной легкостью думаю о том, что не надо ничего друг от друга отделять».

Мне давно известно, что 1492 год был 7000 годом от сотворения мира (1492 прибавить 5508 до Рождества Христова). Петр I решил сравнить русское летоисчисление с европейским, и предписал вместо 1 января 7208 года "от сотворения мира"

считать 1 января 1700 года "от рождества Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа". Так же был перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России самым коротким: с сентября по декабрь, то есть. 4 месяца. Впрочем, не желая конфликтовать с приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: "А буде кто захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно". До сих пор у нас празднуется старый новый год, и сейчас блюдетса разница в 13 дней, якобы от русского календаря. В XVIII веке разница составляла 11 дней, в XIX веке - 12 дней, а вот и в XX, и в XXI веках разница одна и та же - 13 дней, поскольку 2000 год был високосным. Она увеличится только в XXII веке - до 14 дней, затем в XXIII - до 15 и так далее. Все это сугубые условности, и пора понять, что если человек родился, допустим, 2 февраля 1870 года, то не надо говорить, что он родился 14 февраля по новому стилю. По новому стилю, как и по старому, он не рождался. Его произвел Бог наш всем известный Х, который есть Слово, в словами и цифрой выраженной одной дате 2 февраля.

Чтобы перевести календарь с европейского на древнерусский, надо к дате 5508 прибавить наш 2017 год, получим 7525 год.

На этот счет прав был Гоголь, воскликнув, что года не было, числа не было. Так и мы можем говорить, что в мартobre семнадцатого года всё потеряли мы, любя; один ограблен волею народа, другой ограбил сам себя... (из Осипа Мандельштама).

Ну, что тут сложного, наберись побольше умных слов и вставляй их в каждом разговоре. Умные слова все из-за границы приходят, нарушая покой привычного, своего родного языка, за чистоту которого он денно и ночью борется, поэтому возненавидел слова: «инвестор», «компьютер», «айпед», «гаджет» (этот гадёныш!), «маркетинг», «бутик», «приватизация», «анимация», «хакеры», «виртуальный», «спонсор», «муниципалитет», «глобализация», «девальвация», «эксклюзивность», «толерантность», «олигарх» и прочие, и даже слово «прези-

дент» (это не по-нашему, у нас всегда председатели колхозов были!)! Философы! Полощут умные слова, вот и всё!

Маршируют группы слов в словарях. Я люблю читать словари. Вот на букву «О» почитаем: обвойник, обволакивание, обволакивать, обволакиваться, обволакивающий, обволакивающийся... Чуть дальше пролистаем. Окропленный, окроплять, окропляться, округ, округа, округление, округлеть... В конце на «О». Ощутить, ощушу, ощутит, ощущать, ощущаться, ощущение, ощущениеце, ощущенный, оягнуть, оягниться, ояловевший, ояловеть... Ялович с Высоцким в 1961 году основали в клубе милиции на Дзержинке театр, в котором я окончательно окропился обволакивающим ощущением округления словарями.

Холодные всюду ветви без листьев, графикой теней покачиваются, изгибаясь и создавая гравюры и офорты на жёлтых и белых плоскостях старых домов, которые в это безлиственное время и можно хорошенько разглядеть, даже само небо можно увидеть сквозь чистые кроны высоких деревьев, но уж когда пойдет пора листвы, то никакого неба, никакой архитектуры, никаких прелестных пейзажей не увидишь, ибо всё перекроет буйная природа, скроет напрочь, как будто ты в тайге, или ещё до возникновения цивилизации, однако, провинциальные городки, в которых барак на сарае, и гараж на казарме, при зелени выглядят сносно.

Дж. Д. Сэлинджер (повесть «Симор: введение», New Yorker, 6 июня 1959 года): «Правда, мне хотелось еще бегло коснуться весомых и зримых подробностей, но я слишком определенно чувствую, что мое время истекло. А кроме того, сейчас без двадцати семь, а у меня в девять часов лекция. Только и успею на полчаса прилечь, потом побриться, а может быть, принять прохладный, освежающий, предсмертный душ. Да еще мне вдруг захотелось, вернее, не то чтобы захотелось, упаси Бог, а просто возник привычный рефлекс столичного жителя - отпустить тут какое-нибудь не слишком ядовитое замечание по адресу двадцати четырех барышень, которые только что верну-

лись после развеселых отпусков во всяких Кембриджах, Ганноверах или Нью-Хейвенах и теперь ждут меня в триста седьмой аудитории. Да вот никак не развяжусь с рассказом о Симоре - даже с таким никуда не годным рассказом, где так и прет в глаза моя неистребимая жажда утвердить свое «я», сравняться с Симором, - и забывать при этом о самом главном, самом настоящем. Слишком высокопарно говорить (но как раз я - именно тот человек, который это скажет), что не зря я - брат брату моему и поэтому знаю - не всегда, но все-таки знаю, - что из всех моих дел нет ничего важнее моих занятий в этой ужасной триста седьмой аудитории. И нет там ни одной девицы, включая и Грозную Мисс Цабель, которая не была бы мне такой же сестрой, как Бу-Бу или Фрэнни. Быть может, в них светится бескультурие всех веков, но все в них что-то светится. Меня вдруг огорошила странная мысль: нет сейчас на свете ни одного места, куда бы мне больше хотелось пойти, чем в триста седьмую аудиторию. Симор как-то сказал, что всю жизнь мы только то и делаем, что переходим с одного маленького участка Святой Земли на другой. Неужели он никогда не ошибался?»

Глаза говорят, слух видит, уста слышат, все прочие вкушают графику цифры, ставшей словом для операционной системы тела, брошенного на произвол судьбы в немое пространство природы, совершённое после удачных родов на паперти страсти.

Генри Торо: «Я ушел в лес потому, что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими фактами жизни и попробовать чему-то от нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе и не жил. Я не хотел жить поделками вместо жизни - она слишком драгоценна для этого; не хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости. Я хотел погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины, хотел жить со спартанской простотой, изгнав из жизни все, что не является настоящей жизнью, сделав в ней широкий прокос...

На своем двухлетнем опыте я убедился, что добыть необходимое пропитание удивительно легко, даже в наших широтах; что человек может питаться так же просто, как животные, и при этом сохранить здоровье и силу. Чего еще желать разумному человеку в мирное время и в будние дни, кроме хорошей порции кукурузы, сваренной с солью?.. А люди дошли до того, что умирают не от недостатка необходимого, а от потребности в излишествах: я знаю женщину, которая убеждена, что сын ее скончался от того, что стал пить одну воду.

Я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-либо следовал моему примеру; во-первых, пока он этому научится, я, может быть, подыщу себе что-нибудь другое, а во-вторых, мне хотелось бы, чтобы на свете было как можно больше различных людей и чтобы каждый старался найти свой собственный путь и идти по нему, а не по пути отца, матери или соседа».

Прежде цензор был главлит, ныне цензор - сам пиит, маломальский скромный дар подправляет гонорар, «ум разумный» - самый умный - не стремится с глаз долой, чтобы быть самим собой, пишет он для гонорара, с жаром пишет, ведь недаром исполнять всегда готов указания верхов, потому он - ум неумный - договор скрепляет сумный с безголовою толпой, то есть прямо с Сатаной: так живёт «ума палата» от зарплаты до зарплаты, коротая век с сумой, чтоб не стать самим собой.

Наиболее объективный взгляд на мир осуществляется из-под стола. Летящий на воздушном шаре из овечьих шкур Николай Глазков в «Рублёве» у Андрея Тарковского выразил это с предельной ясностью: «Я на мир взираю из-под столика, Век двадцатый - век необычайный. Чем столетье интересней для историка, Тем для современника печальней!» Двадцать первый век стал много гуманнее. Тоталитарное правление теперь должностных лиц не расстреливает, а просто отстраняет от должности. А без должности они не представляют никакой опасности, превращаются в ничто, или, как говорят в народе, они «никто и звать никак».

Прошёл мужчина в чёрной шляпе, в белых перчатках, с тростью, пробежала белая с рыжим пятном на лбу кошка, рябенький голубь опустился у лужи на асфальте возле припаркованной машины, взъерошенный воробей с ветки наблюдает за голубем, кошка присела у стены, рыжая собака в ошейнике по диагонали пересекла двор, из окна за всем этим посматривает пожилая женщина со стрижкой, полностью оголяющей шею.

Всегда полагал, что носить имя великого человека, самому из себя ничего не представляя, совестно. Но уж так устроен человек, что он сразу хочет стать великим и богатым, не прилагая для этого никаких усилий. К фамилии «Давыдов» сплошь и рядом родители добавляют имя «Денис». С Александрями Пушкиными, коих сотни по стране, если не тысячи, дело обстоит совсем плачевно. А тут маршируют армии Толстых, буквально из всех щелей лезут Толстые с какими-то мнимыми родословными, забыв, что биологического родства не существует, ибо человек есть лишь серийное производство Господа. Не говорю уж о простых смертных, у каждого из которых сотни тысяч тиражи.

Душа настолько непонятна, что можно думать обо всём. Самое ясное смысловое свойство слова «душа» - доброта. Душевный человек, значит, добрый человек. Злому человеку отказывают даже в наличии у него души. Нет у него души. Бездушный человек. Иными словами, душа пролетает мимо интеллекта, мозга, ума, и частенько противопоставляется им. Слишком умён, а души нет. Вот тут и совершается ошибка, поскольку речь ведут о чувствах. Но чувств без мозга не существует. Мозг, операционная система тела, управляет всеми чувствами, которые являются как бы щупальцами, датчиками мозга. Вот в таком заблудшем состоянии и блуждает душа, пока не гаснет вместе с телом.

Полноте, всё ли вы воспринимаете в полном объёме?! Объём ведь надо понимать. Объём же не безразмерен. Он имеет свои пределы. В стограммовую рюмку не нальёшь стакан! Полнота восприятия прекрасного напрямую зависит от вмести-

сти вашей души. Душа ведь сосуд, который имеет форму грудной клетки. Да что вы! Разве можно душу приравнять к сосуду грудной клетки? Я и не приравниваю, но вижу, как вы начинаете стучать себя в грудь, приговаривая: «Душа болит!»

Поворот фигуры в вечность, поворот фигуры в явь. Здесь и там друг без друга не могут. Конец времён не имеет конца, потому что плавно и незаметно переходит в начало всего и вся.

Гамлет ходит с черепами вождей, фараонов и бомжей, поражается идентичности черепов, словно они изготовлены под копирку на фабрике гипсовых изделий. Что в черепе твоём, Гамлет? Мой череп или нет? Мне не ответить, когда смотрю в глазницы пустоты. Невероятно снова быть на свете, невыносимо знать, что ты не ты. Так почему же Гамлета сей череп, или ходил в нём прежде бедный Йорик? И в самом деле, что живёшь ты, веришь, или другой живёт тебе на горе?!

Ну, вот, наконец-то, и наступила среда. Можно вздохнуть спокойно. А то ждал эту среду, ждал, никак дожждаться не мог. Прошлой среды разве не было? Не знаю. Быть может, и была, но совершенно незаметно проскочила. И была ли когда-нибудь среда? И вообще, в какой среде я живу?! Из книги, пока листал, выпала записка: «В среду буду поздно, потому что иду в театр». Ни числа, ни года, ни месяца. Просто какая-то среда. И вообще, растолкуйте мне, что такое среда? Нигде не написано, куда ни посмотрю, ни на небе, ни на реке. Одним словом, среда.

Мнений столько тебе выскажут по поводу твоего мнения в коллективе, что впадёшь в глубочайшее сомнение о собственном мнении, сличая его со мнениями, высказанными коллегами и просто случайными людьми, коих вокруг тебя столько, что падёшь ниц от собственной ничтожности и малозначимости, что и происходит всюду и повсеместно с теми, кто эти мнения выслушивает и старается подладиться под них. Чтобы не было сомнений, необходимо отстраниться с юных дней от людей, переселиться в мир умных книг и письменно вырабатывать своё единственное и неповторимое мнение о мире и человеке. Для этого и придумано писательство.

Генри Торо: «Мой опыт, во всяком случае, научил меня следующему: если человек смело шагает к своей мечте и пытается жить так, как она ему подсказывает, его ожидает успех, какому не дано будничному существованию. Кое-что он оставит позади, перешагнет какие-то невидимые границы; вокруг него и внутри него установятся новые, всеобщие и более свободные законы или старые будут истолкованы в его пользу в более широком смысле, и он обретет свободу, подобающую высшему существу».

К людям! Со всеми! С народом! Плотнее сомкнемся вокруг Центрального комитета! Пропаганда (телевизор) скрепляет людей настолько, что они друг без друга жить не могут. Я не имею в виду близких родственников, от которых никогда не отделаешься. Я говорю о людях вообще, которые боятся остаться в одиночестве, причём, добровольном и на всю жизнь. Это одиночество они будут расценивать как тюрьму. Нет, такого одиночества им не надо, скорее - в стройные колонны, с флагами на площадь, с песнями и плясками, да и, вообще, всегда быть среди людей. Только писатель выбирает одиночество. Всё человечество толпится в его произведениях. И он с ними.

1961-й год. Декабрь. Холодное море. Чёрный Кара-Даг. Мария Степановна Волошина была одна. Появление заросшего шетиной, мокрого и грязного детины Купченко её не смутило: он был усажен пить чай, её расспросы были метки и неожиданны. Разговор перешел на Волошина, Купченко слушал, разинув рот. Затем ему была выдана десятка - и он отправился устраиваться в автопансионат. Неделю Купченко сидел в мастерской Волошина, переписывая стихи: ходил на его могилу на горе; скромно встретил Новый год - а затем Купченко пришла в голову "мысль"...

Дело в том, что как раз в то время от Марии Степановны ушел человек, который должен был помогать ей (74-летней) в быту. Купченко же, с первого взгляда ошеломленный библиотекой поэта, только и думал о том, как бы окунуться в эти со-

кровища. И в один вечер его осенило: ведь это отличный шанс остаться в Доме! Незадолго перед этим мать предложила ежемесячно высылать ему по 20 рублей: Купченко, пожалуй, мог бы на это просуществовать. И, помогая Марье Степановне по хозяйству, изучать книжные богатства Дома поэта...

Словесность славится весной. В ней распускаются глаголы. А существительные в ряд выходят стройно на парад. Весенний Гоголь: «На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах». Весенний Достоевский: «А вот теперь весна, так и мысли всё такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные; всё в розовом цвете». Весенняя Прошина: «Женственные лиственницы по весне одеваются очень светлыми иглолочками, которые при прикосновении кажутся мягкими, как пёрышки желторотого птенчика». Весенний Таратута: «В Москве весна. Запахло талым снегом. Иду по улице без шапки. Мне тепло. Иду и чувствую себя Лесным побегом, Расправившим зеленое крыло».

Оставив позади недовольство от соприкосновения с толпами в метро, ставлю на проигрыватель диск Густава Малера, поднимающего меня над поверхностью жизни к ангельским высотам. "Песни странствующего подмастерья" переносят меня в Коктебель в дом Волошина, где Володя Купченко читает своим глуховатым голосом стихотворение Макса "Подмастерье":

Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли;
И от воли - для отрешенности сознания.
Когда же и сознание внутри себя ты сможешь погасить -
Тогда
Из глубины молчания родится
Слово...

Мощный фундамент под все творчество Максимилиана Александровича Волошина подвел мой друг, как говорится, закадычный, поскольку выпито нами было несметное количество разного вина, Владимир Петрович Купченко, пришедший пешком в Коктебель после Свердловского журфака, чтобы на всю жизнь себя посвятить этому выдающемуся поэту. Он и внешне косил под Макса, носил бороду и ходил всегда босиком. Володя положил свою жизнь за другого. Как я ему ни тесал кол на голове, к творчеству он был равнодушен. Из-под палки, моей палки, написал пару повестей, которые спустя десятилетия я напечатал в своем журнале «Наша улица». По натуре Володя был человеком одержимым, фанатичным, жертвовавшим всем для осуществления поставленной цели - собрать все произведения Волошина и дать им научное описание, а также составить подробное жизнеописание. В сущности, Владимир Купченко в одиночку всю эту работу осуществил. Конечно, я чем мог помогал ему. Разумеется, он всегда устраивал меня с женой и сыном в Доме Волошина, а сам постоянно останавливался у меня в Москве.

Генри Торо: «Увидеть самого себя столь же трудно, как оглянуться, не повернув головы».

Дж. Д. Сэлинджер (выдержка из письма Полу Фицджеральду, 27 июля 1990 года): «На меня сильнейшее впечатление произвела легкость, с которой ты вспоминаешь имена всех людей, служивших в отделении контрразведки, имена погибших и всех, с кем мы вместе служили... Очень рад тому, что ты здоров и счастлив, Пол. Продолжай в том же духе. Да, порой приходится прилагать к этому усилия, но ты с этим в любом случае справишься».

Под пристальными взглядами иностранных туристов, посетивших Лавру, мы выпили по очередному бокалу водки.

Александр Владимирович Мень положил ложечку зернистой икры на язык, полакомился и сказал:

- Человек в своих религиозных исканиях бесконечно больше осуществляет свою высшую природу, чем когда он воюет,

пашет, сеет, строит. И термиты строят, и обезьяны воюют, - по-своему, правда, не так ожесточенно, как люди. И муравьи сеют, есть у них такие виды. Но никто из живых существ, кроме человека, никогда не задумывался над смыслом бытия, никогда не поднимался выше природных физических потребностей.

Слово есть Бог. Почему Бог? Слово есть слово, и этих слов тысячи в русской языке и миллионы во всех языках мира вместе взятых. Но только теперь я въехал в то, что было первое слово, как первое семя, от которого пошли все слова и все языки мира. И навел меня на эти мысли Николай Гумилев своим суггестивным "Словом":

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали Словом,
Словом разрушали города...

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово - это Бог...

Имя Гумилева шире, чем имя поэта, это - целая вселенная. Как старый самиздатчик, могу сказать, что стихи Гумилева у меня были почти все собственноручно перепечатанные на машинке в шестнадцать лет. До сих пор этот том переплетенных машинописных страниц стоит у меня на полке. В советский период Гумилева не издавали. "День Писателя" мною преподнесен в форме притчи, причем сам я там и главный герой и третье лицо: "Юрий Кувалдин, исполненный литературы, тоже захотел начать историю с себя, и когда он возвратился от Иордана, то поведен был в пустыню". Язык - это шифр, говорил Александр Владимирович Мень, с которым я познакомился в Коктебеле в Доме Волошина у Владимира Купченко. Трехтомный "Библиографический словарь" Александра Меня, изданный недавно, открывает многие великие и страшные тайны языка,

который управляет людьми, водит их по миру, ссорит и мирит, убивает и воскрешает...

В конце июля 1972 года я познакомился на пляже писателей, прямо перед Домом Волошина с Александром Менем, чернобородым блестящим пловцом, атлетом и эрудитом с огромными черными маслянистыми глазами. В одном из разговоров он сказал, что даже высокие чины церкви не знают Бога, не знают его истинного, замаскированного имени, не знают происхождения языка. Язык - это шифр, говорил Александр Владимирович. Путь к расшифровке языка Мень показал в грандиозном трехтомном «Библиологическом словаре».

Текст создан для индивидуального погружения сочувствующей души. Искусство занимается недозволенным. Коротко говоря, я сам занимаюсь тем, о чем не говорят вслух. Моя "Родина", мои "Юбки" - это то, что есть Бог, чем он занимается и где его искать. Бог, который, как гвоздь, вколочен в каждую букву, в каждое слово, не говоря уж о фразах и языках. Языки - это видимость, это всего лишь несогласованные ветви одного имени Бога, которое страшно и величаво, как колокольня Ивана Великого, которая всегда стоит и будет стоять. Я вспомнил в связи с этим тот момент, что в обрисовке людей "петербургских углов", в портретировании целой галереи мелких типов Федор Достоевский опирался на пушкинского "Станционного смотрителя", как художник Александр Трифонов опирается на творчество Казимира Малевича, а писатель Юрий Кувалдин опирается на творчество первых жрецов фараона, знаками отделивших животный мир от божественного, метафизического. Тема "маленького человека" и его трагедии нашла у Достоевского новые повороты. Войдя в кружок Белинского, где познакомился с Иваном Тургеневым, Достоевский "страстно принял все учение" критика, включая его социалистические идеи. Как-то на вечере за чаем с ромом у Белинского он читал главы повести "Двойник" (1846), в которой впервые пошел по стезе шизофрении, которая у меня в "Родине" доминантная, дал страшный анализ расколотого сознания, предвещающий

шифр

его великие романы. Повесть, сначала заинтересовавшая Белинского, потом его разочаровала, и вскоре наступило охлаждение в отношениях Достоевского с критиком, как и со всем его окружением, включая Некрасова и Тургенева, высмеивавших болезненную мнительность Достоевского. Они не доросли до того, до чего дорос Федор Достоевский и перерос писатель Юрий Кувалдин. Я представляю себе вечер моего чтения вслух собравшимся моего романа "Родина". Буду читать без отдыха 24 часа! Я написал "представляю", но я этого представить не могу. Толстого отrekli, а меня бы четвертовали.

ҮНҮН - шифр дан!

"Наша улица" №211 (6) июнь 2017

ИМЯ

Хороший писатель начинает новое произведение с очень простых слов.

Вот чистый лист перед ним.

И он сверху на этом ждущем слов листе пишет своё имя.

Всё!

Произведение началось.

Ещё нет ни названия, ни первых, третьих, сорок восьмых строк, но всё уже есть.

Имя!

О, это магическое слово «имя»! Как его заиметь, чтобы читатели летели, как мотыльки на свет лампы, к его книге? Ответ прост и ясен: писать всю жизнь, от входа до ухода, отсекая все другие дела, даже хлопоты о пище, ибо вода в кране всегда есть, а на хлеб насущный можно заработать ночным сторожем, к примеру.

Известно, что писатель полжизни работает на имя, а другую половину имя работает на него, переходя в вечность.

Самые яркие впечатления, как правило, беспорядочны.

Как бы ты ни планировал прогулку или путешествие, ты не в состоянии запланировать впечатления. Беспорядок, значит, неожиданность. А увиденное экспромтом вызывает более острую реакцию. Особенно чётко это проявляется в художественном произведении, написанном беспорядочно, то есть по первому впечатлению.

На самом деле, конечно, кое-какой план у автора был, но в момент создания произведения с этим правильным планом стало происходить что-то непредвиденное, поскольку стучало сердце, горели глаза и в мозгу возникали типы, никак не подготовленные для выхода на сцену.

Приятен день с дождём и снегом, и чтобы ветер посильней, не видно зги и нет соседей, один как перст среди огней неугасающей столицы, в которой испарились лица, и даже нет от них

теней; люблю один бродить в ненастье, нет ни машин, ни часов, какая эта бездна счастья - быть одному живею живых!

Когда сфокусируешь внимание на одном каком-нибудь печальном событии, то начинаешь чувствовать себя зависимым от этого состояния, как будто всё другое в твоей жизни несколько померкло, и ты, понимая это неудобство, пытаешься переключить внимание на что-нибудь другое, но не получается, словно ты оказался во власти навязчивой идеи, которая вольно или невольно погружает тебя в сильное переживание, переходящее в страдание, и вот здесь нужно обладать завидным терпением, чтобы пережить случившееся, зная, что спустя определённое время ты вернешься в обычный ритм жизни.

Чёрное небо нависало над городом, оставляя на горизонте белую полоску, которая слепила глаза, подчёркивая чёрные силуэты крыш бесчисленных разноформатных домов.

Я шел через узкую небесную щель и видел в зеркале реки караван из трех нагруженных песком барж, которые вёл всего один маленький речной буксир с надписью на белой рубке "Сильный".

Чтобы понять, как думают другие люди, я начал с детства читать.

Чтобы не смотреть на мир исключительно из себя, я стал рассматривать холсты в Третьяковке.

Чтобы наладить свой слух на музыкальность, я приучил себя слушать классическую музыку.

Я догадался, что все люди устроены точно так же, как и я.

Для того же, чтобы кто-то другой понял мои мысли, увидел мои картины в слове, услышал мою музыкальную прозу, я должен всего себя прописать на внешних носителях: от бумаги до неба.

Тебя всю жизнь куда-то вовлекают.

Только начал ходить и произносить первые слова, как настойчиво влекут играть.

Игра такое увлекательное отстранение от самого себя, ты весь в игре, в азарте.

С течением времени сами игры и их содержание стремительно возрастают.

Особенно занятая игра возникает под руководством телевизора: «Все на выборы!», «Все на субботник» и прочие «Все...». В этих играх эпоха проскакивает со стремительностью вдоха.

И во времена Гоголя столь же увлекательно играли в «патриотизм» и в «Веру в царя и отечество». Все исчезли, лишь Гоголь продолжает тянуть ляжку жизни с «Мёртвыми душами».

Отчего один человек хочет знать, где был другой?

Оттого, что желает контролировать другого.

Просто и ясно.

Вот он сдал пивные банки, коих утоптал старыми кроссовками, насобирав их от Курского вокзала до Текстильщиков, пешком с огромным пластиковым пакетом с надписью красными буквами «Ашан», получил свою выручку, взял бутылку, а другой уже лежит пьяный у шалаша между линиями железной дороги.

Вот пришедший и вопрошает у мертвецки пьяного: «Где ты был?!» Утром-то разбежались в разные стороны.

Когда человеку нечего сказать, вот тут и наступает момент, когда надо безостановочно говорить, потому что слова сами по себе представляют притягательную силу для слуха посторонних, которые тоже попадаются чуткими к живому слову и тоже вдохновенно начинают говорить, что напоминает легко схватываемый при зажигании мотор, который заводится с пол-оборота, и начинает издавать приятный во всех отношениях звук, точно такой же, как из уст говорящих людей, которым нечего сказать, но они без устали говорят.

Невидимые силы вращают Землю и светила.

И сам летишь, не падая, лишь слыша бой часов сердечной мышцы. Печь на ногах, не слишком горячая, и нельзя сказать, что холодная, так просто 3б и 6. Вполне нормально для сочинения стихов. Но в них нормальная температура убийственна.

В стихах обязан полахать солнечный реактор, разогревая мысль и чувства до скорости движения планет вокруг звезды.

Так стань, поэт, самой звездой!

Таков закон стихосложения.

Холодным апрелем около заброшенной усадьбы осьмнадцатого века, выходящей барским колонным домиком в переулок, танковым металлом зимней шипованной резины простучал чёрный внедорожник, тормознул у красного шлагбаума и, когда тот поднялся, влетел в древний двор.

Тут всё время скрипели петли дверей то в подвальный «для своих» без вывески ресторанчик, в котором распорядился приехавший на джипе, то в безоконную сауну, путь в которую знали только дельцы высоких кругов, чьи иномарки цельный вечер и ночь шмыгали туда-сюда, а при шлагбауме стоял постовой с автоматом «калашникова», неустанно отсекая чужих от своих.

В обоих помещениях можно было услышать актуальное:

- Да-а! Схема будь здоров - мимо кассы три миллиарда зелёных! Тут никакая водка не возьмёт!

- Надо бы поторопить с наездом на Хромого. А то слишком в Думе затягивают поправку к нашему закону.

- Не торопи кобылу, сама довезёт...

- Понял...

Если человек закабалён воспоминаниями о первом счастливом городе жительства, то это чувство вряд ли чем можно из него выбить.

Тем более, что человек этот сменил не только город, но и государство.

А луч интеллекта направлен только на ту улицу (которая переименована теперь), на тот дом (которого уже нет), на тот двор (участь та же), на ту лестницу (... та же), на ту дверь (...), на тот длинный коридор (...), в котором в конце была комната (...), куда его привезла одинокая мать из роддома, и где он делал первые шаги.

Магнетизм обстоятельств детства так могуч, что только великие умы могут выбраться из-под его развалин.

Предисловие к комментариям об абстрактных мыслях в искушении перед знакомством с библиографическими выклад-

ками, следующими за аннотациями к избранным мифам, открывающим перспективу эстетической бесконечности, всю полноту которой передаёт исключительно репрезентативно прилагающийся к основному корпусу указатель имён, позволяющий шире и глубже вникнуть в намеченные в предисловии библиографические выкладки, снабжённые детальными сносками на тех авторов, которые в силу очерченной тематики не смогли войти в круг рассмотрения.

Без денег шёл по Денежному переулку и был богат весенним светом безлистной ясности пути с надёжными сухими тротуарами, с прилаженными накрепко веками друг к другу чудосветлыми домами.

Сухая чёткая весна!

«Она, как балерина в пачке, в ней все - движение и жест...» Когда-то Денежный переулок именовался «улицей Веснина». Вернулись деньги в наши времена. Иду по Денежному переулку до конца.

Там, знаю, денежки кончаются, где в Лёвшинском Большом стихами забавляется любитель детских фильмов, их даже сценарист, мультфильмов управитель, отменнейший пиитель!

Отношение к горизонтали внимательное и вдумчивое, потому что сколько всего увидишь по горизонтали, где крыши домов соприкасаются с красками заката, невольно заставляющим вскидывать глаза выше крыш, устремлять взор по вертикали, ибо без вертикали отпадает надобность в горизонтали, и вот что примечательно, и с этим знаком каждый человек, в горизонтальном состоянии мы живём в жизни, а в вертикальном - в тексте.

Поэт дрожит, читая монолог о вечности по истине добротной, забилаась память в дальний уголок как раз напротив чёрной подворотни, холодный воздух охлаждает слух, не слышно птиц, немеет снег в канавах, река молчит, гранит бессильно глух, согласно букве мрачного устава.

Прекрасно заниматься лишним, которое вообще никогда не пригодится подавляющему большинству населения, стремяще-

муся к природной простоте, исходя из которой это большинство добивается невероятных результатов в благополучии, никогда не прибегая к лишнему в виде, например, чтения Иммануила Канта или просиживания вечеров в консерватории на концертах из произведений Густава Малера или Альфреда Шнитке, ибо это лишнее является уделом лишних людей (помянем школьную программу по литературе), вышагнувших из социума с его проблемами большинства.

Библиотекарша была любезна со мной, как мы всегда стараемся быть любезными с теми, кого как бы для нас не существует.

Посмотрите, как приятны и любезны люди в фойе театра. Что вы! Будьте любезны, проходите. И на вернисажах.

Все такие милашки.

Конечно, хочется быть любезным всегда.

Зачем кому-то что-то высказывать? Нравится он тебе или нет. Улыбнулся, сказал «спасибо» и прошёл себе дальше по своим делам.

И как странно видеть часто кричащих что-то друг другу в лицо.

Настоящее никогда не останавливается, каждую минуту превращаясь в минувшее и, как правило, исчезает навсегда, как будто его и не было.

При этом возникает ощущение ненастоящести происходящего. Смотришь на жизнь, как смотришь кино, которое сейчас кончится.

Всё время давит это жуткое ожидание конца.

Как бы фильм ни длился, каким бы он хорошим ни был, он обязательно кончится. Всё есть минувшее, кроме настоящего, в котором ты вечно пребываешь, не зная об этом. Следовательно, ты совершаешься в настоящем, которому минувшее не страшно, потому что совершенство Слова незыблемо, и всегда пребывает в настоящем.

Посадили новые березки вдоль асфальтированной дорожки к метро. Каждый день прохожу мимо них, притормаживаю.

Некоторые деревца, тонкоствольные, высокие, стройные уже робко выпустили листочки поверх серёжек. Другие березки стоят без движений. Голые тонкие прутики ветвей, почти безжизненные.

Стал более внимательно присматриваться к этим веточкам.

И разглядел почти незаметные намёки на появление серёжек, присущим только березкам.

Трудно приживаться к новому месту, точно так же как тяжело после переезда из центра на окраину начинать в новом доме жить человеку.

Зачем писать, когда не пишется?

Под настроенье что-нибудь напишу.

Ну-ну.

Пиши, мой друг, пиши.

Тоци карандаши, на стекла подыши.

Потом пошло всё много проще.

Чего не пишешь, друг сердечный?

А зачем писать, когда денег не платят!

Ответ явлен начистоту.

Писал, пока платили. Не платят, не пишет. Хорошо, что ещё бесплатно дышит и кашу манную жуёт. Такой вот вдохновенный поворот.

А я живу совсем наоборот, не выходя из текста в мир продажи.

Текст классика неизменен, как текст Библии.

Все слова на месте.

Но как искрят мнения разных людей при соприкосновении с каноническими произведениями! Кажется, что сам текст не на шутку изменяется в переменчивом и подвижном человеческом восприятии.

Текст статичен (хотя в нём всё в динамике мыслей и чувств), а люди подвижны и переменчивы в своих взглядах, опыте, интеллекте.

Классик в этом случае выглядит небом, а люди - рыбками в пруду.

Новый день наступает только потому, что мы его видим, едва открыв глаза, которые передают картинку в мозг, умеющий размышлять и что-то помнить, но он не может в деталях воссоздать день накануне твоего явления в мир, ибо тебя ещё нет, а день уже есть, вот именно поэтому возникает сомнение по поводу наступления нового дня с твоими открытыми глазами, но ты тут же прозреваешь, открывая книгу, в которой уже записаны в образах и красках твои переживания, стало быть, кто-то уже был тобою, и исходя из этого ты делишь мир всего лишь на две части: на краткую жизнь твоего серийного, самовоспроизводящегося тела и на книгу вечности.

Автор сам для себя есть инструмент измерения построенного текста, и не простого текста, а такого, который сам по себе объективируется и полноценно, даже полнокровно живёт, не умирая, без тела этого автора, которого при этих условиях мы можем назвать гением, ибо ни что хорошее не пропадает, а является достоянием для загрузки следующих, да и любых равноценных и равнозначных тел, осуществляющих ту же самую работу по выносу за пределы тела своего текста, именуемого душой.

Подойди ко мне, скажи, что хочешь со мной познакомиться и погулять по старым переулкам, да и мне нравится эта женщина, и мне хочется подойти к ней, потому что я чувствую, что она желает со мной погулять, но ни она, ни я не подходим друг к другу, потому что опасаемся быть не так понятыми, и даже больше того, показаться бестактными, навязчивыми, что сильно расстроит нервную систему, поэтому желание погулять его с нею, а её с ним, быстро подавляется разумными соображениями о ненужности этого шага, дабы не перегружать себя проблемами новой связи.

Стихотворение можно уподобить орнаменту.

Действительно, как и в орнаменте, повторяются и чередуются в нём стопы и рифмы.

Только заливаются эти орнаментальные формы растворами из разных букв, вызывающих индивидуальные качества.

Точно так же орнаментально тело человека и, как ни крути, все тела созданы по одной колодке. Тела отличаются только заливкой ума и сердца, этим обретая индивидуальность.

Ты устроен так, что постоянно тебя влечёт к ней.

Что делать, как справиться с навязчивой идеей?!

И другой так устроен, и третий, и миллионный.

И вчерашний.

И будущий.

Причём все и каждый явились на свет благодаря неостановимому влечению. К постоянно новому приключению! Как излечиться от влечения? Назначьте рецепт лечения. Лечись от увлечений наукой отвлечений.

Главенствует всемирное влечение, всё остальное в жизни есть только отвлечение.

Не молчите, говорите что-нибудь, не имеет никакого значения, что вы говорите, потому что там, где говорят складно, то есть логично, там наступает невероятная скука, потому что логика является смертельным врагом не только жизни, но и искусства, поэтому молчание уподобляется логике, когда все умны и все правы, и молчащий за умного сходит, а пространство искусства предназначено для очарованных словом, как таковым, без всяких смысловых и логических нагрузок, поэтому говорите письменно.

Холодный воздух с ярким солнцем на пару вполне искусно создают иллюзию весны, поскольку наивная зелень по расписанию календаря пробудилась и вонзила острые бесчисленные пики в силуэт неба, а так была бы зимняя пора, какая неустанно длится, никогда не оканчиваясь, на Северном полюсе, к которому прилепилась болотной низиной без всяких гор Москва, так что, когда дунет оттуда промерзлый арктический холод, то беспрепятственно бьет лютой стужей в стены Кремля, вот поэтому Москва более пригодна для вахтового метода жизни, как в начале времён и была у татар в этом улусе Москов (что значит - Мечеть), как периферия теплых стран цивилизованного мира.

Когда воде даёшь препятствия, образуются водоёмы.

Был ручейком, а стал собранием сочинений.

Книга на пути ручейка становится очень хорошим препятствием для наполнения пустого сосуда мозга живительной влагой слов.

Тут же на чистое зеркало неба выплескиваются чайки и рыбы, кошки и дети, троллейбусы и свадьбы, дни рождения и метро. В водовороте писательства препятствия бесценны. Построй свои плотины.

Сквозь умственные плотины пробивается вечность.

И вот что получается, что получаешь желаемое всегда не вовремя и с обязательной недостачей, недовесом, недочувством, поскольку при каждом ожидании получения чего бы то ни было обострённо участвует чувство, которое почему-то именуют справедливостью, то есть с той степенью понимания тобою правды, которую, хоть убей, не понимают другие, ссылаясь на то обстоятельство, что они эту самую правду понимают как-то по-своему, и ваши правды никогда не совпадают в получении удовлетворения.

И теперь еще, оставшись в темной комнате или увидя покойника, он трепещет от зловещей, в детстве зароненной в душу тоски; смеясь над страхами своими поутру, он опять бледнеет вечером.

Только зайди ты ко мне завтра наверно поутру; наверно. Он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает поутру, куда поедет ввечеру. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки... Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина...

Я встал поутру довольно поздно.

Ну, похвали ж того и этого, не подавляй своей доктриной, в кромешной тьме, в дыму, при свете ли держись разумной середины, не объясняй живому прянику, что слаще камня нет цветочка, тела, охваченные паникой, стучат по крышке молоточком, до точки вдавлен в землю мёрзлую звенящий стержень от

забора, тела, придавленные розами, в прах перетрутся в разговорах, так похвали ж того и этого, поставь им памятник при жизни, хвали и толпами воспетого, да и того, что был не признан.

Правдоискатель Петухов, взъерошенный и шустрый, нашёл такой компромат на разжиревшего на бюджетных харчах Уткина, что стал вопить об этом на каждом углу, пока не наткнулся на высоченного в своей худобе философа Жирафова, молчаливо покуривающего на углу Скотопрогонной улицы.

После изложения компромата Петуховым, Жирафов столь же молчаливо прикусил его зубами за воротник, раскрутил своей длинной и мощной шеей и подбросил на облако, с которого Петухов не только не увидел компромата на Уткина, но вообще не разглядел никаких проблем.

Стремление к чему-то в написании нового произведения: к совершенству, к желанию удивить мир, к хорошему заработку на литературе, к сохранению в веках, - ни к чему хорошему не приводит, поскольку это стремление превращается в оковы, в кандалы, в тюремную клетку угодничества, в нещадного цензора наряду с цензором натуральным, в цензуру денег, цензуру редактуры.

С легким чувством доверия к собственному вдохновению, или, иначе, в полном растворении в диктуемом, как говорится, тексту свыше, и получается что-то хорошее.

Разрастание видимого происходит от незаметного опьянения невидимым, которое скрывается за каждой реальной сущностью, на самом деле не существующей, о чём внезапно узнаёшь совершенно случайно, вытянув из памяти ниточку, связывающую тебя с тобою же, ушедшим лет на тридцать от того момента, когда рядом с тобой был тот самый человек, о котором ты только что в опьянении словами вспомнил, но тут же, набрав его имя в поисковой строке, узнал, что он уже два года назад умер, и от этого известия пьянеешь ещё сильнее.

Зрение обладает ни с чем не сравнимым свойством созревания.

Зрение зорко зреет до слова.

Зришь до проявления графики букв.

Буквы незаметно превращаются в зёрна замысла, который заворожённо обозреваешь.

Замысел зреет до созревания и буквы прекращаются в рассказ.

Рассказ сказан в созревшем виде.

И ты зрелой яблоней удаляешься от созревших плодов, забывая о них, чтобы на сладком морозе предельно сосредоточиться до нового зарождения через цветение плодов своих.

Когда на кухне прекратилось периодически возникающее гудение холодильника, то показалось, что наступила абсолютная тишина, которая, в сущности, длилась не больше минут трёх, а сначала выглядела очень долгой, но была нарушена криком ребенка на этаже выше, там он недавно родился, потом, когда ребенок затих, из приоткрытой форточки донесся шум подъехавшей во двор машины, потом стук её двери, а следом, как положено, громкие голоса, женские и мужские, неразборчивые, только звучание голосов, потом всё смолкает, но в самой пронзительной тишине ночи появляется свист в ушах, как будто я - самолёт, идущий на посадку.

За тюрьмой дежурят высокие деревья, перед тюрьмой медленно течёт, не изменяясь в гранитных берегах, узкая река, течёт так незаметно, что кажется, будто она стоит на одном месте, как эта тюрьма с высокой плоской крышей, под которой видна просмотровая площадка с прохаживающимися часовыми, а за тюрьмой живут дома с людьми, или люди в домах, и в тюрьме живут люди, потому что тюрьма есть такой же дом, из которого, правда, нельзя по собственному желанию выйти на улицу и прогуляться по узкому тротуару набережной, лишь в воображении можно себя представить матросом в этой тишине.

До свидания, двойники!

Жизни вы отныне не требуетесь.

Как не требуюсь я сам.

Жизнь, нарекая биологическое существо с операционной системой самого совершенного компьютера, желает похоронить смерть, продлив до бесконечности существование одного только индивида!

Ужас охватывает двойников, но очень быстро всё встанет на свои места.

Любовь, зачатие, рождение и прочая - всё отменяется, ибо один будет жить вечно и бессмертно.

Всё в нашей жизни допускает всевозможные варианты, и поскольку мы не задумываемся над этим, то варианты превращаются в случайности, становясь феноменом, составляющим судьбу.

Можно было пойти туда, а можно сюда.

Можно было пролежать всю жизнь на диване, а можно написать книгу.

Постой на углу переулка и хорошенько подумай, прежде чем свернуть в какой-нибудь из них.

В каждой точке твоей жизни были углы, по широте выбора соревновавшиеся с бесконечностью.

В хорошей книге с восторгом утопаешь не из-за сюжета, а потому что на стыках разнородных слов вспыхивают неизведанные смыслы, ибо читаешь ради этих слов, сплетающихся, переплетающихся, овладевающих тобою полностью прелестью своей архитектоники, построением в музыкальные фразы, подерживаемые всеми инструментами симфонического оркестра филологической консерватории под управлением автора, направляющего твое внимание исключительно на слова, на буквы, на знаки, на ноты, которые и являются сутью божественного откровения.

В едва очнувшись от холодов пруду идёт непрерывное бурление, клокотание, воркование с органными переливами, громкое, как под сводами готического собора, пение лягушачьего хора, с раскатистым переливающимися через край слуха звуком «Р», да и ещё бог весть с какими тоническими модуляциями, при восприятии которых кажется, что сама земля бур-

лит и гремит в своей глубине, готовая вот-вот разразиться выплеском огнедышащей лавы вулкана.

Иногда сам себе кажусь электростанцией, когда искрит в глазах, а между большим и указательным пальцами проскакивает вольтова дуга.

Конечно, соглашаюсь я, человек наполнен электричеством, сам вырабатывает электричество, иначе с чего бы вдруг светился в цветном изображении экран жизни, транслируемый в мозг объективами глаз!

Всё искрит вокруг, особенно ночью.

Вчера не горел свет в подъезде, и я стоял на расстоянии вытянутой руки у своей стальной двери (ныне все в стальных дверях) и лазерный луч от моего лба чётко высвечивал замочную скважину, дабы я точно попал в неё ключом.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ

Жарко, но Зуев, тощий и маленький, был в зимней из черного потёртого каракуля шапке и в коричневом полупальто из плащёвки.

Меня не столкнёшь с той мысли, что все люди рождаются одинаковыми. Кроме физиологических отклонений. Как одинаковыми сходят компьютеры с ленты конвейера сборочного цеха. Кроме бракованных. Операционная система - жесткие диски - свободна. Можно загружать её всевозможными программами. Родился ребёнок в Москве, где действует русская версия метафизической программы, а родители тут же с младенцем переехали в Нью-Йорк. Кто он, ребёнок, русский или американец? Национальность, имя, язык и всё на свете, осуществляемое Словом, является приобретаемым, а не врождённым, и делает из животного человека. И тут начинается различие, неравенство. Менее способные и неразвитые занимают быстро свою ячейку на лестнице штатного расписания государства. Поэтому так ненавидят они свободных и творческих людей. Это разнонаправленные силы. Функционеры исчезают вместе со своим временем. Творческие люди живут жизнь вечную.

Ещё за километр можно было разглядеть его клюв, ястребиный, орлиный, тонкий, хищный, клюнет, свалит наповал. Зуев сновал по рынку, то и дело мешая всем и каждому, что доставляло Зуеву неизгладимое, греющее поджелудочную железу удовольствие. Очарованный собственным хищным величием Зуев прилип носом к стеклу очередной палатки.

Для убийства времени необходимо время. Именно так. Ведь сразу время не убьёшь! Захотелось купаться, так надо ехать час до пляжа, а уж сходить на танцы, вообще, весь вечер будет убит, но это для молодежи, а тут в преклонном возрасте убийство времени много проще, лучше всего казнь времени осуществляется на скамейке у подъезда, когда вышел за хлебом, присел, а тут соседка с третьего этажа подошла с малень-

кой такой востроносой собачкой, просто прелесть, пришлось незаметно просидеть за обсуждением видоизменения собак с больших до карликовых три часа, после чего поход за хлебом был отменён, так как звал диван перед телевизором.

Надо сказать, рынок был спланирован, как когда-то спланировали на Красной площади ГУМ. И там и тут, на рынке, было три длинных линии, справа и слева каждой из которых шли бок о бок застеклённые палатки, такие маленькие магазинчики, некоторые из которых были попросторнее и в них пускали через дверь внутрь, другие же торговали через открытые окна-прилавки.

Зуев заскакивал в каждую дверь, стараясь как можно скорее навредить покупателям. Старушка в дырявой вязаной в прошлом веке кофте только протянула руку, чтобы пощупать персики, как Зуев выскочил из-под её руки, даже подбросил эту руку и вонзил нос в персики. Старушка отпрянула в испуге.

- Чего ты, милай?!

Зуев отклонился всем корпусом назад, кругленькие маленькие глаза его ещё больше округлились, готовый долбануть бабку в лоб. Зуев даже удивился, что люди могут быть меньше него ростом. В его отклонённой нахохленной зимней шапкой позе была явная угроза. Бабка, и впрямь, подумала, что этаким-то клювом может долбануть, вмиг ретировалась из палатки, громыхая своей тележкой.

Итак, идёт неостановимая борьба человека с животным. Оглядываюсь по сторонам. Где животное? Рядом никого нет. Пустынная набережная великой Москвы-реки. Но борьба продолжается. Животное есть я. Всё моё тело есть животное. Оно мычит, желая делать всё то, что присуще животному. А операционная система высокоразвитого существа крутит в миксере мозга слова, которые выстраиваются в любые образ и сентенции, и, главное, отдают приказы животному: будь человеком. Я человек, потому что Словом управляю животным.

Зуев сделал два шага за ней, и застыл в дверях, взглянув на небо. В пурпурной тональности, акварельно подчёркнутой

восходящим солнцем, не сразу можно было разглядеть пуховые робкие облака... Такое небо дождя не обещает. Лучше б, конечно, сразу снег пошёл, подумал Зуев, зорко рассматривая редких посетителей утреннего рынка, как бы подбирая того, кому можно помешать.

Зуев увидел толпу крепких ребят в воротах рынка. Шли уверенно, с палками в руках.

- Это чего-то не то они придумали! Решили прибить, кажется, меня?

Нелишне напомнить, что центром мира является человек. И созданный им звёздный мир содержит бесконечное количество солнц, вокруг которых вращается бесконечное количество планет, на которых живут бесконечные количества центров мира, соединенные все без исключения одной фокусирующей силой - Словом. «Космос» есть слово. Как и «Москос», где я центрирую мир. Изукрашенный мечтой, как мечеть - «Mosque».

Толпа молчала. Зуев дрожал.

Люди растекались по всем линиям и уголкам рынка.

Зуев продолжал дрожать. Он не смеет произносить ни единого слова, по всей видимости, оттого, что всё отлично понимает. Проще говоря, соучастник убийства, прикидывается жертвой.

Подрожь, помучайся!.. Твои страхи есть только намечающееся возмездие.

Однако все мучения Зуева абсолютно не уместны, если он не постарается помешать этим бандитам с палками. Но кто может гарантировать, что они узнают, что Зуев наметил их, чтобы помешать им, не дать пустить эти палки в ход?!

Конечно, они пошли в тот ряд, где несколько палаток торгуют сырами и молочными продуктами.

Более того, у них не заржавеет при надобности и продавщиц принести в жертву.

Глаза говорят, слух видит, уста слышат, все прочие вкушают графику цифры, ставшей словом для операционной системы тела, брошенного на произвол судьбы в немое пространство

природы, совершённое после удачных родов на паперти страсти.

Зуев немедленно последовал за теми, с палками и, миновав узкую щель, оказался в новой просторной палатке, которую эти, не другие же, ребята обшивали этими, именно этими, палками, оказавшимися рейками.

И чего это Зуев напугался так? Сам пугает всех, и сам же боится. Зуев, подобно зверьку, не сразу врубился в то обстоятельство, что щель, в которую он просочился, надеясь вырваться на свободу, была дверью в клетку... Мужики колотили молотками, не обращая никакого внимания на Зуева, а тот, наконец, как рыбка, догадался что толстое стекло аквариума, в которое он несколько раз ткнулся своим ястребиным носом, есть стена камеры... Зуев обезоруженно смотрел на работяг, поскольку оружие находилось в руках у них.

То, что происходит со мной, происходит со всем миром, который вдруг впадает в дикий страх оттого, что видит себя в небе на маленьком шарике, которым он пытается управлять. Отрекаясь от себя, принижая себя человек передаёт все свойства миру некой потусторонней силы, которая кроме страха внушить человеку ничего не может. Вот он, маленький, и катается среди звёзд, ожидая не только своей кончины, но и кончины всего мира, не понимая, что центр мира в нём и в зачатии нового индивида. Скажу жёстче: центр мира в зачатии, то есть в Боге. Мне с этими катающимися не по пути, поскольку я есть центр мира, я создаю миры посредством инструмента Господа - Слова.

Очередь к окошку палатки с сырами тем временем росла. Вместо молотков у мужиков оказались авоськи, полиэтиленовые пакеты и хозяйственные сумка, из которых кое у кого, уже отоварившихся, торчали рыбы хвосты или стрелки зелёного лука.

Начало дней совпало с их окончанием, но начала и концы никогда не начинаются и никогда не кончаются, поскольку образуют замкнутое, не размыкаемое никем кольцо, согнутое в

восьмерку, где понятие времени отсутствует, а пространство заключено в каждой букве любого алфавита единого языка Бога. Производство всё новых и новых тел совершается по этому знаку бесконечности, ибо тело, впитывая букву, становится Богочеловеком. Каждый отдельный человек есть абсолютная копия с оригинала, с Бога. Размножаясь бесконечно, Бог присутствует везде и всегда. Кольцо говорит о том, что всё в этом и в том мире круглое, и является всего-навсего операционной системой компьютера, пишущего метафизическую программу.

Прямо через стекло шагнул Зуев к очереди, даже удивился, что не как бестолковая рыбка принял воздух за стекло, а воздух для рыбки хуже стекла, что никакой камеры стеклянной не было, а был воздух, окрашенный плоской занавеской солнечного света с пылинками, воздух шёлковый, искрящийся, сквозь который, осмелев, и вышел Зуев прямо к очереди за сыром.

Каждый рождающийся известным образом субъект, впоследствии становящийся (или не становящийся) человеком, обладает новенькой операционной системой и чистым жестким диском, как в компьютере. Он ничего не знает, но едва открыв глаза, начинает заносить впечатления на этот девственный диск. По мере продвижения по жизни, записываются собственное имя, формы языка, через который постигается всё остальное, с возникновением понятия знания самого себя, или - самосознание. Я стал размышлять об этом, обнаружив у Данте в «Божественной комедии» следующие строки:

Коль я был телом, и тогда, - хоть это
Постичь нельзя, - объем вошел в объем,
Что должно быть, раз тело в тело вдето,
То жажда в нас должна вспылать огнем
Увидеть Сущность, где непостижимо
Природа наша слита с божеством.

Каждый рождающийся есть копия меня, тебя, его, её и их, во всех временах и пространствах (в совокупности - Бог). Но

так как диск чист, то тот неоспоримый факт, что он был мною, тобою и всеми, не осознается. В этом божественный секрет бессмертия человека (человечества), а не индивидуального тела. Тело есть лишь временное вместилище духа. Сломанный компьютер заменяется следующим, который способен овладеть всем миром через загрузку всего того, что сохранено в Знаке (Слове).

Очередь стояла параллельно стеклянной витрине, а за стеклом на многоэтажном стеллаже красовались десятки сыров разных сортов.

При разговоре о бессознательном в голове возникает туман. Как это действовать без сознания? Это, по-видимому, относится к другому человеку, поскольку в его центр управления мы проникнуть не можем, а он совершает какие-то действия без нашего знания. У него есть своё знание, о котором мы не знаем, но хотим знать. Но в конечном итоге всё самое затуманенное бессознательное выражается в словах и не как иначе. И с точки зрения вечности бессознательное есть роман «Преступление и наказание», написанный бессознательным преступником, превратившимся в сознательного Достоевского. Бессознательное - это непрочитанное, и, тем более, ненаписанное. Иными словами, бессознательное не существует.

В какой-то комнате, озирая ей, Зуев забормотал, но будто про себя: уходить тяжело и приходиться назад тяжко, да к тому же думать, как бы не захлопнулся твой дом перед носом и не пришлось бы выяснять отношения с незванными хозяевами.

Душа настолько непонятна, что можно думать обо всём. Самое ясное смысловое свойство слова «душа» - доброта. Душевный человек, значит, добрый человек. Злому человеку отказывают даже в наличии у него души. Нет у него души. Бездушный человек. Иными словами, душа пролетает мимо интеллекта, мозга, ума, и частенько противопоставляется им. Слишком умён, а души нет. Вот тут и совершается ошибка, поскольку речь ведут о чувствах. Но чувств без мозга не существует.

Мозг, операционная система тела, управляет всеми чувствами, которые являются как бы щупальцами, датчиками мозга. Вот в таком заблудшем состоянии и блуждает душа, пока не гаснет вместе с телом.

Студенты листали перед экзаменатором-профессором любые книги, а потом читали вслух, что подвернулось симпатичное глазу. Профессор брал зачётку и всем подряд вписывал «отл» и расписывался, как положено. Более действенного метода вряд ли можно было придумать, ибо прочитанное на экзамене запоминалось на всю жизнь, что и требовалось доказать.

Зуев склонился и буквально стал расталкивать очередь носом, чтобы те подумали, что Зуеву необходимо рассмотреть весь репертуар играющих сегодня сыров.

Очередь покорно расступалась, видя заинтересованного в ассортименте покупателя, правда, странноватого, в жару в шапке и в полупальто.

Заметил удивительное свойство людей, заключающееся в том, что все они ходят под напряжением. Нет, не током их бьёт, а под психическим напряжением. Даже из-за пустяка напрягаются, из-за какой-то, допустим, необходимости сходить в магазин за подсолнечным маслом, потому что не на чём жарить кабачки, дольками такими румяными. И только подумают любители кабачков о подсолнечном масле, как сразу вспоминают трамвай. Вот истоки напряжения.

Видя, что настроение у очередников не очень-то портится, Зуев решительно, на распрямляясь, вклинился самым первым к окошку, как только отошла с покупкой какая-то женщина, и стал стеной между очередью и продавщицей. Несколько секунд очередь смиренно выжидала. На прилавке стопкой стояли мягкие сыры, брынза, творожные сырки, плавленые, копчёные и прочие. Зуев, вперив ястребиный взгляд в ценники, водил носом снизу вверх, справа налево и сверху вниз. И так - до белого каления очереди.

Первой опомнилась продавщица:

- Вам что?

От искры понимающего взгляда дождливая погода хороша. Поэзия восторга госпожа в квадрате чёрном молнии разрядом. Повсюду и всегда, когда ты рядом, легко воспламеняется душа. Закручена винтом строфа стрижа цветением рифмованного сада. В квадрате чёрном молнии разрядом цветением рифмованного сада поэзия восторга госпожа. Легко воспламеняется душа от искры понимающего взгляда. Дождливая погода хороша. Закручена винтом строфа стрижа повсюду и всегда, когда ты рядом.

- Минуточку! - приказным тоном взвизгнул Зуев.

И опять пошёл волнами оглядывать товар. При этом сгорая от нетерпения, когда очередь достигнет точки кипения.

Постепенно привыкаю к мысли. Не имеет значения, к какой мысли. Дело не ней, а в самой этой конструкции: к мысли привыкаю постепенно. Не сразу к мысли привыкаю, а именно постепенно. Понемногу эта мысль о постепенности привыкания доходит до меня. Сразу бы я эту мысли не понял, потому что в самой этой мысли заложено изначально понятие привыкания. Мысль без привыкания постепенного ничего не значит. И даже, больше того, её как бы не существует. Мало ли вокруг и около мелькает мгновенных мыслей, которых ты и уловить не успел?! Так что та мысль, к которой ты привыкаешь постепенно, чего-то стоит.

Но странно, очередь послушно молчала.

До свидания, двойники! Жизни вы отныне не требуетесь. Как не требуюсь я сам. Жизнь, нарекая биологическое существо с операционной системой самого совершенного компьютера, желает похоронить смерть, продлив до бесконечности существование одного только индивида! Ужас охватывает двойников, но очень быстро всё встанет на свои места. Любовь, зачатие, рождение и прочая - всё отменяется, ибо один будет жить вечно и бессмертно.

Ястребиный нос ходил туда-сюда по прилавку, не позволяя никому из очереди расслабиться.

Наконец, молодой человек в джинсах не выдержал и вежливо попросил:

- Неужели же вы не понимаете, что вы всем мешаете?

Редко бывает в Москве палящее солнце, но бывает. Редко в Москве бывает лютая стужа, но бывает. Редко в Москве бывают тропические ливни, но бывают. Редко в Москве бывают наводнения, но бывают. Редко в Москве бывают песчаные бури, но бывают. Редко в Москве бывают ледяные дожди, но бывают. Редко в Москве бывают землетрясения, но бывают. А когда Москва стала прозападной и отделилась от Золотой орды, поставив на купола мечетей кресты, никто не помнит. Может ли отдельный человек держать все эти редкости в своей голове? Нет, не может. Вместо головы человека существует книга. Индивидуальный человек появляется и исчезает. Причём, производство его значительно легче, приятнее и надёжнее, нежели производство компьютеров. Книга вечна. Человечество, как операционная компьютерная система, работающая в цифре и знаке, бессмертно, вечно.

Зуев резко выпрямился, отсёк взглядом сказавшего, округлил крохотные птичьи глаза, отклонился и закричал:

- Это вы мне?!

- Вам...

- Моё лицо вам не нравится?! Да?

Новый день наступает только потому, что мы его видим, едва открыв глаза, которые передают картинку в мозг, умеющий размышлять и что-то помнить, но он не может в деталях воссоздать день накануне твоего явления в мир, ибо тебя ещё нет, а день уже есть, вот именно поэтому возникает сомнение по поводу наступления нового дня с твоими открытыми глазами, но ты тут же прозреваешь, открывая книгу, в которой уже записаны в образах и красках твои переживания, стало быть, кто-то уже был тобою, и исходя из этого ты делишь мир всего лишь на две части: на краткую жизнь твоего серийного, самовоспроизводящегося тела и на книгу вечности.

- Лицо моё вам не нравится?! Да? - повторил Зуев.

- При чём здесь ваше лицо... Вы умышленно держите очередь...

“Тут, брат, нечто, чего ты не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красотку, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет, будучи кро-ток - зарежет, будучи верен - изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь, не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он ее и прези-рал. И презирает, да оторваться не может... А вот тебе еще один случай. Приходит к старику патеру блондиночка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура - слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. “Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.. - восклицает патер. - О, святая Мария, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это будет продолжаться, и как вам это не стыдно!” - “Ах, мой отец, - отвечает грешница, вся в покаянных слезах. - Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда!”... Красота - это страшная и ужасная вещь... Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Иной, высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красоты. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту тайну или нет? Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей”.

Зув хлопнул по бокам себя руками, как крыльями, и пере-шёл на «ты».

- Тебе моё лицо не нравится?! Да? Я вижу, что ты ненави-дишь меня. А за что? Я спрашиваю, за что ты меня ненави-дишь?!

С чего начинается личность? Сразу нужно сказать о предшествении личности: с отличного изготовления устройства под названием «человек», и особенно с мощной операционной системы, называемой «мозгом». Личность проходит этапы становления с нуля, с чистого листа, до гениальности. При старте (выхода головкой вперёд из лона матери) все устройства, отвечающие знаку качества Господа, находятся в равных условиях. Дальнейшее становление личности зависит от загрузки классическими образцами, и от выгрузки вовне (Книга) своих производных ума посредством Слова, ибо всё есть Слово.

В очереди кто-то вздохнул, кто-то усмехнулся, а кто-то даже повертел пальцем у виска.

Зуев не унимался:

- Я, что, должен пластическую операцию делать, чтобы тебе понравиться?! Ну и что, что нос у меня орлиный... Мало ли что! Но тебе больше не жить!

Дорогие близкие, родные, далекие, знакомые, незнакомые, сослуживцы, коллеги, однокашники, однополчане, рижане, парижане, пражане, вологжане, рязанцы, казанцы, магаданцы, ньюйоркчане, мардридцы, ерусалимцы, устьилимцы, колымчане, воркутчане, кубанцы, китайцы, малайцы, турки, миланцы, албанцы и весь остальной народ, спешу сообщить вам, что все вы созданы под копирку, как устройства компьютерного типа с операционной системой, способной вас превратить в индивидуальности, при условии воплощения себя в Слове, после смерти.

- Ну, понесло, - вздохнули в очереди, у которой настроение быстро портилось.

- Да, идите вы подобра-поздорову, - сказал пожилой толстяк с авоськой.

- Это кто, я должен идти?! Это вы у меня сейчас всё разбежитесь. Ты, толстый, помрёшь не своей смертью! - вскричал нечеловеческим голосом Зуев.

Толстяк сделал пару шагов ему навстречу. Зуев попятился, развернулся и зайцем отскочил на несколько метров от очереди.

- Соглашатели, патриоты! Я вас всех вижу в гробах! - кричал Зуев.

- Шагай-шагай! - припугнул его широкоплечий работяга.

Зуев отбежал ещё на несколько метров, крича что есть мочи:

- Ты-то точно своей смертью не помрёшь, конформист!

Мысли сверкнули молнией в чёрном влажном тяжёлом небе, а потом омрачились начисто, то есть вовсе никаких мыслей в голове не обнаруживалось, мрак наступил, а уж какие мысли во мраке души, хотя голова была на месте, и операционная система компьютера была чиста и невинна для вхождения детородного органа знаков из книги вечности, но зачатия мысли не происходило, глаза лупили по сторонам без запоминания, магнитофон испортился, оглушил до потери памяти гром.

АКТЁРСКОЕ

Распределение ролей. Дайте Офелию, дайте Медею... Но... Опять ей роли не досталось. Вон гардеробщица за стойкой играет роль свою всю жизнь. Администраторша в окошке так в роль свою вошла, что в напряженьи держит очередь за контрамарками. Аншлага нет, но все хотят пройти в театр бесплатно. Причём, вся очередь состоит из студентов театральных училищ, которым нет числа. Театр уж полон с двух сторон актёрами, смотрящими играющих, и играющими для смотрящих.

Человек без имени находится в полной уверенности в том, что его знают, потому что он наглухо погружён в самого себя, полагая, что он такой единственный на белом свете, а не массовое стандартное изделие, поэтому в сети он не говорит ни слова о том, кто он, что он, почему он, но всячески комментирует тех, кто с именем, с местом рождения, с профессией, не подозревая, что мнение анонимов не учитывается среди друзей, разве что ещё годится для определённых контор. Прояви себя, аноним, и быть может, ты будешь замечен. Скрывайтесь, анонимы, даже на кладбище вас никто не найдёт, потому что не будет не только дат вашего рождения и смерти, но и прочерка между ними!

Огонь Божий горит в душе Юрия, неканонического архангела, ибо канонические все по разрешению властей, а неканонический сам себе власть и разрешение. Ты еси сияние огня Божественного и просветитель помраченных грехами, просвети мой ум, сердце мое и волю мою силою Святого Духа, и настави мя на путь покаяния, и умоли Господа Бога, да избавит мя Господь от ада преисподняго и от всех врагов видимых и невидимых. Святой Архангеле Божий Юрииле, светом Божественным осиянный и творчески плодотворно исполненный огня и неугосаемой любви к буквам – основе основ жизни в тексте! Брось искру огня сего пламенного в мое сердце холодное, и размести в душе моей текст свой озарённый!

«Я знаю, что писателем может быть только актер. Я знаю, что писателем может быть только режиссер. Я знаю, что писателем может быть только художник. Я знаю, что писателем может быть только человек, обладающий идеальной музыкальной памятью. Я знаю, что писателем может быть только поэт. Я знаю, что писатель прекрасно выступит в роли шофера и грузчика. Я знаю, что писателем может быть только филолог. Я знаю, что писателем может быть только психолог. Я знаю, что писателем может быть только философ. Я знаю, что исполняю все эти роли. Юрий Нагибин, прочитав "Пьесу для погибшей студии", позвонил мне в час ночи и сказал: "Юрий Кувалдин - писатель с характером". В слове "характер" сидит "актер"».

В ЦДЛ на вечера собираются главным образом люди, которые не понимают, что такое литература. Это такие люди, которые что-то изредка пописывают, чтобы с этим выступить эстрадно на вечере, в основном стихоплеты, бывшие провинциалы, иногородние, обозленные на интеллектуальных москвичей, они-то и составляют основную массу проводящих вечера в ЦДЛ, чтобы позавывать свои "галки-палки галки-палки галки-палки" на очередном таком вечере, в зале которого сидят не читатели, а такие же "литераторы". Так они друг друга таскают на свои вечера. То есть это не писатели, это временщики, двигающиеся только по горизонтали, и только в своем времени. Эскалатор жизни утаскивает в могилу эту горизонталь "читателей" вместе с этими "литераторами". У истинного же писателя всего три дела в жизни - писать на высочайшем уровне, публиковаться и всемерно пропагандировать своё творчество и близких по духу коллег. Все. Ему не нужно ходить на вечера, не нужно сновать по свету, как туристу, ему не надо выходить на сцену, как эстраднему артисту за быстрым признанием. Самое твердое признание писателя - после его смерти. Так что я иронично и не вполне иронично формулирую: писательство - дело загробное! Слава Богу, что я могу сидеть с Антоном Чеховым, не выходя из дому. И он мне гораздо больше рассказывает, чем эти деятели с вечеров в ЦДЛ.

А куда ты собрался? Возьми зонт. Там нет дождя. Сказали, будет ливень. Гроза? Да, теперь время гроз. Ходить в ливень под зонтом не здорово. Плечи куртки и те намокают, не говоря о брючинах. В половодье хоть отжимай. И через край в ботинки вода наливается. Вот именно, поэтому возьми зонт. Хорошо. Иногда мне зонт помогает. Разгоняет тучи, отгоняет дождь в стороны. Льёт, как из ведра на другой стороне улицы, а я иду по сухой.

Волна взлетает и вдруг все сразу выскакивают на улицы, причём, с горящими глазами, целеустремлённые, спешащие, как на беговой дорожке, от которых в транспорте не протолкнуться, дышать нечем. И машины вылетают все сразу, как будто договорились, что до умопомрачения будут стоять и гудеть в пробках. Но вот волна совершает обратный ход. Люди как будто все разом исчезают с лица земли. Редкие машины свободно проезжают в любом направлении. Северный ветер срывает листву...

Асфальт заканчивается постепенно, сначала переходя в выбоины, потом вкраплениями в глину, и становясь самой глиной. А хочется по сухому пройти дальше к пруду, но нельзя, поскольку после дождя можно увязнуть в глине. Хоть бы мелкого гравия насыпали! Так из года в год подходишь к этому тупику в надежде, что асфальт продлят до пруда, и даже вдоль пруда вроде набережной. Конечно, в сухую погоду асфальт не нужен, потому что глина твердеет до бетонного покрытия. Но сухой погоды в нашей полосе наберётся за год разве что дней на сорок.

Заправка батареей необходима для написания новой главы жизни, потому что жизнь без продовольственного магазина быстро потухнет, подёргается и протянет ноги, колеса перестанут вращаться, поэтому вставляем пистолет бензинового шланга в горловину бензобака и заливаем полный бак, чтобы совершать творческий акт по созданию книги вечности, для чего не надо в супермаркете брать решетчатую телегу и набивать её доверху в мясном, в рыбном, в кондитерском, в овощном отделах, а также в отделе вина-воды, ибо, внимлите, для

созидания шедевра требуется лишь вода из-под крана и свежие ветки крапивы.

Небо в классических тучах. Классика требует жертв. Зигзагообразный электрический разряд на фоне черного квадрата окна. Чем же жертвует классика? Жизнью автора. В каком смысле? Он не живёт со всеми в жизни, он живёт в тексте. Сидит всю жизнь и пишет. То есть всё делает наоборот по отношению к живущим в жизни. Те бегают, этот пишет, потому что знает, что время исчезает, поглощая тела малых и великих, на смену которым поступают всё новые и новые тела, обеспечивая бессмертие человеку, становящемуся таковым благодаря книге неба.

У калины блюдца белые. У берёзы серёжки золотые. Цветочки жёлтые будут одуванчиками. Цветочки белые станут яблоками. Глина будет кирпичом. Кирпич стал человеком. У калины два глаза. У дерева два ушка с золотыми серёжками. От сигареты вьётся дождливое облачко. Вокруг ядра атома вращаются электроны. У яблока очень тонкая кожура. Красота калины, цветущей у реки, заключена в горьких ягодах. Кол берёзовый ставит точку о съедобности красоты.

Маленькие люди то тут, то там катаются, качаются, ругаются. Сколько маленьких людей вокруг! Да вы ошибаетесь! Какие же это люди?! Это - дети! Молчу. Думаю. А дети - не люди? Нет. Они дети. Просто дети. Что с них взять? Кричат, мешают бывшим маленьким людям, которые забыли, откуда они появились. А дети знают, откуда они? Что вы говорите! Разве дети должны знать, откуда они? Нет, увольте!

Какие-то сумасшедшие облака мгновенно меняли освещение деревьев. Иногда мне казалось, что листья на рядке молоденьких лип вдруг пожелтели, или даже покраснели, как будто в скоротечном порядке нахлынула осень. Но дальше соображать было некогда, потому что мгновенно почерневшее небо согнало меня со скамейки, чтобы я перебежал под козырёк летнего кафе. Отсюда река казалась металлической лентой, по которой барабанили крупные тяжёлые капли. Только я к этому

виду приспособился, как в мгновение ока небо расчистилось до бездонной голубизны и ослепительное солнце заставило меня зажмуриться.

И пишут вилами по воде. Не то, что ты там усердно на воде выводят, а важен сам процесс писания, потому что во всяком деле на первом месте стоит сам процесс, тем более в таком грандиозном деле, как в бессменном руководстве водой с вилами. Вилами на воде! Можно, конечно, и «по» воде, и «на» воде. Богат родной язык на предлоги. И каждый день пишут вилами на воде. И по телевизору показывают, как пишут вилами по воде. Дни ведь не останавливаются, а писать надо, чтобы не забыли, у кого вилы в руках, чтобы никто не успокаивался, поэтому необходимо постоянно писать вилами по воде, и по телевизору показывать прибавление всё больших нулей к нулям.

Настоящий писатель живёт в Ленинграде, в Петрограде, в Петербурге с приставкой Санкт, в общем, на огороженных болотах решёткой Летнего сада. Причём, говорит о себе: «...не суечусь, не тороплюсь, не ломлюсь в открытые двери, не лью воду из пустого в порожнее, и не ношу её в решете... И до такой степени всем этим проникся, что мне даже стало казаться, что я отчасти постиг тайную суть вещей...» Как хорошо быть настоящим Валерием Роньшиным, потому что, как и я, он знает: «Смерть заложена в нас изначально. Как печально...»

Тело человека включает в себя всю землю. В свою очередь, земля полностью поглощает тело человека. Идёт непрерывная взаимозаменяемость материальных структур под нематериальным управлением книги неба. Вы часто смотрите на небо? Значит, нет, не часто, потому что не видите небесного текста, льющегося непрерывно над материей тела земли.

Кроме всего прочего нужно обязательно проследить с высокой точки за закатом светила в эти самые длинные дни июня в нашей географической полосе. Чёткая графика зданий на горизонте, напоминающая расчёску гребешок, особенно подчеркивается с тыльной стороны бордовой полоской, которая утончается на краткий миг, но не исчезает. Спустя какой-то не-

значительный промежуток времени небо начинает бледнеть, набираться голубизны, когда уже хорошо различимы пустынные улицы с редкими машинами. Белая ночь Москвы.

О пурпуре забыли, потому что близок красный. Изумрудный встречается, но чаще зелёный. Иногда даже вставят лазурный, чтобы избежать голубого. В оттенки речь почти не впадает. Про алый иногда вспоминают. Но вот об амарантовом и слыхом не слыхивали. Дело в том, что каждое собирательное слово дробится на множество оттенков. А в основе палитры всего три цвета: красный, желтый и синий. При смешивании этих цветов получаются всевозможные оттенки, точно так же, как при смешивании букв алфавита получаются и «Преступление и наказание», и «Божественная комедия».

А с первого класса у вас есть друзья? Да, полкласса ещё живы и здоровы, в восьмидесятый раз встречаемся. Все по-прежнему молоды и красивы. И так все ответственно подходят к ежегодным встречам, что ничем другим не занимаются. Вы ведь сами знаете, что школьная дружба самая верная. Несмотря на то, что девочкам уже под девяносто, готовят стол и крутятся на кухне, как первоклассницы. И то приготовят, и это. Потом за праздничным столом каждый подвывает красную шейную косынку, и все дружно вспомнят клятву: «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей обещаю, что буду твердо стоять за дело Ленина-Сталина, за победу коммунизма. Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины!». Это ведь очень важно всю жизнь прожить одним первоклассным коллективом!

Москва большая. Очень большая. Огромная. Безразмерная. Грандиозная. Есть в ней поля, леса и даже горы, не говоря уж о реках, прудах и озёрах. А также многочисленные железные дороги, выйдя на которые, думаешь, что ты на БАМе: нет ни строений, ни людей. Особая прелесть столицы в проектируемых проездах. Идёшь несколько километров по такому Проектируемому вдоль бетонного забора с колючей проволокой и не

видишь конца проезду. В конце концов упираешься всё в ту же железную дорогу, и провожаешь восхищённым взглядом поезд дальнего следования «Москва-Воркута». Дух захватывает от перспективы развития!

Мелькают столбы и деревья. Несётся скорый поезд. Стучат колёса. В узком коридоре вагона появляется светловолосая женщина. Мы видим крупно её глаза. В них некоторая неопределённость. То ли она о чём-то думает, то ли кого-то ожидает. За приоткрытым окном заметно темнеет. Вдруг с той стороны возникают крепкие руки, потом крупное мужское лицо. Человек мчится с поездом, уцепившись за раму окна. Женщина в ужасе смотрит на явление прошлого, которое обхватывает её за шею и пытается вытащить из вагона.

Тяжелы слова на бумаге, но не в том смысле, что сами слова увесисты, а по самой сути припечатанных к бумаге слов. Прекрасен лист текста перед глазами, замечательна и книга. Но вот упаковка книг, по десять экземпляров в 400 страниц каждая. Пачка весит 6 кг. А пачек этих 1000. Многотонные фуры грузились под завязку и везли на центральный склад, с которого тиражи развозились по стране: самолётами, поездами, машинами.... Грузчики, погрузчики, полки книжных магазинов, библиотеки... Немая книга на бумаге, в том смысле, что её не откроешь с большого расстояния, как открываем ныне файл. До свидания, бумага!

Как обычно, прихватил с собой к реке нарезанный батон, думая покормить уток, которых бывает множество здесь. Широкая река была пустынна, спокойна, золотиста от проглянувшего после дождей солнца. Я подошёл к самому краю берега, укрепленного гранитными камнями, упакованными в стальную сетку, тянущуюся вдоль всего берега. Новый вид парашюта. Высоко надо мной пронеслась чайка. Что ж, если нет уток, может, эта чайка покормится. Я стал бросать нарезанные ломти прямо на воду. Отошёл в сторонку, присел на скамейку. И тут началось. Та чайка узрела мои действия и прямо с неба спикировала к нетонущим ломтям. Следом невесть откуда принеслась огромная кричащая

стоя. Мимо вдоль берега проезжали два велосипедиста. Он и она. Увидев стаю кричащих над плавающим хлебом чаек, остановились, заморожено наблюдая пикирующих и бьющихся клювами и крыльями о воду чаек. Я спросил: «Вы видели «Птиц» Хичкока?» - «Нет», - ответил молодой человек, восхищенный птицами. «Посмотрите!», - посоветовал я, поднялся и пошел в сторону моста, изредка оглядываясь на кричащий, клубящийся рой чаек.

Человек по природе своей существо чрезвычайно впечатлительное, желающее мгновенно реагировать на всякое внешнее раздражение, отчего постоянно возникают конфликтные ситуации, которые также мгновенно исчезают, сменяясь новыми возбуждающими психику случаями, и человек бессознательно продолжает эмоционально реагировать на них, чего, однако, делать не следует, заставляя себя научиться во всех подобных моментах сдерживать себя, не реагировать, то есть иными словами, воспитывать себя, ибо воспитанный человек избирательно принимает импульсы внешнего мира, а то и вообще закрывает себя от них, довольствуясь молчанием или вежливым извинением.

«Уважаемый Юрий Александрович, добрый день! Регулярно читаю Ваш журнал, смотрю Ваши фильмы, и конечно же, читаю Ваш ДНЕВНИК. Писем Вам не пишу, п.ч., так же, как и Вы, не оч. большой поклонник эпистолярного жанра. Да и чего писать, когда Вы и так всегда со мной - и в моём сердце, и в моих мыслях - и как писатель, и как человек. Таких, как Вы не было и нет. Но если когда-нибудь человечество - каким-то чудом! - всё же выйдет на гармоничный путь развития, то люди будущего будут именно такими - как Вы. Ну м.б. ещё чуууть-чууууть такими, как и я. Потому что уже сейчас, в настоящем, я практикую Ваш образ жизни: не суечусь, не тороплюсь, не ломлюсь в открытые двери, не лью воду из пустого в порожнее, и не ношу её в решете... И до такой степени всем этим проникся, что мне даже стало казаться, что я отчасти постиг тайную суть вещей... Но речь не об этом. А вот о чём. Каждый новый номер НАШЕЙ УЛИЦЫ я теперь начинаю с чтения "Задумчивой грусти" Маргариты Про-

шиной. Это просто какое-то волшебство, которое почему-то М.П. назвала: "заметки". Назвать эти чудесные микророманы "заметками" - это всё равно, что назвать Наполеона - французским военным. И вот вчера - опять же, по Вашему примеру: ежедневно прогуливаться - прогуливаюсь я по Летнему саду, и думаю о Маргарите Прошиной; о том, что она, ну просто-таки, как Сведенборг, который видел ангелов. Мне кажется, что она тоже их видит. Потому что, ну а как, спрашивается, можно без ангельской помощи взять такой заезженный-перезаезженный жанр - как "заметки", и сделать из него бриллиант чистой воды. Но, опять же, дело не в этом (хотя и в этом тоже). А дело вот в чём: захожу я сегодня утром в инт-т, и вижу, что и Маргарита Прошина вчера тоже думала обо мне; п.ч. вчера она разместила в своём блоге один из моих рассказов, который был напечатан в НАШЕЙ УЛИЦЕ... Прямо мистика повседневности получилась: выходит, что мы - в одно и то же время - ок. 16-и часов - друг о друге подумали. Так что, не мог Вам об этом не сообщить. Вдруг, Вы вдохновитесь, и напишите об этом рассказ. В смысле, не напрямую об этом, а - опосредованно. А у меня что-то взрослое сааааавсем не идёт. Зато идёт детское. Наверное, я окончательно впал в детство. Не смею больше отнимать у Вас Ваше время. Всяческих Вам творческих и жизненных удач. Валерий Роньшин. Санкт-Петербург».

Раздумывал мечтательно, гуляя под зонтом в дождливый день, о том, что беспредметно, бестелесно, чего нельзя увидеть и потрогать, но то, что не дает спокойно жить. Весь в этих мыслях обошёл большую лужу. Вот здесь остановился вдруг и понял, что мир расколот на две части: весомую, наглядную реальность и на слова, которые никто не видит, поскольку не написаны ещё. И что-то там вдали уже мерцает, какое-то подобие звезды, но вряд ли под дождём она заметна, и есть ли в самом деле свет в окне.

Придается, надоедает, утомляет, наскучивает, отторгает... Именно так говорится о том, чего подается много. Дело не в личном времени, дело в отсутствии у подающего вкуса. А вкус - это

дозировка. Не буду повторять о хорошем, которое рекомендуется потреблять понемножку. Но почему не надоедает Марсель Пруст, почему не утомляет Достоевский, почему не приедается «Восемь с половиной» Феллини? Потому что у гениев отсчёт особый, вне соображений дозировки, вне понятия «длинно-коротко». Так в чём же? Нет ответа. Творчество - таинство.

На солнечном крыльце сушатся сапоги, босоножки, ботинки, туфли, шлёпанцы, сандалии... Сад и огород залиты солнцем после сильного ночного дождя. Пар висит над буйной зеленью. Рыжий кот блаженно дремлет в одной застывшей позе животиком вверх на подоконнике между глиняными горшками с буйно цветущими алыми геранями. Ни ветерка, ни звука, ни движений. Хотя один звук есть, и довольно настойчивый. Летает под потолком муха. Но её жужжание не нарушает тишины, не будит застывшего воздуха, а, наоборот, вгоняет утро в сладчайший сон.

Тёмная фигура в шляпе появляется в окне, хотя я живу на двенадцатом этаже, но не удивляюсь этому, ведь фигура из тридцатилетней давности, но меня фигура видит отчётливо, потому что считает меня реальным физическим телом, и тут же спрашивает, мол, как дела, старик, но я никак не могу узнать это невидимое лицо, напоминающее, что в 82 году мы шли по Палихе, куда шли, не вспомню, шли, наверное, куда-то, но после этого больше не виделись, а фигура меня не читала. Современнику не дано понять, что я не тело, а текст.

Хорошие люди при всяких неприглядностях промолчат, или даже в них найдут что-то положительное, но почти незаметное, и о нём скажут. Плохие же люди будут в прекрасном усердно выискивать недостатки, пусть даже один крохотный недостаток, и о нём буду кричать на всю Ивановскую. Хороший человек всегда поднимет вам настроение. Плохой испортит вам весь день. Как всё в этом отношении просто и понятно. Так нет же! Плохие размножились до такого количества, что отовсюду слышны их голоса о плохом, изо всех щелей тотальным хором, как будто все они с утра пораньше обошли все помойки мира!

Твоё воображение работает по указанию слова мастера, искусно расставившего слова в книге, которую ты читаешь при свете настольной лампы в одиночестве и в полнейшей мелодичной тишине, когда напечатанные на бумаге цепочки букв вдруг невероятным образом исчезают и ты оказываешься в старом переулке на набережной реки, почти невидимой ночью, слегка лишь подсвеченной дежурной лампочкой бесшумно выходящего из-под горбатого моста буксира, разглаживающего утюгом корпуса шёлковую ткань воды.

Когда себя не ограничиваешь, то в пух и в прах распыляешься, подобно тому, как поставленную задачу в библиотеке выполняет распылённый человек: он и то прочтет и это, а потом то и другое, а потом четвёртое и восьмое, и даже то, до чего не дотягивался никто, а назавтра забудет, чтобы копошиться другое множество. Десятки эрудитов промелькнуло за мою жизнь. Я с восхищением зрителя цирка следил за их жонглированием именами и цитатами, но никак не мог разглядеть их самих. Однажды достойный критик Владимир Лакшин, когда я ему посоветовал не разбирать других и не советовать им, как выразить то или иное, а самому написать хотя бы простенький рассказ, добродушно сознался, что художественное писать не может.

Не сказано ни слова, а эхо откликается на молчание. Вот удивительное свойство молчания, наполненного глубокими оттенками смысла эха. Сижу на бережку, водичка разговаривает с эхом, и во мне голоса голоса и эхом отзываются. Любопытно прислушиваться, как эхо отзывается эхом, но я отчётливо улавливаю эхо моего молчания, как будто во мне на самом деле говорит другой человек, а я явственно слышу эхо его голоса, рождённого самым натуральным образом в моём полнейшем молчании.

В КАДРЕ ДОЖДЬ

В детстве дворник поливал двор из шланга. И мы бегали под струёй с восторгом, промокая до нитки. Я буду снимать дождь, а не имитацию из шланга. Дождя месяц не будет. Это не имеет значения, потому что я буду снимать настоящий дождь, просто-таки ливень. Камера будет стоять, а мы будем ждать. Хоть до второго пришествия. Вы видели на экране дождь из шланга, когда на заднем плане всё сухо и солнечно, а на переднем героиня в легком платье мокнет под струями из шланга. Теперь-то и дворников со шлангами не вижу. Ливень. Прохожие жмутся к стене. Из-за стены дождя не видно противоположной стороны улицы.

Иду по улице, не интересуясь её названием, потому что этому нет причины в районе проектируемых проездов, стандартных огромных бетонных домов, бесчисленных заборов школ, детских садов, поликлиник и прочих заборов. Легко идти без названий, определений и объяснений. Даже названия деревьев не читаю, хотя на каждом дереве написано своё название. Стоит только подойти и прочитать на листьях. На заборах тоже всюду названия, типа «бетонный», «штaketниковый», «сетчатый» и прочее. На небе тоже всякие названия, на облаке написано «облако», на солнце написано «солнце»... Иду себе, не читая, иду инкогнито.

Полегоньку утро наступает в час бессонницы и, кажется, что даже стоит на месте. Уже не ночь, но ещё и не утро. Жизнь людей сдвинулась в ночное время. Светлеет в четыре утра, но большинство в хорошей жизни спит до десяти, кому не идти к станку. По световому дню никто уж не живёт. Свет мыслится, поэтому не исчезает. Просто шар повернулся спиной к солнцу. И вращение замедлилось. Остановилось. Едва посветлел горизонт, но потолок чёрен. Так и стоит всё на месте. Спать уже не можешь, но ещё не проснулся.

Иду вразвалочку, равняюсь с девушкой, говорящей по мобильнику. Теперь представить себе девушку без мобильника

невозможно. И только я шагнул на одну линию с нею, как она тут же начинает движение, попадая на ходу мне в ногу. Я перехожу по давней армейской привычке на почти строевой шаг. Девушка, оглашая окрестности своим звонким голосом, делает шаг шире, не отстаёт. Я резко останавливаюсь. Девушка, сделав пару шагов, останавливается, оборачивается. Я командую: «С левой ноги шагом марш! Запевай!» Девушка округляет глаза, кричит в мобильник: «Ну, давай!» - и быстро исчезает в яме входа в метро.

А в чём, собственно говоря, дело? Можно было сразу ответить, но отвечать не хотелось. Столпилось несколько человек вокруг меня. Понятное дело, со мной было что-то не то. Я смотрел вверх, а на меня оттуда смотрели разные глаза. Кто-то что-то говорил, но я не понимал ничего. Просто смотрел снизу вверх. Ничего особенного. Мало ли что может случиться с человеком. Ходит себе, а потом падает. Причём не хочет вставать. Глаза круглые направлены вверх. Вверху склонённые головы закрывают небо. Не узнаю себя в чужих глазах. Чужие глаза не узнают себя во мне.

В щели над городом вайтный свет, который ложится на совершенно неподвижную штилевую поверхность реки. Зеркально стою под небом. С вайтной подсветкой, серьёзной, с английско-французской. «Серьёз» - слово французское «serieux». «Вайт» - слово английское «white», переводится как «белый». В конце концов всё будет русским, как сказал Достоевский. Ради этого цвета и снег у нас в июле падает, не тая под вайтными фонарями. Как black and white душа моей страны. Так вайтный день блекнет ночью (от английского «black»), то есть теряет цвет, а по мне - чернеет, но гладь реки окрасилась щелью вайтно.

Москва исхожена мною вдоль и поперёк. Так, помню, в 70-х годах я водил Володю Купченко по адресам Волошина. Купченко, протерев очки, вычитывал из записной книжки адрес, а я тут же кратчайшим путём вёл его туда. Купченко восклицал: «Ну, старик, ты Москву с закрытыми глазами знаешь!» На углу

Гагаринского переулка и Большого Власьевского мы обнаружили нечто отдалённо напоминавшее церковь, где венчался Волошин в 1906 году с Маргаритой Сабашниковой, потому что здесь были мастерские и какие-то конторы. Минуло более сорока лет. Володя Купченко умер. А церковь возрождена. Крепкая, низенькая стоит, как ни в чём не бывало на том же самом месте. На Долгоруковской (в советское время Каляевской, в честь убийцы московского генерал-губернатора) Волошин жил с 4-х до 16 лет, дом на правой, чётной стороне, сломан, теперь там коробки. Нет дома Цветаевых в Трехпрудном переулке, где Волошин не раз бывал. Но сохранились здания гимназий - и Поливановской, и первой казенной, цел дом 19 по Сивцевому Вражку, где Волошин жил у сестер Эфрон. Чтобы Москву любить, нужно по ней ходить.

Новосёлы из коммуналок едут в новые дома в Черёмушки. Теперь старосёлы, те, которым по 90 годов, смотрят, как ломают их новые пятиэтажки, ставшие вдруг старыми. Та же участь ждёт всех и каждого, упивающегося постоянством жизни, даже, если хотите, реализмом, который, как заноза, сидит в каждом, готовящемся жить вечно в своём времени. Стройки века не дотянут и до 2217 года, как и те индивидуы, навязывающие реальность как единственную форму организации жизни. Всё будет сломано, и снова построено. Все умрут и все родятся, но только не по теории реализма, а по вечному возвращению в Слове, которое включает цифровое пространство, и которое создало всё живое и неживое.

Во вздохах воздух незаметен. А выйдешь в поле, благодать, ещё яснее понимаешь, что жизнь, как воздух, исчезает, но не исчезнет никогда, как крыльев взмах простой вороны, умнейшей птицы, в нереальном прозрачном воздухе парящей. Взирает птица с высоты полёта на бегущие внизу размытые силуэты одиноких деревьев и кустарников, на мгновенно проносящийся деревянный мостик над малой речкой, разглядывает и меня, маленького, глядящего на неё с этого мостика. Так и смотрим друг на друга сквозь воздух невидимой жизни.

Прекрасное возобновляется даже тогда, когда оно приедается, а это случается тогда, когда привыкание переходит высшую границу возможного наслаждения и невольно по законам синусоиды ведёт к упадку, иными словами, от взлёта к падению, но это абсолютно не означает полного исчезновения прекрасного, поскольку новый человек впервые сталкивается с ним, а старый уступает ему место любования прекрасным, вот именно по этой причине длится бесконечно через всё новые и новые тела возобновление прекрасного.

Бежит человек бессознательно, тротуар, лестница, даже как спустился по эскалатору не заметил, вагона тоже не увидел, а сразу посмотрел в окно на старую улицу со своего рабочего места за письменным столом. Восемь часов с обедом тоже не впечатлили. Попросту негодились для восприятия. Вечером, как попал домой, умалчиваем, два часа упирался взглядом в экран телевизора, но что показывали, убей, не помнил. Снился черный бесконечный коридор, по которому шёл всю жизнь, но так и в эту самую жизнь не попал.

Послушаешь вокруг и понимаешь, что каждый человек претендует не меньше как на всемирность. Ниже никак нельзя, иначе спишут его со счетов, как фигуру ничтожную. Только мировые вопросы решаются с ходу, не моргнув глазом, не сделав ни одной оговорки. Оперируют странами и континентами с невероятной лёгкостью. На меньшее он не согласен. Ну, что ту поделить, если Достоевский приучил к этому всех поголовно, кто даже имени его не слышал, разве что знает станцию «Достоевская». «Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления, он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может перевоплощаться в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить всё многообразие национальностей и снять все противоречия их». Вы говорите, мал человек! Нет. Он всемирен. Теперь смотрите телевизор.

Выбор. Можно на этом остановиться, но есть ещё какие-то варианты. Нет, лучше остановиться на том. Приходится невольно колебаться между тем и этим. Причём, и то и это зауживают пространство выбора до узкого коридора, когда происходит в мозгу как бы потемнение. Видится в одном конце туннеля то, а с другой стороны это, хотя на самом деле никакого коридора нет, но какой-нибудь третий или пятый вариант выбора не возникает, а ведь надо выбрать. Мысли же о том, что ничего выбирать не надо, а просто развернуться и уйти с концами, ничего не выбирая, не возникает. Выход из тупиков выбора только один - никогда и ничего не выбирать. То, что необходимо, само придёт в руки.

Ты с удивлением взглянул на следователя. Не надо было болтать с ним по душам. Теперь получай в обратную сторону искажение себя. И кто тебя за язык тянул? Что за привычка откровенничать с каждым встречным? Теперь гадай, на чём тебя подловили, и кто отдал приказ тебя арестовать. Волнение сковало твой рассудок, оставалось лишь нервно бегать от двери к окну, чему следователь не препятствовал. Полистал свою записную книжку, закурил, положил ногу на ногу. Это же явная бессмыслица! За написанные на бумаге слова сажать в тюрьму! Но в этом есть и высокий знак: цена слова очень высока - от пяти до десяти лет строгого режима!

Теперь ковры, а не трава. И отовсюду слышен шум косилок. Жужжат, как пчёлы, бензомоторы в руках восточных близнецов, все на одно лицо с раскосыми глазами. Во всех дворах Москвы читает громко Блок: «Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, с раскосыми и жадными очами!» Не газоны, а поля для гольфа, футбольные английские поля. Искусство стрижки трав уже не удивляет - мы быстро привыкаем к красоте.

«Гул площади остается позади, я вхожу в библиотеку. Кожей чувствую тяжесть книг, безмятежный мир порядка, высушенное, чудом сохраненное время». Борхес горький. Морфий плачет по Борхесу. Зоркий глаз не присущ Борхесу, ибо он

слеп. И какое ему дело до Корсики? Борец использует тело. Борхес жонглирует классиками. Борхес продирается сквозь дебри античности. Борхес никогда не заблудится в именах и цитатах, ибо без имён и цитат нет Борхеса. Горько зоркий Борхес! Борхес - это Хорхе, да к тому же Луис. Борхес - интеллектуальный термос центонной души. Борхес циркач. Борхес жонглёр. Сверкают в потёмках кольца имён. Борхес воздушный гимнаст. Отважно исполняет без страховки акробатические трюки под куполом на крыльях цитат.

Яркие герани в горшках стройной колонной стоят на асфальте, как люди в очереди. Скворцы клюют золотое пшено у входа в метро. Над мостом среди бела дня висит круглая латунная луна. Из огромной фуры выгружают поддоны с рулонами живой травы. По берегу реки расположились в ряд многочисленные рыбаки с одинаковыми удочками. В конце набережной стоит величественный хрустальный кубок, который будет вручён лучшему рыбаку. Опустив лицо, я разглядываю гранитную крошку.

Обеденный перерыв, все бегут в столовую, чтобы обедать. Но что такое слово «обед»? Беда какая-то округлённая. Смотрите: «бед» без «о» просто беда. Само слово «обед» подсказывает, что с ним, с этим обедом бед не оберёшься. Нет, быстро, в поту, набивают себе желудок, поглядывая по сторонам с опаской, как бы кто-нибудь не покусился на их салат, их борщ со сметаной, их жареный картофель с толстым антрекотом, с их компотом, с их клубникой в сметане, с их белым хлебом, с их горчицей и перцем. Так же на них самих косятся в метро, когда они своими располневшими телами занимают сразу два места. Они ещё не знают, что есть вредно.

Солнце у людей встаёт утром после сна. Земля замирает от восхищения. Звезды после ночной смены опочивают. Луна занавесилась тенью. Вода зашептала. Пробежал ребячливый ветер. Волна запела. Заговорили листья. Трава засмеялась со скрипом. Рябина по-девичьи раскраснелась. Сосна кивает головой. Солнце почернело за спиной луны. И прочее в том же

духе. Людям свойственно очеловечивать всё на свете. Кошке необходим свежий воздух, ей обязательно надо побыть на природе, для чего кошка вывозится на дачу и тут же с концами пропадает. Все плачут, бегают по улицам дачного поселка, зывая: «Машка! Барсик, Васька!»! Нет ответа.

Николай Лесков: «В одном произведении Достоевского выведен офицерский денщик, который разделял свет на две неравные половины: к одной он причислял "себя и своего барина, а к другой всю остальную сволочь". Несмотря на то, что такое разделение смешно и глупо, в нашем обществе никогда не переводились охотники подражать офицерскому денщику, и притом в гораздо более широкой сфере. В последнее время выходки в этом роде стали как будто манией. В конце сентября 1893 года в заседании Общества содействия русской промышленности и торговле один оратор прямо заговорил, что "Россия должна обособиться, забыть существование других западноевропейских государств, отделиться от них китайской стеною". («Загон» 1893). Все думают, что жизнь идёт куда-то вперед, ко всеобщему счастью, но жизнь крутится колесом, или тупо идёт по кругу под руководством офицерских денщиков.

Я не могу узнать этого человека, хотя лицо его мне очень знакомо, но я всё равно не понимаю, кому принадлежит это лицо... Перебираю в памяти имена, но никак не могу найти подходящее слово под это лицо. Имя есть слово, которое прикреплено к этому лицу. Но на самом лице слово не написано. Кто же это? Я знал это лицо. Переворачиваю фотографию, чтобы проверить, есть ли там подпись. Подписи нет. Лицо без подписи. Не идентифицируется, то есть не прикрепляется к Дену-Дону-Дню (от Deus - Бог - латинс.), Году (от God - англ.), Богу. Одним словом - Идн (люди книги).

Погода портится. В метро свободно. В фейсбуке - полно. Погода прекрасная июльская. В метро - битком. В интернете - пусто. Кроме писателей, у которых урок жизни - ни дня без строчки. Смотрю на наше время из своего текста спустя 1000 лет. Вы не ослышались. Смотрю глазами текста. Все исчезли

бесследно. Писатели на месте. Под рукой. На расстоянии одного клика библиотеки гугла. Так Данте смотрит на своё время из «Божественной комедии». Все - на пляж. Писатели - к столу. На месте.

У одного из живущих ныне есть всё: три квартиры в триста метров каждая в центре, особняк на Средиземном море, парк дорогих иномарок, счета с семизначными цифрами в банках здесь и за рубежом... У другого нет ничего, кроме своего Чехова, своего Кафки, своего Бродского, своего Достоевского, своего Иммануила Канта, своего Сэлинджера, своей Ахматовой, своей Цветаевой. И книги, написанной самим собой. Каждому своё. Один здесь и сейчас. Другой потом и вечно.

Кирилл Ковальджи (1930-2017)

Несознательная вроде
с тайной смысла и числа
жизнь, которая проходит,
жизнь, которая прошла.

Карта, что была в колоде,
на ладонь мою легла:
жизнь, которая проходит,
жизнь, которая прошла.

И отводит и подводит,
и творит свои дела
жизнь, которая проходит,
жизнь, которая прошла.

Тень заката в мире бродит,
но мучительно мила
жизнь, которая проходит,
жизнь, которая прошла...

Жизнь - это кинофильм. Рабочий с колхозницей. Мосфильм. Название. В конце: «Конец фильма», или просто: «Конец». Если было начало, то будет и конец. Заполни этот проме-

жуток между рождением и смертью текстом, как это делал, к примеру Гоголь. Лучше всего скользить по длинным фразам, усложненным, с включением в них подчиненных и равноправных предложений, вводных слов типа - "однако", "я полагаю", "короче говоря", и так далее, с безудержными авторскими рассуждениями, обмолвками, пристальным воспроизведением пейзажа, обстановки, внешности. Эти мазки и картины и создают ту длительность скольжения для глаза в произведениях Гоголя, как ледовую беговую дорожку на стадионе. Тогда и конец фильма будет восприниматься как бессмертие.

Посмотрим на имена с точки зрения их конструирования. Достаточно назвать имена Грибоедова, Державина, Бабеля, Мандельштама, Достоевского, Булгакова чтобы разъяснить эту мысль. Вглядитесь в эти имена, и вы увидите, что все они составлены из букв. Но, как правило, люди не только не видят букв, но и слов не видят. Скажешь: «Достоевский», - так сразу возникает человек с бородой, угрюмый и с топором. Понимаете? Что уж говорить о Мандельштаме! «Пусти меня, отдай меня, Воронеж: Уронишь ты меня иль проворонишь, Ты выронишь меня или вернешь, - Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож». О Булгакове и говорить не буду. Воланд, Бездомный, массолит. цдл, вторая свжесть.

Литера - это буква. А чтобы литеры занялись выявлением смыслов, нужна тора, или, по-современному говоря, трафик. Трафик - это тора. А литера, включившаяся в строительство чего угодно есть литература. Так что литература - это в самом простом понимании движение букв. И тем не менее, литература статична, все части текста как бы стоят на месте, то есть в литературе нет ни времени, ни пространства. Хотя они есть, но постоянны. С любого места навскидку открывай, допустим, Мандельштама, и убедишься, что всё по-прежнему. Однако с новым содержанием: «И море, и Гомер - всё движется любовью!»

Присел, утомившись, на любимую зеленую скамейку. Была у меня одна любимая, заветная мысль, которую мне не терпелось высказать здесь самому себе, то есть заговорить вслух.

Но зачем высказывать любимое самому себе? Иди да садись молча к столу за любимую мысль, а то перегоришь, заболтавшись на любимую тему. Там и любимые фразы пойдут о любви к сложным конструкциям, которые и есть любимая простота. Да, о любви к хорошей фразе люблю поговорить. Это мой любимый конек. И третье лицо тут любимое. А как же, ведь разговор через третье лицо - любимый мой коленкор.

Опять пошёл на осень поворот, до первого числа совсем немного, секундой промелькнул по кругу год, вращая всех и вся по плану строго, ведь осень наступает в сентябре, и первого числа, ни до, ни после: осенний свет, о-сент, осен-тябре, и в эту осень ты любовью послан, - опять сентябрь покажет осень нам, разделит год с улыбкой пополам, и в золоте листвы то тут, то там склонится к увядающим цветам.

Для писателя заметнее всего незаметное, то есть то, что не присутствует в предметном или, если хотите, в реальном мире, в котором пребывает преобладающее большинство людей. Так во время спектакля мы не видим режиссёра, не замечаем его рук. Вот руки Любимова - это властные руки дирижера, это руки управителя театра, это руки властелина мира. Эти руки указывали, куда встать Высоцкому, откуда выйти Золотухину. Вот поэтому Любимов невидим. Он за кадром. А в кадре Володя Высоцкий с голосом грузчика продовольственного магазина. Одно из самых незаметных свойств - это то, как индивид соотносится со Словом, которое им управляет.

Надежда на то, что всё будет надёжно, ненадёжно, потому что надёжное всегда изнашивается, как одежда, которую надеваешь каждый день, а дней, как известно, каждому человеку выделено ни больше и ни меньше, чем положено, и вот это самое и есть главное суждение о ненадёжности надёжного, которое выражается в надежде, смысл в которой тот же самый что и в мечте, то есть в чём-то эфемерном, призрачном.

Монотонность, однообразие, недомогание, раздражение. И откуда взяться здоровью и спокойствию, когда каждый день одно и то же. Тишину утра нарушает звон ведра уборщицы в

коридоре. Невыносимый металлический стук. И так каждое утро. Что ей далось это ведро! Гремит им, хоть вой от негодования. И мокрой тряпкой, намотанной на швабру, шлёпает и возит по линолеуму пола. Потом обед, отдых, ужин, и опять ночь. А засыпаешь мучительно с мыслью, что эта уборщица утром снова загремит ненавистным ведром.

Начиная что-либо писать, отвергаю штампы, стремлюсь к оригинальности. Из чайки сделаю ворону. А ворона тащит к ворону. Это неизбежная сила воздействия «Ворона» Эдгара По. А он говорил: «Моей первой целью, как обычно, была оригинальность... оригинальность - положительное достоинство из самых высоких, для её достижения требуется не столько изобретательность, сколько способность тщательно и настойчиво отвергать нежелательное». Вот она истина творчества - отбрасывать всё лишнее, сосредотачиваться лучом лазера на своей идее.

Приложу «Ворона» Эдгара По в переводе Михаила Зенкевича:

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застучал,
Будто глухо так застучал в двери дома моего.
"Гость, - сказал я, - там стучится в двери дома моего,
Гость - и больше ничего".

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линор, -
Безыменной здесь с тех пор.

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
"Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость - и больше ничего".

И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
"Извините, сэр иль леди, - я приветствовал его, -
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал", - дверь открыл я: никого,
Тьма - и больше ничего.

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: "Линор!"
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: "Линор!"
Прошептало, как укор.

В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
"Это тот же стук недавний, - я сказал, - в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего, -
Ветер - больше ничего".

Только приоткрыл я ставни - вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо;
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего
Сел - и больше ничего.

И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор,
Я сказал: "Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?"
Каркнул Ворон: "Nevermore".

Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
Птица с кличкой "Nevermore".

в кадре дождь

Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шептал я, вдруг вздохнувши: "Как друзья с недавних пор,
Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор".
Каркнул Ворон: "Nevermore".

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишьи мрачном,
И сказал я: "Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом "Nevermore".

И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещей с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещей с давних пор,
Хриплым карком: "Nevermore".

Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горячий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о nevermore!

Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили серафимы в фимиаме на ковер.
Я воскликнул: "О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес - исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

Я воскликнул: "Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

Я воскликнул: "Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор -
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

"Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! -
Я, вскочив, воскликнул: - С бурей уносись в ночной простор,
Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака
Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной про-
стор!"
Каркнул Ворон: "Nevermore!"

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижимом взлете, словно демон тьмы в дремоте,
И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.
Никогда, о, nevermore!

Перевод Михаила Зенкевича, 1946

Надо непременно полностью отвлечься от всего того, что происходит вокруг и около, оставив перед собой только чистый лист бумаги в виде работающего компьютера в ворде, или, иными словами, тот же белый лист для письма, только виртуального характера, всё прочее в компьютере отключив, видя лишь выскакивающие от ударов твоих пальцев по клавиатуре букв. А если понадобится, то и отказаться от компьютера, ибо под столом стоит в футляре безотказная пишущая машинка «эрика», на которой я «отбабахал» в глухие советские времена тысячи страниц.

Все недоразумения, споры, конфликты, обиды проистекают из-за мгновенной реакции на внешние раздражители. Трудно удержаться от ответной реакции на несправедливо брошенное в твой адрес уничижительное слово. Ещё труднее подставить другую щеку, когда тебя ударили по противоположной, и сми-

ренно удалиться. Наука сдерживания ответной реакции на любое слово или действие против тебя даётся нелегко, но тренироваться в этом отношении необходимо. Отрицательное событие произошло, а ты не реагируешь, поскольку спустя некоторое время сам улыбнешься своей выдержке, благодаря которой конфликтная ситуация сама по себе исчерпалась.

Старик рассказывает мальчику об всём, что придёт в голову, делая это только для того, чтобы мальчик научился слушать и думать, а не задавать каждую секунду вопросов. Старик это понял недавно, потому что бывал настолько утомлён вопросами, что стремился избавиться от мальчика, но сделать этого не мог, потому что мальчика приставили к нему на неделю. А это что? А то почему? Где? Когда? Откуда? И так далее. Как в любой азартной игре, а воспитание детей есть игра, необходимо перехватить инициативу, то есть, как в футболе, от обороны перейти в атаку.

Жизнь красна, где все целуются. Просто спасу нет от поцелуев! Так и хочется первой встречной красавице влечь поцелуй, как говорят, от всей души. Видал, уже целуются, он прижал её к себе, в намерении схватить поцелуй. Да уж, как говорят при зачатии народа, то есть урожая поцелуйного. Чуден показался ей поцелуй. А эти напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что земля рожала. А ты что смотришь? А этот шустро украл её поцелуй, да и закричал, мол, целуйте землю, облейте слезами, просите прощения, и в эту секунду, сбитый с ног красавицей, сам почувствовал крепкий, влажный поцелуй земли.

Громко, ещё громче, оглушительно, чтобы слышали на том берегу, с гармонью, с духовым оркестром, с песнями, плясками, чтобы все знали, что такое настоящий праздник, с взлетающими в небо огнями салюта, с грохотом и дребезжанием стёкол в окнах, с орущими толпами, льющимися рекой к месту торжества, к свадьбе, к победе всех над всеми, и всех над каждым. Разворачиваюсь и стремительно ухожу в другую сторону, дальше, дальше, к окраине, к тихой улочке, в тишину, и ещё дальше в

самого себя, до полного погружения в бесшумный праздник одиночества.

И смотришь пристально на дерево, и взгляда оторвать не можешь. Дивишься его способности саморазвиваться. В природе распознать порядок давно пора. Не говоря уж о траве! Вот уж диво дивное! Не могу спокойно смотреть на траву в солнечный день. Оглядываюсь по сторонам, чтобы никто не заметил моей странности: ложусь на землю в парке и разглядываю каждую былинку, покачивающуюся на нежном ветерке пред очами моими. Ведь и травинка есть примиренье с жизнью! Как хорошо на травке примиренье испытать!

Ах, желание счастья, просто навязчивая идея, можно даже сказать - «пунктик», преследует всех и каждого! Вот и Гоголь о том же, мол, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастья семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Грибоедов предельно краток на этот счёт, верно, счастлив там, где люди посмешнее. А несчастный Достоевский разве не мечтал о счастье, когда встал на колени среди тротуара, к счастью, на этот раз пустынного?!

Проснулся с радостным настроением. Бывает же такое! Жизнерадостный - ещё говорят про таких с усмешкой. Не поддаётся никакому анализу утреннее состояние радости. Встал легко. Всё делается легко. Просто всё само идёт в руки. И дела отскакивают с легкостью, как шарики пинг-понга. И дело не в погоде. Частенько такая радость подступает вне зависимости от солнца или ливня. Просто что-то щелкает в голове - и ты полон радости. Конечно, так бывает, когда опрокинешь с утра пораньше стопку. Это-то как раз и понятно. Но вот радость без стопки и без причины... Это что-то вне логики.

В августе Москва затихает, лишь трещат газонокосилки, скашивают траву, превращая полянки и обочины в ковры. Но вот окраинная улица резко поворачивает, уходя виражом в ни-

зину, где на довольно просторной полянке, за которой идёт изумрудный лесок, играет в золотистом свете всеми оттенками совершенно просёлочное разнотравье, разновысокое, с покачивающимися метёлками и зонтиками, с васильками и ромашками, с лютиками и львиным зевом. Воздух прозрачен и чист. Даже редкие машины не нарушают тишину летнего предвечерья. Трава не кошена, пчела и бабочка танцуют вальсики под писк комариков.

Сосредоточенность говорит сама за себя концентрацией внимания на одной точке. Это точно. Точка подобна навязчивой идее, от которой почти невозможно избавиться. Так уж устроен наш мозг, как прицепится к одной мысли, так и не отклеишь его от неё. Необходимо учиться каждый день убеганию от точки, то есть рассредоточиваться. Вот поэтому я частенько повторяю, что думать вредно, имея в виду, прежде всего, писателей. Когда не думаешь, то и сосредоточенности никакой нет, а есть свободное полотно взвихренной лексики.

Можно сказать решительно, что человеку, которому решительно всё равно, просто суждено быть решительным, хотя логические тонкости решительно не прикасаются к его характеру, а мысли, не понятые решительно им, растекаются туманом, и душа оказывается решительно пустой, отчего хочется провалиться, но проваливаться решительно некуда, поэтому он удаляется в решительном негодовании, но перед уходом решительно стучит кулаком по столу в каком-то небывалом решительном отчаянии, при этом строго требуя скорого и решительного ответа.

Ты ли идёшь в первый класс в 1953 году, спрашивал я себя, и не мог ясно ответить, я ли иду по улице маленьким солдатом в серой форме, во всём сером, в серой гимнастерке, в серых брюках и даже в серой фуражке с фибровым чёрным козырьком. Я так и не понял, то был я, или кто-то другой. Теперь-то, оглядываясь, понимаю, что и меня хотели сделать сереньким, чтобы я был, как все, в централизованном соподчинении сереньким. И была такая реальная серость вокруг, что станови-

лось страшновато. Но реальность со временем превратилась в ирреальность. Одуванчики времени.

Заблестели лужи на тротуарах. Вот чего нам не хватало. С лужами как-то спокойнее на душе. После обильного дождя везде сухо, и на мостовой, и на газонах. Лужи только на тротуарах. Их так специально делают впадинами и ямами, чтобы пешеходы не спешили, тормозили и могли вдосталь налюбоваться лужами. Особенно, конечно, греет душу мысль о скором превращении луж в ледяные зеркала, потому что они блестят много ярче, чем обыкновенные лужи. В лужах самое прекрасное то, что в них можно смотреться, как в зеркала. А вот поблещивающий ледок, после акробатического падения на нём, поскользнувшись, не отражает так, как лужи, наши лица.

РЕЦЕПТЫ

Мне доставляет большое удовольствие преодолевать усталость. Я заметил, что чем интенсивнее я работаю, тем меньше устаю. Что же здесь удивительного? Семьдесят оборотов вокруг земли моё сердце без усталости качает кровь. Сама земля без усталости вращается вокруг солнца. Само солнце не устает ежедневно ходить надо мной. Без усталости ежеминутно выскакивают из женского лона подобные мне биокомпьютеры. Без усталости пишется книга вечности. Да и сама вечность никогда не устает.

Библиотека представляет мой сон. Мысли записаны и живут в библиотеке где «полки книг возносятся стенами, и по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы...» Вся моя жизнь размещена в библиотеке. Библиотека включает все книги. Каждая книга есть богатство библиотеки. Пишущий библиотекарь прочел её и стал подобен Богу. Библиотека включает все смыслы. Библиотека безгранична и вечна. Библиотека равна Библии. Библия равна библиотеке. Я постоянно корю себя за то, что не могу постичь всю её.

Застолье, песни, хохот, пляски. Запомним это день, навсегда запомним! Прокрутились отведённое по кругу время, и запоминателей нет, и дня того, который хотели запомнить, нет. А как кричали, чокаясь стаканами, что будет что вспомнить! А что, собственно, вспоминать? Очень хочется найти ответ на этот вопрос, но спросить не у кого. Говорят, Мишка один, может, хоть что-то помнит. А где этот Мишка, который крутил магнитофон? Да он в 72 году в Америку эмигрировал. Но можно у него и в Америке спросить про тот день, который хотели вспомнить. Так Мишка в Америке в 94 году умер. Будет что вспомнить...

Они завяли, но нужно пробудить их к жизни. Если это произошло с цветами в горшочках на подоконнике, то нужно просто полить их. Но ведь не цветы завяли, а люди. Идут с по-

тухшим взглядом, обречённо, не включая воображение, которое и есть цветущая жизнь. Ты можешь жизнь ругать, но можешь и хвалить. Воображение и есть торжество похвалы жизни, когда всё кажется прекрасным, и ты в этой красоте прекрасен. Недаром Достоевский воскликнул, что красота спасёт мир! Я добавляю: воображение делает жизнь прекрасной!

Славно гулять бесцельно. Осенние мягкие дни манят меня то в тот переулок, то в этот, словно я оказываюсь в детстве, когда только узнавал город. Всё тогда было впервые. И я почти попадаю в то наивное чувство удивления. Открывается новый взгляд, не фиксируемый памятью. Так живут дети и животные, без магнитофона, всегда впервые. Я как бы удаляю с жесткого диска памяти все записи. Забываю название этого переулочка, удивлённозираю на домик с белыми колоннами в глубине осеннего сада. И ликую ребячески от чудесного открытия. Всегда впервые.

В искусстве важна, как в медицине, дозировка. Чехов выписывал рецепты, и мечтал о новых формах. Дозировка, иначе - рецептуализм. Нужны новые формы! В искусстве нужен Феллини, то есть свободная от всяческих штампов и предрассудков мысль! Так работает художник Александр Трифонов, вдохновлённый Гийомом Аполлинером, Александром Тимофеевским, Казимиром Малевичем, Эдуардом Штейнбергом, Осипом Мандельштамом, Евгением Блажеевским, Францем Кафкой и Иеронимом Босхом. Время произведения всегда в некотором конфликте со временем современника. В целом это борьба за бессмертие художественного произведения, за преодоление реального времени.

Я на ходу пишу новый рассказ и одновременно вхожу на кладбище. Могильщик подметает асфальт у своей будки. Подхожу к нему, кашляю. «Нельзя ли у вас принять для бодрости?» - спрашиваю я, при этом приподнимая полу куртки и доставая из кармана брюк бутылку водки, 0,7. Бородатый мужик серьёзно так это: «А чего ж нельзя!» Бросает метлу в угол и бодро

идёт в будку. Под столом на боку дремлет лохматый черно-бурый пес, похожий на медведя. Вот именно, не «что», а «как». Потому что в этом «как» содержится и «что». Гостеприимство. Над кладбищем разливается песня.

Как-то Гоголь сказал, как-то Фрейд сказал, как-то Пастернак сказал, как-то Кафка сказал, как-то Нагибин сказал, как-то Фолкнер сказал, как-то Хемингуэй сказал, как-то Грибоедов сказал, как-то Кант сказал, как-то Тургенев сказал, как-то Байрон сказал, как-то Бунин сказал, как-то Мандельштам сказал, как-то Флоренский сказал, как-то Тютчев сказал, как-то Достоевский сказал, как-то Борхес сказал, как-то Лесков сказал, как-то Хайдеггер сказал, как-то Зощенко сказал, как-то Данте сказал, как-то Булгаков сказал, как-то Ахматова сказала, как-то Сэлинджер сказал, как-то Чехов сказал, как-то Гомер пропел... А ты-то что сказал? А что я? Я - как все!

Всегда предпочитал книги без картинок, даже в детстве, когда мне предлагали картинки, я тянулся к Иммануилу Канту. Так уж мои мозги устроены: подавай мне буквы и только буквы! Это и понятно. Любители картинок не могут написать и пару слов. Это я образно говорю. Поэтому этим любителям, не умеющим писать и читать, даже в храмах пошли навстречу, обвешав стены иконами. Умные же читают Библию. Неграмотные смотрят картинки. Вот и идёт непримиримая война между грамотными и неграмотными. Картиночники писателей называют графоманами. Грамотные, в силу воспитанности, картинки (особенно в ФБ) смиренно и молча игнорируют.

Я лежал на диване с книгой в свете ночной лампы из-за головы. Кот сидел у меня на груди и урчал, изредка бодая меня в подбородок. Я читал. После подбородка кот стал бодать книгу, чтобы я перестал читать и поговорил с ним. Как только я отстранил книгу, кот стал восторженно месить передними лапками с едва выпущенными коготками мою грудь. Мне стало смешно ощущать увесистость кота, блаженно работающего лапками и громко урчащего. Я вновь принялся за книгу, немало побеспокоив голову кота переплётом. Кот плавно соско-

чил с груди и вытянулся вдоль меня, лапками продолжая месить теперь уже мой бок.

Когда ты вдруг входишь в состояние полного незнания, то испытываешь настоящее блаженство. Всё вокруг прекрасно и неизвестно. Никаких вопросов и, тем более, никаких ответов. Неотягощенность восхищает. Лёгкость поднимает до состояния планирующего птичьего пёрышка, то вниз, то вверх. Полнейшая беззаботность. Никаких там наворотов с причинно-следственной связью. Никаких сопоставлений и умозаключений. Нечего взвешивать и анализировать. Нет ничего. Безвидность. Начало времён.

Торопиться было некуда, да и не хотелось прерывать наслаждение прогулкой. Тем более, слева широко и неспешно текла река, переливаясь то золотисто-синей, то розоватой рябью, с мягким шелестом лаская булыжный берег, а справа бежал к небу лесистый склон. Я попал в другой город, оставаясь в прежнем. День был тих и светел, хотя открытого солнца не было. Я долго шёл по новому берегу, мощеному серой брусчаткой, желая дойти до его конца. В геометрической перспективе дорожка превращалась в точку. Но я упорно преодолевал значительное расстояние, пока не упёрся в калитку в длинном заборе, который сбегал с холма прямо в реку. Я попробовал чисто машинально толкнуть калитку, но внезапно на мою руку легли тонкие женские пальцы: «Не надо».

В сильном ветре спускаюсь по ступеням и слышу жалобные звуки скрипки в холодном, темном и сыром, осеннем, вечернем подземном переходе, непременно в сыром, когда у скрипача бледно-зеленое болезненное лицо. Очень длинный полутёмный подземный переход. И одинокий скрипач где-то стоит. Никого нет, я только спустился, а сквозняк доносит до моего слуха нервные звуки. Я представляю под ногами раскрытый для подаяния футляр от скрипки. Другого конца бесконечного тоннеля не видно. Иду, иду, но скрипача не вижу. Это сама подземная осень играет пронзительно.

От реки идите. И не отрекайтесь, что каждым куском попрекают. Река ничего не изрекает, только молча, как красавица, блистательно обнажает серебряную грудь свою. Шибко ли река идёт? А не подстрекайте, пусть сама себе указания даёт. Тотто и оно, что перекачивает воду с места на место, всё что-то предрекает, а что, понять не могу. Буду контрекарировать. Чего-чего? Оспаривать. Вы что, «Идиота» не читали? Там прямо сказано, что в русском языке нет ни одного русского слова. Не может быть! Даже очень может. Откуда ж тогда все слова? От Бога.

Осень. Всё как положено: жёлтые листья, низкое солнце, короткий день. Скоро и дня не будет. Темнота разольётся повсюду. Смотрю на зажигающиеся окна домов. Очень красиво. Синие, оранжевые, зелёные. Смотрю на свой дом, на свои окна. Высоко. Темно. И вдруг одно моё окно загорается. Волнуюсь. Дома никого нет. Спешу в подъезд, поднимаюсь на лифте. Кто там может быть? Вхожу. Кот с горящими круглыми глазами стоит на высокой спинке кресла на задних лапках, вытянувшись во весь рост, и усердно колотит коготками передней лапки по свисающему шарикю на конце шнура выключателя.

Ночи в сентябре холодные, правда, стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Кажется, второго сентября день был теплый и тихий. Да я и сам такой же, весельчак или хмурен, как сентябрь в начальных числах. Бывает, конечно, в ясный сентябрьский день, перед вечером, выйдешь прогуляться без зонта, а тучи тут как тут. Но несмотря на холодную и ветреную сентябрьскую погоду, иду с совершенно открытой головой. В одну сентябрьскую светлую и теплую ночь лежал я в стогу и смотрел на звёзды. Вот бы это возобновилось в нынешнем сентябре и продолжалось всю жизнь.

А потом я просто пошёл на улицу, ни о чём не думая, обращая внимание на сущие пустяки, вроде того, задрав голову, что стоя скворцов сидела на проводе между домами на высоте семнадцатого этажа. Вот это да, подумал я. И чего это я вдруг подумал. Я даже не подумал, а увидел этих бойких птичек на

проводе, в рядок. Пройдя какое-то незначительное расстояние, услышал шум над головой, и вся скворчиная стая опустилась на газон под деревом возле того места, где находился я. Это я, взгляну вниз с высоты проводов, заметил их, конечно.

Слишком много, слишком мало, слишком быстро, слишком умно, слишком глупо, слишком осторожно, слишком храбро, слишком требовательно, слишком безразлично, слишком властно, слишком либерально, слишком просто, слишком сложно, слишком сладко, слишком кисло, слишком красиво, слишком уродливо, слишком театрально, слишком натурально, слишком реалистично, слишком абстрактно, слишком поверхностно, слишком глубоко, слишком часто, слишком редко... Ко всему подходит «слишком», и самого «слишком» слишком.

В темноте ко мне подошел человек с не горящей во рту сигаретой и с бездействующей зажигалкой. Кончилось топливо. Конечно, спички тоже кончаются, но всегда видно, сколько их в коробке, которым приятно потрясти, как погремушкой перед ребёнком, чтобы его успокоить, а в зажигалке топливо не просматривается, и не погремишь ею для успокоения новорожденного. Я достал из кармана коробок, потряс его, наслаждаясь постукиванием спичек, извлёк одну, чиркнул. Спичка в темноте вспыхнула, осветив благодарное лицо курильщика, со смаком прикурившего и сказавшего: «Всё, перехожу на спички!» - и с этими словами швырнул пустую зажигалку в кусты.

Чехов в 1901 году в ответном письме Бунину пишет, что чувствует старость. Это в сорок лет! Конечно, мы детально знаем обстоятельства здоровья Чехова, но старость в сорок лет... Это всё по части функционирования тела, которое было дано слову «Чехов», телу, которое вывело на чистую воду свою душу, которой нет возраста, которая живёт бесконечно, поражая объёмом и глубиной написанного. Невольно вспоминается Мандельштам: «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим, за радость тихую дышать и жить, кого, скажите мне, благодарить?!» Срок функционирования стан-

дартного тела и время жизни души, выраженной в Слове, совершенно разные вещи.

Хочется гулять с самим собой, как волна волнуется с волной, в парках и садах я хожу с собой, как волна, от людей стороной. Сердце расточительно во всём - жар его безбрежен, невесом в парках и садах в тихой стороне кровью буковок бьётся во мне.

Хороших дней стремительно течение, да и плохие дни летят стрелой, и даже с Таратутой мчатся пулей, как будто нет у дней конкретной цели, едва родившись, сразу стать лучом, поэтому не надо сожалений, не стоит горевать о днях утекших, мы их не повторим в известном смысле, поскольку оставляет нас навечно лишь магия гусяного пера.

Вечерний свет в театре тихих улиц. Там за домами где-то отблеск солнца размыто шепчет розовым теплом. По зелени дерев прошёлся охрой московский дворник, ставший живописцем, в Нью-Йорке выставяющий холсты. Плетётся диалог из междометий. Начала и концы нам не подвластны.

Сказанное улетучивается, записанное остаётся. Записанное придаёт собственной душе основательность. Тот, кто это произведение написал, давно исчез телом, но духом жив... Почему-тогда, когда я говорю о теле, многие это тело воспринимают без чела (головы), говоря, что когда в челе (голове) наступает помутнение, то и тело идёт под откос. Чело (голова) есть составная часть биокомпьютерного серийного одинакового существа, которое мы так и называем: «теловек (человек)». Устройство такое, почти как телевизор. Поэтому людьми становятся не тела (с челом-головой), а слова. Например, слова: «Достоевский», «Тимофеевский», «Данте», «Таратута», «Державин», «Широков», «Шопенгауэр»...

У них дети, ничем не отличающиеся от всех прочих родившихся, становились Толстыми. Особенно много Толстых стало среди существ женского пола. Куда ни посмотришь, все Толстые. Но какие-то не те Толстые, а другие Толстые, которых и в прошлом было столько, что сами Толстые путались, кто от кого

появился на свет, чтобы быть записанными Толстыми. Тут сам Лев Николаевич топнул сапожком, борода затряслась, высоким своим голосом воскликнул: «Развелось тут Толстых, без Льва не узнают. Этот сталинский выкормыш со своим "Хлебом" всё время под ногами крутится, псевдоним ему нужно было брать, а сидит памятником на Никитской. Развелось двойников! Толстой один - я, Лев с «Войной и миром!»»

Как подумаешь о наваждении всезнающих с подвешенным языком умов, стремящихся ежесекундно удивить мир блеском своих суждений, так сразу хочется спрятаться под стол, как это делал поэт Николай Глазков: «Я на мир взираю из-под столика, век двадцатый - век необычайный. Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней!» Гул умных голосов одурманивает, и все говорят сразу на любую тему, решают любую проблему, но, как водится, гвоздя забить не могут.

Ты давно уже пишешь? Очень давно, года с 15. Двадцатого века? Смеётся. Нет, с этого, с 2015 года. А чего ж не продолжаешь писать, вроде бы у тебя уже кое-что начинает получаться? Да ну её, эту писанину! Надоело. Зря, говорю, я вот, к примеру, пишу с 1956 года и, представь себе, не надоело. Делает круглыми глаза, говорит, его родителей тогда ещё не было на свете! Да, время! Молодость! Была ты или нет? Как риторически хорошо звучит этот вопрос в устах Михаила Козакова в «Покровских воротах».

Прозрачное утро звенит в синеве, оттуда туда проплывает вода, зеркальное солнце согрелось в окне, ты ей говоришь, и она тебе да, земля прислонилась щекою ко мне, причиной всему новых встреч череда, разрезан рисунок рекой по канве, ты знаешь, любовь как всегда молода!

Улыбалась ты, кто ты? Кто ты, милая моя? Все в тебе пленительно, милой! Красотою ты меня сразу покорила. Хороший автор ведёт своих героев к красоте, не заботясь о сюжете, поскольку художеству не нужна точность, а нужна красота, доставляющая удовольствие, и его волнует только мелодика текста, красота сочленения слов, вызывающих в душе музыку, ко-

торую не замечаешь, но она разлита повсюду, и ты не в состоянии выбраться из симфонии произведения, длящегося почти бесконечно...

Мраморными тяжелыми плитами, тёмными и светлыми, выложен орнамент широкого покатога спуска от угла книжного магазина «Москва» с Тверской на Пушкинскую, то бишь ныне Большую Дмитровку, как раз к массивному серому зданию Совета Федерации, где в 90-х года был Дом прессы, в котором размещались многочисленные бумажные издания того времени и где я частенько бывал у друзей. Так вот по этому царственному величественному спуску я шёл величественно, с прямой спиной, вскинув голову, один, в полнейшем одиночестве среди бела дня, и как я ни оглядывался, не обнаружил ни единой души. Думалось, подстроили, узнали, мол, Кувалдин идёт, и всех вымели.

Иду, а за спиной слышу укоризненные перешёптывания про себя, мол, какой-нибудь заезжий чудака, вот так, да ты постой, постой, чудака, уж не чуда ли ждут какого-нибудь невероятного от меня, ведь чудаки для того и есть на свете, чтобы совершать чудеса, вот чудака-то, меня уже привыкли считать за чудака, а я и есть такой чудака, каким меня воспринимают, конечно, человек я странный, не как все, с чудинкой, но странность и чудачество дают мне возможность дышать воздухом небывалой свободы в тексте, в котором я и живу.

Да, Саше Чутко - 70! Помню, сидим мы эдак на крылечке в Кисельном переулке на солнышке и читаем Константина Сергеевича вслух, «Мою жизнь в искусстве». Да, в юности далекой с Чутко в обнимку шли гулять. И на московских тротуарах блатные песни распевали. И с нами шагали Володя Высоцкий с гитарой, и Гена Ялович, длинный тощий. Качалась вниз к Неглинке пара. Там шел синий троллейбус, последний, случайный, в который мы садились на ходу...

Большая редкость увидеть ныне женщину в шляпке. Но когда увидишь, то восхитишься, как будто вернёшься лет на шестьдесят назад, в детство, когда почти все женщины из ин-

теллигентной московской среды носили шляпки. А некоторые даже с вуалями. И эта женщина была в чёрной шляпке с небольшими аккуратными полями и черным шёлковым бантом сбоку, почти незаметным. И губы у женщины были алые, а глаза синие. Как будто дальше слышу я: «И веют древними поверьями её упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука...»

«Никогда не возвращайся в прежние места...» Только то, что записано, то и останется. «Никогда не возвращайся в прежние места...» Герой и героиня расстались и не могут вернуться друг к другу, в те места, где они когда-то гуляли вдвоем и где у них была любовь. «Никогда не возвращайся в прежние места...» Эти строки может отнести к себе каждый человек. Потому что у каждого человека есть места, куда он хотел бы вернуться и найти там то, что потерял. Но надо идти дальше, отсекая от себя своё прошлое... Шпаликов со мною шагает по Москве. «А я иду, шагаю по Москве»... Я люблю шагать по Москве, и с детства прошагал её вдоль и поперек. Так сочинял свои фильмы Геннадий Шпаликов. Глоток живой улицы. Материальная культура трагична и губительна. Всё превратится в песок. Я изо дня в день долблю: только Слово остаётся. «Никогда не возвращайся в прежние места...»

Каждый день экзамен, волнуешься, спешишь, молчишь, зубришь, не успеваешь, а вдруг да проспишь, нет так жить нельзя, перед кем ты собираешься отчитываться, никого вокруг, а ты готовишь единственно правильный ответ, или бесчисленный неправильный, но тоже ответ, кто тебя постоянно экзаменует, легко ответить: жизнь, но что такое жизнь, твоё существования от начала до конца, от альфы до омеги, слишком простенько, а ты есть ты, или ты есть он, тащи впопыхах билет и думай.

Настроение диктует погрузиться в глубину невидимых существ. Так хочется побывать там, где никто не был, даже я сам никогда не бывал. И в этот момент уже ощущаешь, что ложное становится истинным, зло превращается в добро, тишина начинает кричать, ненависть преображается в любовь. Ты попада-

ешь во власть неразрывных единств энергии невидимого, перетекающей из одного сосуда в другой.

Смерть дана тебе персонально с самого начала. И все попытки продлить жизнь до бесконечности походят на пьяницу, присосавшегося к бутылке и не желающего отрываться от неё. Повторить! Наивные геронтологи! Нужно вовремя уходить со сцены. Человечество - это проволока во времени, по которой идет ток жизни, где каждый человек атом, взаимозаменяемый. Или, что гораздо понятнее, Бог - оригинал, человек - тираж. Если человеку обеспечить бессмертие (что невозможно в физике, но возможно в метафизике, в Слове, поэтому писатели не умирают, и Достоевский живее всех живых), то у него отпадут все сексуальные функции, способность к репродуцированию себе подобных. А Бог есть любовь, секс, совокупление. Смерть есть секс.

Я всегда в своих произведениях почти вплотную подхожу к поэзии, но никогда на её поле не вступаю. Это та поэзия, которая не есть стихосложение. Стихосложение 99, 9 процентов современных стихослагателей вообще не имеет отношения к поэзии. Поэзия прозы заключается в тончайших моих собственных вкусовых особенностях текста, когда такт не позволяет мне допускать на страницы пошлость, известные ходы, избитые приемы, знакомую географию, линейное мышление. Моё мышление рецептуально, знаково. Поэзия прозы заключается в постоянной новизне всех компонентов.

ТЕЛО НА СОЛОМЕ

Поселились здесь люди навечно, надо полагать. А меня всё куда-то гонят и гонят строчки. Куда меня судьба гонит? Спросить не у кого. Все при делах. Помню, я маленький был, но уже кое-что соображал, сидел на китайской стене и наблюдал за выносом тела товарища Сталина из Колонного зала. На днях прошёл мимо этих дверей. Дом маленький, двери крохотные. Никто не кричит, не плачет. Забыли товарища Сталина. А тогда один очевидец сказал, вернувшись с похорон: «Будет что поведать внукам!»

Кончился сентябрь, неужели когда-нибудь будет новый, пролетел август, просвистел июль, а уж об остальных не помню в ожидании нового июля, но прежде, конечно, жду апреля, такого синего-синего, как море под чистым небом. Хорошо жить в постоянном ожидании. Всё время ждём, волнуемся. Без ожидания вообще нет ничего на свете. В этом отношении, конечно, лучшее ожидание на свидании. Смотришь по сторонам, а вот она и выныривает из-под снега. И снег, и она так неожиданны, как будто впервые их видишь. Но лучше всего спел Евгений Бачурин «В ожидании вишен».

Пока нет паровоза, вагоны стоят, некоторые на путях, намеваясь прицепиться к паровозу и следовать со всеми удобствами к счастливой жизни, другие и вовсе покоятся в тупиках, но тоже не теряют надежды, что и к ним подойдет паровоз, то есть такой целеустремлённый и деятельный человек, который потянет за собою вагоны счастливой мечты. Вот почему к гениальным людям липнут безликие толпы.

Если хочешь быть счастливым, то запрети при тебе всяческие разговоры на бытовые и физиологические темы. Только посмотрите на этих людей! Они постоянно едят. Вот только входят в автобус, как тут же начинают что-нибудь есть. А в метро?! Сплошное кафе или столовая на колесах?! Пьют пиво, едят чебуреки, бросают на пол банки и бутылки. Причем жую-

щих каждый божий день, да и не один раз в день, а по три раза, а то и по четыре. Теперь каждое второе тело стало столь объемно, что занимает в метро сразу два места. А если намеревается влезть в одно свободное, то выжимает остальных, как пробку из бутылки. Как приятно встречаться с человеком, который с порога начинает разговор о Жане Бодрийяре, ассоциируя его с Жилем Делёзом и нашим Александром Жолковским. Душа начинает петь!

Между людьми всегда существует дистанция, иногда даже такая, что, живя в одном времени и в одном месте, не сталкиваются никогда и даже не знают о существовании друг друга, а другие знают, но держатся на известной дистанции, из этого вытекает то, что вообще подпускать близко кого-либо не следует, даже родных и близких, вот именно «близких» близко не подпускать, в противном случае они начинают лезть в душу.

Мнимые и сладкие мечты присущи существу, живущему вне книг, не способному мыслить, поэтому и вдохновляют его только мечты. Что же наиболее полно характеризует этих людей? А вот что: стремление догнать свою собственную тень! Они в полной мере верят в приметы и следуют всяческим предсказаниям и, особенно, толкованиям снов. Подобные существа в этом смысле не живут, а спят, хотя и сама жизнь их есть сон. И поучают всех с умным видом, как надо жить, и всем делают замечания. Они даже не догадываются, что следование приметам и снам есть добровольное заключение.

Дождь, гнилая осенняя изморозь, мелкий дождь дробил в стёкла, шёл дождь, ночь была тёмная, дождь скоро пройдёт, пред рассветом шёл дождь, тут поднялся проливной дождь, дождь надвигается, надвинулись со всех сторон страшные тучи, ударил гром, и дождь хлынул, сейчас дождь идёт, на дворе дождь и темень, шёл дождь и снег разом, вот, наконец, дождался человек, чтоб в жизненном снегу оставить след.

Долгие и великие смерти так изматывают людей, что они теряют рассудок, гроб с «нетленным» телом носят по городу, возят на автомобилях или на артиллерийских лафетах, пока

вся страна и её окрестности не обольются слезами, пока не объявят конец света, когда страдания превысят точку кипения и все сразу поймут, что этого «титана» ни в коем случае нельзя закапывать в землю, что его должны видеть всегда и все, и поклонятся ему, и следовать указанным телом путём, поэтому устанавливают гроб навечно в фараоновой пирамиде и нескончаемый человеческий поток, сняв шапки, струится через подземелье к новой жизни.

Думая о своём театре, Ялович даже не догадывался, что свой театр - это прежде всего материально-финансовая часть. Завидую «Современнику», студиицы не могли оценить истинно хозяйственную смекалку Олега Ефремова, подцепившего свою художественную идею к государственному бюджету. Денежки с неба не падают!

Фридрих Ницше написал: «Заблестать через триста лет - моя жажда славы». Я иду ещё дальше, говоря: «Моя слава придёт через пятьсот лет!» Так как мы оба - он и я - юмористы, то люди, не читавшие Ницше, сильно раздражаются, они не хотят, чтобы я был в сиянии славы даже через 500 лет, они желают меня сделать таким же маленьким, как они сами, не умеющим верстать книги и издавать их, не умеющим делать свои сайты в интернете, не умеющим писать каждый день, не умеющим ничего, воспринимают мою сентенцию всерьёз.

Эта осень тоже будет золотой, такой же отчеканенной штемпелем поэта на монетном дворе стихосложения, как и два века назад, как и два века вперёд, на меньшее достоинство, чем золотая, осень не соглашается, другие металлические сравнения ей как бы не к лицу, хотя выражение лица у неё частенько бывает медным, а то и латунным, вот и поэтизируешь медно-латунные пейзажи до золотого достоинства, имея в виду курсы валют на межбанковской валютной бирже, подсчитывая вознаграждение по высшему коммерческому разряду, не подозревая, что осень постепенно уходит от финансовой зависимости.

Октябрь, как книга с золотым обрезом. Дуновение ветерка бросает на зеркальные лужи золотые монеты листвы. Блестят

золотом стеклянные небоскрёбы над золотой Москвой-рекой. Небо исполнилось сиянием золота. В косом золотистом луче проплывают золото-красные облака. Ослепляет золото монастырских куполов в осеннем небе. Повсюду над городом разлит золотой свет. Прохладный золотой воздух ласкает щёки. Золотыми буквами пишется октябрь.

«Книжный сад» - это издательство одного человека, писателя Юрия Кувалдина. Юрий Кувалдин - это «Книжный сад» плюс «Наша улица», без сотрудников, без редколлегий, свободное дело свободного человека, единственный пример в истории отечественной и мировой литературы.

По коридору в полумраке, где ведра и велосипеды висят по стенам, тихой тенью я шёл невидимо к окошку, едва белевшему вдаль, но удалялся с каждым шагом во тьмы безвидность, в пустоту, я удалялся очень долго, на ощупь двигаясь во мраке, гремя цепями и замками, я очень долго слепо шёл своей судьбе наперекор, вся жизнь есть тёмный коридор, ведущий к свету.

Не хочется быстро идти, красота октября останавливает, деревья изумляют красотой, красота разлита в небе, там оттенок, здесь прямой цвет, там полутон, глаз не успевает насладиться одним, как невольно перескакивает на другой цвет в этот живописный период стремительного перехода от тепла к холоду, когда щеки покраснелись, как листья, когда воздух пьянит россыпью яблок под ногами, когда скворцы невероятной стаей кружат над твоей головой, прощаясь в 2017 году.

Огромная площадь с круговым движением транспорта, в центре столь же огромный парк, внутри которого по кругу мощена круговая же дорожка, идущая вдоль глухого забора, поэтому я только догадываюсь, что это парк, и я иду почему-то по часовой стрелке, являясь сам этой часовой стрелкой, вернее, минутной, иду, косясь одним глазом на забор, ища калитку или ворота, в общем, надеюсь выбраться из кругового вращения, но все мои усилия тщетны, стрелке нет выхода из часового механизма атома, в котором электрон обречён вращаться вокруг ядра.

И всё требует подбора слов. Что это стоит вдалеке? Надо подыскать определение. То есть определить существительное, которое с такого расстояния трудно конкретизировать. Подхожу ближе. Всё вокруг уже успело оголиться, э это нечто стоит себе, предлагая издалёка спутать его с чем-то или с кем-то. Вглядываюсь, перебирая в уме слова. Да это обыкновенный куст калины с не опавшими ещё листьями, пожухлыми, как обрывки ржавого железа. Издали куст и напоминал нечто без названия. Так и хожу, мысля словами, а не предметами, которые без слов просто не существуют.

Любимов жестом артистической руки с тонкими пальцами указывает, куда встать Высоцкому, откуда выйти Золотухину. Любимов невидим. Он за кадром. От него уходили "советского воспитания актеры", потому что не смогли выдержать такого давления. Говорили: "Он деспот, а актеры у него - пешки". Спектакль проскакивает, как выпад на рапире Пастернака, в одно действие, за час с небольшим, раз и всё... Пожалуйте спросить: "Карету? Мне? Карету..." Форма держит мир. В сущности, нет никакого содержания, потому что форма и есть содержание. Юрий Любимов - это Юрий Любимов.

Негодование большинством людей выражается в крике. Куда ни глянешь, всюду кричат, машут руками, негодуют, втюхивают друг другу свои «кистины». Таким же чувством негодования обладают и люди интеллигентные, но в отличие от большинства они умеют сдерживать звуковую реакцию, принуждают себя к молчанию, негодуя пылко и яростно про себя. Великое свойство управлять собою даётся с невероятным трудом, почти ежедневными тренировками. А ведь дело-то, кажется, в сущем пустяке - не озвучивать свои переживания.

Сорвалось невзначай с языка, что хороший человек тем и хорош, что всё делает невзначай, причём, это сначала как бы невзначай мелькнуло в уме, поэтому тёр себе лоб, и, странное дело, как-то невзначай, вдруг и почти сама собой явилась фраза о хорошем человеке, как будто я сам за такового себя не числю, и сделалось это с обеих сторон как-то невзначай и вза-

имно, молча, как бы невзначай, или, лучше сказать, выдвигал иногда на вид, что невзначай должен внезапно, как бы невзначай, вспомнить свою оценку хорошего человека, который в силу воспитанности всегда и при любых обстоятельствах хорошо делает людям как бы невзначай.

Посмотрите в окошко первого этажа крепкого домика в переулке, за цветущими пурпуром геранями сразу увидите сидящую красавицу с солнечной причёской позапрошлого века, с блюдцем в тонкой руке у золотистого самовара, с глазами влажными от неведомого счастья, и рядом сидящего в позе копилки котика...

Двор школы был монастырским, хотя монастырь ликвидировали большевики, но стены продолжали стоять, без куполов, приспособленные под склады и мастерские, а сама школа помещалась в бывшей академии, теперь же школы здесь нет, вновь работает монастырь, золотятся купола, и посетители ставят свечи, чтобы ещё раз убедиться в том, что всё идёт по закону маятника, то просвещение первенствует, то всё на свете заливают лавой безумия управляемая вертикалью власти чернь.

О чём поём? Да отпеваем. Мы отпеваем всё вокруг. Родился друг, поёт и тает, как летний снег, как зимний луг. Поют в казармах и в бараках, поют на свадьбах и в кустах, отдаю последнюю рубаху, чтобы тепели в пух и в прах. Ложится страх на кровь и пепел, вздыхает прошлое дымком. Твой лик зеркальный тих и светел, и певчим сызмальства знаком.

Я живу в тексте, поэтому по телефону не разговариваю. И это многих, живущих в жизни, раздражает. Что-то не так, вы мне позвоните и объясните, почему не так, может быть, я сделал что-то не так, ведь, поймите, без информации я дальше жить не смогу, но звонка нет и получасового разговора по телефону нет, и что произошло неясно и невозможно спать спокойно, поэтому не спалось, ведь не удалось выяснять причину недовольства, и вообще, когда начинаешь что-то выяснять, поддаваясь извечной мнительности и подозрительности, а те-

бе не отвечают, то приходишь в бешенство, почему тебе не подчиняются и не звонят, почему кто-то что-то не так понял из того, что ты сказал, поэтому просто необходимо позвонить и поговорить по телефону. Позвоните Достоевскому!

Ресницы, брови, ушка завиток, лицо знакомо знанием о знаке, глазам придам осмысленную нежность, значением в котором спрятан путь, улыбочивым губам значенье страсти, преобразённый мир души инако, создам портрет, который мне приятен, поймёшь не сразу, а когда-нибудь, но больше никому и никогда.

Как рождается роман? А вот так. Вечно нуждающийся в деньгах Достоевский ходит по ростовщикам, которые тогда плодились в геометрической прогрессии, куда ни плюнь, везде они, на каждом углу, как ныне банки. Под заклад дадим кредит, а потом удавим. Газеты каждый день писали об этих «крово-пийцах». Достоевский постоянно пользовался услугами ростовщиков. То отнесёт булавку золотую в виде "Рака" за 10 р. сер. проц. 5 к. с 2 апреля 1865 г. по 2 февраля 1866 (19 м<ес>) = 15 р. сер., то часы с цепью за 38 р. проц. 5 к. с 15 октября 1865 г. {В этот день Достоевский вернулся из-за границы.} по 15 февраля (4 м<ес>) = 45 р. 70 к., то ватное пальто за 10 р. сер. проц. 5 к. с 20 мая 1865 г. по 20 февраля 1866 г. (9 м<ес>) = 14 р. 50 к. и так далее, многожды. Подумаешь о топоре, когда закладываешь собственные вещи! Несите скорее свои деньги в банк, ведь никогда назад их не получите, но, возможно, сыграете роль Раскольникова.

Человек без пустяков жить не может. Конечно, сначала какой-нибудь пустяк кажется важнейшим событием в жизни. Например, женитьба. И чтобы запомнилась на всю жизнь, расписывались во Дворце бракосочетания, центральном, с именитыми свидетелями, а потом пир на весь мир, со свадебным генералом и эстрадной певицей. Шуму было на всю Москву. Но через уже два года это событие превратилось в пустяк, а через десять лет и вовсе забылось, хотя тоже было много шума, скандалов, развод с разделом имущества. В общем, история, овчин-

ки выделанной не стоящая. Много разного ещё в жизни было, но всё это пустяки.

Если современного ведущего выгнать с телевидения, ни один ЖЭК не возьмет его водопроводчиком по причине его малой интеллигентности. Таково моё отношение к наемным приспособленцам прессы и литературы, которые и сейчас цепляются за должности в бывших советских все еще тлеющих изданиях. Будучи лишены должности, они превращаются в ничто, в пыль. Это я ещё очень мягко говорю о мракобесах, поскольку в литературе работает такой важнейший элемент - никогда не договаривать. Бывают мысли, которые бестактно договаривать до конца, ибо они каждому воспитанному человеку ясны.

Человек есть существо копирующее. Отсюда пристрастие к реализму. Скопировать избушку, скопировать березку. Реализм лишает возможности создания своей системы координат. Но выбравшиеся из-под гнёта реализма совершают истинные чудеса. В живописи Малевич на реализме поставил черный квадрат. В театре Любимов перевернул реальный мир. В кино Феллини положил конец линейному (реалистическому, сюжетному) мышлению. Не говорю уж о технике, когда после появления компьютеров и айфонов с патефонами реализм расписался в полной несостоятельности!

А семечки всё грызут. Как сядут с утра у подъезда, так до вечера и щёлкают. И всегда так было, с начала времён. Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пивших из горла пиво, лустеривших семечки, спавших, смеявшихся и переругивавшихся, я пошел к выходу, тоже покусывая семечки. В перелке у бывшей церкви на паперти толпились люди, покупая семечки. Навстречу попался бывший однокурсник. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но у меня были свои. На скамейках в скверике сидели бабы с семечками, и под ногами у них было черно от шелухи. Поглядев на них, я вытянул из кармана горстку, и принялся за семечки. На углу тоже семечки лущили. А там, видно, подвыпили и целуют-

ся, щелкают семечки, зубоскалят. Вкладчики у рухнувшего банка стояли на тротуаре, щелкали семечки и возмущались даром потраченным временем. Полицейский на углу сосредоточенно лузгал семечки.

Много раз замечал, что люди притягивают друг друга. Очень выразителен пример в метро. Все толпятся на конечной станции у первого вагона, чтобы сразу потом на своей станции помчаться на ленту эскалатора. Сажусь в третий пустой вагон лицом к платформе, чтобы никого напротив не видеть. Но нет, наивный я, впопыхах в закрывающиеся двери вскакивает женщина с сумками, стреляет глазами направо и налево по пустому вагону, и плюхается как раз напротив меня, чтобы я не платформы следующих станций рассматривал, а её упитанный физиогном.

Посмотришь на страдающего человека с видом сожаления, а он закачает головой, стыдя и негодуя, словно я его обидел, и мне это очень жаль, что не посмотрел на него как-нибудь иначе, ведь не достоин же он, как ему кажется, вечных сожалений, но, к сожалению, мне мало что было известно об этом человеке, которого случайно увидел и почувствовал что-то вроде сожаления, подумывая о том, что посмотрел на него со снисходительной улыбкой этого самого сожаления, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия, попросту если я когда и сожалел, что на меня самого глядели в этом смысле с сожалением, то не сожалел об этом.

Посыпалась снежная мука на мельнице вечности. Засвистел северный ветер, превращая день в метельный мрак. Я оказался в море осенней непогоды. Никаких картин, ночь среди бела дня. Мёртвым лучше, чем живым. А ещё лучше ещё не родившимся. Создадим новую жизнь в московской вьюге. А как её создадут? Бог подскажет!

Она этого не знала и не спешила домой, а он об этом её поспешно спросил, она же не обратила внимания, да и ладно, знаем же, что сегодня бегут к одной цели, спешат, сбивают друг друга с ног, надо было спешить разрушить замыслы дру-

гой стороны, и они спешат разочаровать на свой счет, да и она спешила в невинном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе, вот и он поспешил на голос, причём спешили засветло проехать, и тут же спешили запечатать письмо, понимая, что напрасно время тратят, им же нужно спешить, но всё же они спешили не потому, что боялись опоздать, а потому, что сами в себе чувствовали желание как можно скорее довести дело до конца, в спешке создать себе подобное спешащее существо.

На зелёном белое поблескивает. Воздух хладен, как во времена Достоевского. С каждым шагом прибавляется жизненного смысла, как во времена Данте. Свежесть ветерка поглаживает шею, отчего сердце горячее, вызывая приятную волну под ложечкой. Голова необыкновенно проясняется, поторапливая потоки мыслей, которые видятся мне отчётливо бегущими строчками по ясному небу, как во времена Гоголя. Мне остаётся только их запоминать, как во времена Мандельштама.

Я не понимаю, чем занимаются в жизни нетворческие люди. Понять не могу! Бросаются на стены? Нет, вроде бы утром бегут куда-то из дому на другой край Москвы отбывать номер на работе. На официальной работе обыватель расходует 5-10 процентов своей энергии, остальное уходит на перекуры, болтовню, кофе с бутербродами, и обеды. А после работы? Это именно они на берегу реки жарят шашлыки, пьют пиво в подворотнях и на бульваре, бесцельно слоняются по улицам, прилипая друг к другу. Ищут зрелищ в театрах, на стадионах, в кино... Человек - существо прилипаемое. Если вдруг нетворческий человек остается один, то он в страхе закрывает глаза и думает, что наступил конец света. Творчеством я называю только то, что делает человек по собственному изъявлению в свободное от работы время, и не получая за это деньги. Ибо я давно вывел формулу: там, где начинаются деньги, там кончается искусство. Деньги – большой диктатор, нежели редактор и цензор. Работа в театре, в кино и других коллективных производствах не является творчеством. Творчество сугубо инди-

видуально, потаенно. Вообще, творчество возможно только в писательстве.

Белое тело лежало на соломе, которой был устлан пол. Вокруг тела на коленях сидели женщины, обмывавшие тело, поднимавшие его руки, ноги, переворачивавшие тело то на один, то на другой бок. Кости тела через солому стучали об пол. Потом женщины усадили тело, голова которого с рыжей бородой и закрытыми глазами свесилась. «Держи ему руки!» - сказала одна из женщин. Другая прошептала: «Давай рубашку!..» Тело покачивалось из стороны в сторону, и нельзя было понять, что это тело создало в Слове бессмертного Фёдора Достоевского.

По бетонному бордюру Москвы-реки идут утки, за ними шагают чайки. Когда летит утка, то кажется, летит бочка, готовая вот-вот упасть, но не падает, только свистят крылья. У чайки очень короткое тело, и широкий размах крыльев. Чайки стойко парят над кормой белого трехпалубного теплохода. Ворона смотрит на них с усмешкой, прохаживаясь чуть поодаль, по травянистому бугорку. Золотисто-карий с отливами остроклювый скворец бегаёт туда-сюда в поисках червячков-паучков. Трясогузки трясут хвостами. Воробьи стайками перелетают с куста на куст. Так и в прозе должно быть разнообразие. Художественное. И с крыльями.

ФОРТОЧКА

Настроение имеет вес, иногда становясь таким тяжёлым, что его никак не поднять, но, не унывая, стараюсь всё-таки настроение приподнять, думая в этот момент о том, что не следовало бы его до этого опускать, но в то время оно показалось мне таким увесистым, что под его воздействием я согнулся в три погибели и упал вместе с настроением, после чего в голове мелькнула известная мысль о том, сколько энергии, воли, упорства нужно затратить, чтобы поднять настроение, подняться, потому что, кто не падал, тот не поднимался.

Бессознательно организовать лексический материал в видения с образным рядом - вот что такое художественная проза. Некоторые полагают, что бессознательное - это то, что передано генами от предшественников и само собой воплощается в тексте. Вне Слова бессознательного не существует. Юнг и Фрейд опирались на это понятие «бессознательное», чтобы оправдать своё неведение по поводу не наследственности Слова и напрямую связанной с ней души. Душа есть временное хранилище Слова (знака, который передает и всё остальное: картинку, звук, вкус, запах и... шестое чувство). Если в графин не налить воды, то он и будет пустым. Генетически наследуется только графин. Пустота. Таким пустым существом, которое может стать человеком, появляется на свет. Животным. Чтобы стать человеком, в графин необходимо налить воды.

Больше всего в жизни трудится женщина, основоположница жизни, её земля и вода. Как и женщина, гений трудится не покладая рук, всю жизнь от лона до ямы, развеивая миф, что гению в руки всё идет даром. Даром всё идет в руки дураку, который всё это проливает через решето глупости. Значит, гений - это непроливаемый сосуд интеллекта с восторженным сердцем. Женщина дает мужчине невиданное физиологическое удовольствие для того, чтобы он в невероятном труде создал новое произведение. Мудрая женщина умело подставля-

ет себя гению. Отдается так, что у того от восторга обладания из глаз искры сыплются! Удовольствие достигается через труд.

Все поют, и он поёт. За столом, с родственниками. Потом Сам вскоре стал подыгрывать себе на гитаре и петь со сцены в своей деревне. Голос соловьиный, не простой тенор, а какой-то заоблачный. Естественно, в Москву. И тоже в клубах. Голос лучше известных теноров, а его никто не знает. «Спой-ка нам что-нибудь!» - обращаются к нему, а он побегает из угла в угол, словно ища что-то, но не найдя, поёт невыразительную песню на немецком языке. Что это вдруг? А ему кажется это высшим проявлением вокала. Сразу далеко и не по-русски. Он попутно окончил немецкое отделение педвуза. Потом споёт неуклюжую песню собственного производства. Голос звонок, перекрывает качеством все известные голоса. А искусства нет. В чём дело? Нет ответа...

Невнятица сумбурных объяснений среди барачных улочек окраин. В заснеженной крапиве отдыхает человек. Деревни въехали в Москву с остатками лесных пожаров.

Я в это время окаянное,
Средь горя и макулатуры,
Не спал. В окне галдели пьяные,
Тянуло гарью из Шатуры.

Иди направо - там в овраге речушка плачет подо льдом. На-
лево - баржа на приколе с тяжёлым илистым песком.

И я, любивший разглагольствовать
И ставить многое на вид,
Тогда почувствовал, о Господи,
Что эта грязь во мне болит,

Что я, чужою раной раненный,
Не обвинитель, не судья -
Страданий страшные окраины,
Косая кромка бытия...

Во тьме непроглядной сквозь марево снега бредут, спотыкаясь, куда-то темные фигуры. Некоторые падают навзничь, то ли поскользываясь, то ли от пониженного атмосферного давления. Декабрь не давит, а калечит.

Удивился себе заспанному в зеркале, в темноте сопоставляя себя вчерашнего с собой нынешним, и замер от внезапной догадки, что я не есть я, и тут над моей головой засветилось окно с решеткой, я закрыл глаза, пытаюсь понять, где я, но тут же за спиной загремели ключи в замочной скважине и железная дверь со скрипом отворилась, окончательно выветривая меня из себя и возвращая всё к той же мысли у зеркала, пока изображение в нём окончательно не выветрилось.

Сама система жизни, сами условия жизни, её вечное повторение, изо дня в день одно и то же делают человека обывателем. Это мягкое слово «обыватель» не совсем точно выражает суть вопроса. А дело состоит в том, что человек есть животное. И функционирует как животное, с регулярной добычей пищи, с регулярными физиологическими отправлениями, включая божественные сексуальные. Вырваться из животной сущности не удастся никому, кроме писателей, живущих в тексте, не умирающих. Отсюда можно сделать вывод, что дальнейшая судьба человечества будет состоять в переходе от животной сущности к знаковой, бессмертной. Мы будем жить без животной своей части, без тела, за экраном монитора. Наше сознание проснетя через знак во всемирной паутине. И любовь будет знаковой.

На первый взгляд всё кажется обычным. Есть окна, есть дверь. Но, оглянувшись, я заметил, что дверь нарисована, и окна какие-то не такие. Когда перед домом стояла женщина в козынке и с тележкой, я дома не видел. Но как только женщина тяжело покатила свою тележку, я увидел дом. Я всего лишь шёл мимо по улице, не видя дома, а глядя на эту пожилую женщину с тележкой, которых очень много появилось в Москве. Они катят свои тележки в продуктовые магазины и на рынки, и покупают сразу много разных круп и овощей. Здесь я поймал

себя на том, что второй план почти всегда ускользает от взгляда. Когда женщина ушла, я подошел к двери, чтобы убедиться, что она нарисована, как это делается теперь повсеместно на задрапированных домах, подготовленных то ли к сносу, то ли к реставрации. Но, что удивительно, дверь в это мгновение ожила, отворилась наружу, и из двери вышла в сопровождении медперсонала в белых халатах счастливая молодая женщина, держа на руках запелёнатого ребенка. Я встряхнул головой, и прочитал табличку, которую до этого не заметил: «Родильный дом».

Культура создаёт эпохи, но только те, которые остались далеко позади и которые затаптывали в грязь толпы современников в структуре имперских диктаторов, приспособивавших всех и вся для своего несменяемого убогого правления, чтобы потом исчезнуть бесследно, дав в будущем светлую эпоху культуре.

Увидел себя на фотографии, внимательно стал рассматривать. Ну, чем я отличаюсь от других человек, пулемётной очередью выстреливающих в сеть свои портреты, причем, без подписи?! У меня есть нос. И это очень многозначно, когда пробежишь в тысячный раз по известным буквенным изображениям носа у нетленного автора. О глазах и говорить нечего. Уж глаза просто не слезают с произведений классиков, и не только. Рот вообще основа мироздания, так и просит что-нибудь пожевать с обильно накрытого стола. Уши тоже у меня есть, чтобы прислушиваться к шелесту букв. Вот и выставляю на всеобщее обозрение фотографию стандартного существа.

Играет приёмник. Передают классическую музыку, великолепную, под которую мне хорошо пишется. Слова сами ложатся на бумагу. Всё есть слова. Мир состоит из слов. То, что не обозначено словами, того просто нет, то не существует. Рождается ребенок - и его называют словом. Имя есть Слово. Слово есть имя. Слово есть Бог. Слово и есть настоящая жизнь. Звучит музыка. Чья? Вот если не узнаю, не успокоюсь. Вдруг приёмник замолк. Кого играли? Попробовал выключатель - свет

отключили. Я не узнал, чья это была музыка. Без названия, без имени. А уж исполнителей и вовсе определить в этом случае невозможно. Слово находится вне музыки, в стороне от музыки. Как и в стороне от человека находится Слово. Если музыка не названа Словом, то эта музыка не существует.

Пока, мой друг, ты функционален, пока не выработан твой ресурс, хотя ты взаимозаменяем, как компьютер, наслаждайся жизнью, но помни и о долге, потому что наслаждение без долга равняется мыльному пузырю, выпущенному младенцем, сразу ставшим взрослым мыльным пузырьём, стремящимся к наслаждению в совокуплении для создания нового пузыря, из которого тем не менее можно сделать личность, исполнив долг по загрузке этого нового существа Книгой.

Напишешь что-нибудь умное, так сразу спрашивают, мол, где ты это взял, не верю, а когда скажешь, что сам додумался, потому что всю жизнь думаешь, пишешь и думаешь, сверлишь слова до фундамента и утыкаешься в начало всех начал, которое создало и слово и тело, вот поэтому живой живому никогда ничего не докажет, а давно умершему телу поверят на все сто, для этого и придумано писательство, чтобы не спорить с многомиллионным современным Фомой Неверующим, а тихо писать том за томом о возникновении времён и загрузке Словом (и цифрой) бесконечно штампуемых известным образом безымянных тел.

Перечитай себя, мой друг, и ты поймешь, что жизнь равна минуте. В пределах символизма совершенно законна роза, действующая как солнце, не через метафору, а напрямую. Но и законность иногда, в чем парадокс, бывает незаконна. Идет постоянная оглядка на главное произведение: речь, говор горожанина и его реальный быт, ибо возникает угроза вернуться в добытие, где все есть, кроме речи, звука согласной, мелодии гласной, самой жизни, в искусстве называемой образом. Но, с другой стороны, если имя есть символ, а язык состоит из них, то все производные языка - чистейшей воды символизм. И вот здесь - возвращаясь - мы подошли к настоящести. Сим-

вол, читай - имя, слово - минуется нами с такой же легкостью, как настоящее, как сейчас, сию минуту. Быстрейшее прохождение через слово-символ к образу, не застревая на слове, возможно лишь совершенным знанием речевой материи, сплошь сотканной из слов-символов.

Люди не любят, когда ты устраиваешь вечеринки с выпивкой и песнями. Людям не нравится, когда ты устраиваешь вечера в ЦДЛ. Люди не выносят выхода твоей новой книги. Люди ненавидят тебя за то, что ты пишешь каждый день. Люди презирают тебя за то, что твой сын вышел в люди. Люди готовы убить тебя за то, что ты едешь на собственной иномарке. Люди готовы стереть тебя в порошок за то, что ты построил кирпичную дачу. Так что сиди тихо, не высывайся, не проводи никаких мероприятий, сожги в печке все свои книги, разведись с женой, отрекись от сына, отдай собственность детским садам, и растворись в равных тебе сперматозоидах. Вот тогда тебя полюбят остальные сперматозоиды!

Сначала я смеялся, спустя время, когда начал воспринимать жизнь всерьёз, разучился смеяться, но по здравому размышлению, по мере возмужания, стал смеяться уже непрерывно над жизненным смыслом, сводящимся к «теплому местечку», к пожизненному пребыванию на руководящей должности, к надёжной «крыше», к тому, что одобряется большинством, к немедленной реакции на то, что показывается по телевизору, к дружбе через финансовую поддержку, к регистрации брака для раздела имущества при немедленном разводе, и к прочему в том же духе, и сопоставив всё это, я уже не перестаю смеяться.

Бедное по словесному искусству сюжетное произведение годится разве что для одноразового прочтения, и наскоро изготавливается ловкачами попсы для извлечения дохода. А вещь, построенная по законам музыкальной поэзии (что не исключает подводное течение сюжета мысли, а не персонажей), абсолютно неисчерпаема. Информацией человек прибит к земле, только и делает что считает деньги и бежит по магази-

нам. Информация чужда искусству, потому что мастер говорит о мире невидимом и недоступном для телевизора и счётчиков.

Я бываю и убийственно ласков, и по-злему добр, и прямодушно изыскан, и природно интеллигентен, и филологически народен. Вот-вот, об этом постоянно думаю, например, у зимнего дерева, у которого не спрашиваю, желает ли оно превратиться в позорный столб, потому что факты декабря упрямы, оттого и голые. Да к тому же обледенелые, поблескивающие в вечерних сиреневых диодовых гирляндах, похожих на искрящиеся капли дождя. А вообще-то, жизненность писателя еще раз подчеркивает кладбище. Некоторым так и не удалось добраться до него, а некоторым, как, например, Грибоедову, - с большими трудами. Случались и грустные похороны. Такие были у Аполлона Григорьева. На них пришли его приятели - Страхов, Аверкиев, Достоевский, композитор Серов. За несколько дней до смерти Григорьева вызволила из долговой тюрьмы некая генеральша. И вот теперь на похоронах были его сожители по долговому отделению, напоминающие выходцев из царства теней. По дороге с Митрофаньевского кладбища зашли в кухмистерскую. Выпили водки. Помянули. Говорили о покойном. Произносили более или менее хмельные спичи. Дружбу с Григорьевым мало кто водил. При встрече предлагалось непременно отдать честь Бахусу...

Хорошо хорошим хорошеть, но не перехорашивать, в противном случае захорошеешь, а это уж известно, что значит. Немножко хорошего настроения достаточно для хорошего дня, потому что всё хорошо, когда хорошего понемножку, иначе просто беда, когда всё с избытком, особенно в настроении, которое, кажется, любит избыток, но спустя время мается от тоски и недомогания. И если хорошенько подумать, то от самого процесса думанья становится хорошо.

Художник бессмертен и одинок, но одиночества своего не замечает, потому что всегда трудится над сотворением себя, один уходит в одиночество, как Оден Уистен Хью: «Пусть речь

оставят лучшим, одиноким, кто писем ждет, или считает сроки, мы тоже, плача и смеясь, шумим, слова для тех, кто знает цену им», - и в этом он абсолютно счастлив, тогда как большинство несчастных, для которых одиночество невыносимо, следит за тем, что делают художники, и давятся от злобы и скуки.

Что хотел записать утром, днем забыл окончательно. Сижу и вспоминаю, что же я хотел записать сегодня. Потому что если ты не записал того, что утром хотел еще записать, то того и не существовало. Вот сердцевина писательства – написать. Не имеет значения, что написать. Главное написать. Потому что еще до тебя столько понаписали, что каждое слово весит несколько тонн умного содержания. Так что пиши слово за словом, что-нибудь и получится. Крутится в голове одно понятное для меня слово - «записать». Оно есть смысл и форма, и окончательная истина.

Стоит мне подумать только о чём-то, как это приобретает реальное воплощение, как и в этот раз, когда я шёл в одиночестве к метро, наслаждаясь тишиной, и хорошо было на душе, но оттенок мысли блеснул, что сейчас кто-то застучит каблуками сзади, я даже не оглянулся, и не прислушался, потому что это был лишь оттенок мысли, но сразу после оттенка застучал молоток по тротуару, и я догадался, что это быстро догоняет меня за спиной девушка на своих стальных каблуках, поэтому я остановился, давая дорогу спешащей, и точно, гвозди модных копыт били по асфальту так громко, что в ушах звенело, и так сильно, что искры высекались из асфальта.

Во встрече с соседями, с жильцами дома чувствуешь себя абсолютным идиотом, потому что они говорят о том, что только они видят в физическом мире, на измор берут пожеланиями крепкого здоровья, сообщениями о ценах в магазине, о том, что смотрели по ящику, о детях, о внуках, а когда я говорю, что видел Смердякова на Скотопрогонной улице, опускают глаза в асфальт, понимая, что им не удалось заманить меня в жизнь, что я их сейчас буду мучить метафизикой, Кантом, Ницше, Мандельштамом, о которых они слыхом не слыхивали, и не пони-

мают, зачем они нужны, и зачем я пишу книги, когда жизнь такая прекрасная, листочки зелененькие распускаются, скворцы прилетают, и новый надувной каток во дворе у станции метро «Борисово», которая, говорят, откроется в этом 2011 году, построили. Так и живем в параллельных реальностях.

Пишущему надобно всё время писать, а не отвлекаться на всякие жизненные пустяки, вроде хождения на службу, мытья посуды, выступлений на вечерах эстрадных устных поэтов, и прочая, а именно сидеть и писать, отвергнув множество советчиков из числа соседей, сослуживцев и школьных товарищей, с которыми вот уже 70-й год ритуально встречаешься, что неизбежно оказывается короче фразы, с её пунктуацией, набором слов, пауз, с периодами на полстраницы, но, главное, веришь в свои мысли, и чем они более абстрактны, тем ревностнее в них поверят зеваки.

Беречь и приумножать исчезающую день за днём жизнь для поддержания вечной жизни люди научились по книгам, и сочиняя свою собственную книгу в стороне от шума века, поскольку шум этот остановить невозможно, в этом смысле у писателя всё наоборот, все бегут, он сидит, все умирают, писатель смерти - скажу по-старинному - не и?метЪ, с окончанием «hEP» (бессмертен).

Прости, прощай, со всеми распрощайся, прости людей, простых и сложных, скажи «прощай» любому, кто б ни был, вся жизнь ведь состоит из одних прощаний, особенно тогда, когда их пробил час, вот так и говори при встречах мимолётных «простите», ты сам не виноват, что в жизнь вошёл лишь для того, чтоб говорить «прощай», без рассуждений дальних, да и тебя простят прощённые, поверь.

Человек чувствует себя связанным, хотя верёвками его никто не вязал, но тем не менее он связан, и называет себя несчастливым. Он связан рождением, работой, жилплощадью, языком, правопорядком, пропагандой, ценами на водку и прочая. Слишком быть связанным, конечно, нехорошо. В сущности, обнаруживается одно лишь смирение, даже при-

вычка. Нелегко это понимать. Он желает только, чтобы стать однажды умнее, утончённее, не выглядеть правильным. При этом ему не следует испытывать последствия поступков, которые фигурируют тогда, когда он пробивается к источнику связанности.

Что мне с собою делать, если следует оберегать сложившийся в глазах других людей мой образ, тогда необходимо прежде всего иметь совесть, которая потрясает меня и опрокидывает всё, что есть во мне, но нельзя связывать меня, и я чувствую, что кто-то всё время сдерживает меня, хотя понятно, что у меня есть степень терпения, о которой я догадываюсь, при этом улыбаюсь, поскольку больше всего такая восхитительная мысль о терпении трогает, и всё же хочется увидеть, если я сам того хочу, себя глазами другого человека, я же ведь только кое-что немножко в себе попридержу, но, сознаюсь, мне не терпится увидеть себя со стороны.

Во всём с тобой мы совпадём, пройдем дождём, растаем снегом, случайным вырастем побегом наперекор всему, что есть, большая честь лежать в снегу цветком, упавшим из букета, напоминая счастье лета в дождливый день на берегу реки, стремящейся к рассвету...

Куда ни бросишь взгляд, всюду столкновения, идут друг другу в лоб, не желая посторониться, и даже одна толпа идёт на другую, иначе, кажется, люди просто представить себе своё существование не могут, их всё время тянет к столкновению, хотя, к примеру, выйди в лес и иди чащобой, чтобы не встретить на тысячи километров великого леса ни души, так завоешь от невозможности с кем-нибудь столкнуться, но человек устроен так, что ему жизненно необходимы столкновения, просто тянет идти туда, где уже занято, чтобы столкнуть другого.

И призван я наполнить сосуд своей души страницами, холдными на ощупь, чтобы их перелистывали горячие сердца и сохранялись в них драгоценностями, но горько сознавать, что многим из них не достаёт поэтической учености, дабы выразить весеннюю прохладу пробуждения новой жизни и чтобы расце-

нить мудреную и забавную жизнь как бесконечное и прекрасное произведение.

Обычный трамвай идёт в обычный день по обычным рельсам от начальной остановки до конечной, чтобы там развернуться и следовать по тому же маршруту, так и в творчестве нужно уподобиться, метафорически говоря, трамваю, двигаясь всю жизнь, данную тебе для осуществления в книге, по рельсам избранного стиля, пополняя багаж произведений на каждой остановке, не отклоняясь ни влево, ни вправо, и в этом случае из тебя что-нибудь получится.

Если ты все тайны знаешь о себе, то другому бесполезно скрывать свои тайны, ты читаешь их насквозь через одежды и правила хорошего тона, но молчишь, поскольку в обществе принято скрываться и таить, не говорить никому, находиться только верхушкой айсберга на поверхности человеческого приличия, ибо всё что под водной, неприлично, зверино и божественно одновременно, вот и проживаем только какой-то частичкой разрешенного или принятого к публичности.

Село моё на склоне ясное и настроение чудесное, повсюду транспаранты красные, и лица у людей воскресные, глаза у девушек небесные, и у ребят такие ж честные, по биографиям все чистые, но чище чистого чекистские.

Всё светлое опозлить, всё пошлое возвысить: так шиворот-навыворот работает дошедшая до ручки убожества пропаганда. Кричат: он смотрит на Запад, низкопоклонник, он поклоняется Феллини, Форду, Гуглу, Нью-Йорку, Баху, и прочее в таком же духе кричат, вместо того, чтобы взять лопату и благоустраивать Шатуру, при этом копать глубоко, чтобы торфяники своим дымом не душили Москву, копать так, чтобы выветрился этот сталинский эпитет «низкопоклонник», чтобы признали абсолютное превосходство культуры над варварством и бандитизмом власти, поскольку преклоняться можно только перед тем, что вызывает глубокое уважение и восхищение и, более того, низкопоклонство, например, в храме в буквальном смысле слова означает преклонение перед Создателем.

Всё состоит из элементов, даже собственное тело, а чтобы оно крутилось и вертелось, элементарное синтезируется в сложное, и даже в сложносочинённое с придаточными предложениями, поэтому элементы варьируются в бесконечном сочетании, создавая этику и эстетику, камень и воздух, «Преступление и наказание» и «Критику чистого разума», и этот элементарный фейерверк тел и книг создаётся элементарно экспромтом: сел и написал.

Распределение себя по дням и по часам происходит автоматически, главное, в нашем деле не отклоняться от намеченного плана жизни, который дан тебе, но ты об этом не знаешь, вот в чём загадка бытия, быть для себя непостижимым и всё же требовать ответ от неподвластной силы жизни, которая саморазвилась в лице человека до осознания самое себя, дабы далее техносфера, оторвавшись от материи природной, познавала и воссоздавала меня в букве на мониторе вечности.

Деревья, травы, облака больные видят издалека, из окна белого облака, которое плывёт выше неба, откуда различимы лишь призраки вещей, точно такое же состояние, когда жара любит лёд, напоминая взгляд любимой кошки, глядящей на лежащего в кровати больного из окошка, тогда больному кажется глаз кошки взошедшей луной, оглядывающей всё вокруг с пристальностью потерявшего рассудок, который всегда одинок в своих мыслях и кошка бежит прочь из окошка через форточку мысли в заросли жизни.

НАЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ

Все поголовно смотрят на меня, но не видят, и в этом всё дело, о котором я слишком глубоко задумываюсь, почему, мол, меня не замечают практически нигде, особенно во время каких-нибудь собраний, я встаю и при полном свете люстр протискиваюсь по ряду к выходу, не наклоняясь, в полный рост, но на меня ноль внимания, как будто меня здесь нет и не было, а что уж говорить о театре, трамвае и стадионе, нет, не был, а в продмаге и подавно, хоть всю жизнь по два раза в день туда заходи за коньяком и шампанским, но ты не будешь замечен, вот что забавно.

Ритм шагов сначала диктует рифму, точную, оригинальную, смысловую, существительную или прилагательную, в падежах разнообразных, даже можно наречную, да и междометная не помешает, но только не глагольную, на которую рифмуют все стихослагатели от детского сада до пенсии, ссылаясь при этом на Пушкина, который сплошь и рядом рифмовал на глагол, ибо был первым, и глагольная рифма ему была не указ, поэтому те, кто учатся у Пушкина, ослеплены глагольным памятником Пушкину на Пушкинской площади, то есть расписываются в полном непонимании поэзии, в примитивизме, поскольку подражать памятнику, значит, быть банальным.

Объективности ради скажу субъективно, потому что, как ни крутись, объектив не объективен, тем более, в документальном кино, которое, якобы, опирается на документ, не подозревая, что документ не документален, поэтому и претендует на объективность, чего, в сущности, не делает высокая литература, лазерным лучом субъективности высверливая пространство до постижения шестого чувства подтекста, и предназначена не для коллективного просмотра для «отбивки денег», а для одиночек, которые и являются единственными и всеильными двигателями искусства, которое сразу умирает, как только начинаются деньги.

Я имею в виду впечатление после посещения чего уж не помню, хотя, когда шёл туда, думал совершенно иначе, ну и всё такое. Все куда-то ходят и посещают. В общем, я снова впал в неопределённость, потому что я не слышу внутреннего голоса, который бы мне подсказал, что именно я посещал, и всё такое. Как только этот голосок стал прорезываться, я сказал нет, потому что я буду работать, ну, и всё прочее. Может быть, это было совсем не так, и я этого не делаю, но пререкаться с внутренним голосом я не собирался, поскольку знаю, что спорить с ним бесполезно, да я и не спорю и всё такое, и вообще никогда не говорю грубые вещи и всё такое, при этом сам перед собой извинился и всё такое.

Внезапно становится слишком хорошо, безо всякой подготовки, но именно «слишком», когда впадаешь в состояние беспричинной эйфории, когда материал даётся легко и празднично, и ещё больше хочется жить, и всё вокруг пропадает, и время исчезает, и не понятна причина этого вдохновения, даже если однажды ты попытаешься распознать этот потрясающий огонь в груди, всё равно ничего не получится, и лучше уж этого дела вообще не касаться, не думать о том, как всё это приходит, иначе целая череда мыслей выбьет тебя из идеального состояния.

Нетерпеливые люди, завидуя успеху других, забывая о том, что те к нему шли всю жизнь, хотят немедленно получить от жизни то же самое и в том же количестве, а когда им дают от ворот поворот в силу их неподготовленности к данному успеху, то наливаются по самую макушку желчной злобой, из их пасти сыплются направо и налево угрозы и оскорбления, пока сами собой не стихают все эти негативные чувства с течением неумолимого времени, которое рано или поздно успокаивает всех и каждого, спокойно и просто.

Сквозь жизни узкое ушко ты пробиваешься к поэме вечности, как первый жёлтый одуванчик растёт неведомо откуда и для чего, таков удел всего, что вижу, поскольку тайна есть во всём, клубком катящимся по кругу орбит небесных, взаимодей-

ствую со всеми, чтоб быть собой на краткий срок в процессе сладостном и горьком.

В любви случайной и беспечной из зимней спячки выйдешь к лету, таков негласный уговор, дойдёшь до станции конечной из темноты навстречу свету, ночь приоткроет ласк простор, когда себя не знаешь толком, сон опьянит тебя опасный, в огне решительного сдвига любовь, закутанная шёлком, с непостижимостью прекрасной тебе откроется, как книга.

Примитивизм семейной любви маскируется совместной - мужа и жены - собственностью. Семейная любовь сковывается кандалами общей жилплощади. Элементарная необходимость сексуальных отправлений в силу такого устройства человека, который есть биологический объект, или животное, сажает секс в тюрьму экономики. Там где правит экономика, там убивается любовь. Брак должен заключаться только по одному пункту - правом на секс. Всё прочее есть договорная система между физическими и юридическими лицами. Экономическая зависимость не может быть предметом брака. Всякая государственная регистрация любовных отношений есть нарушение прав человека. Семья существует, пока есть любовь между мужчиной и женщиной, секс. С исчезновением секса семья умирает, и остается лишь одна сплошная экономика.

Читать стихи нужно монотонно, и читать так долго, чтобы от тебя не могли избавиться, хотя здесь было другое, а именно смысл уплывал, превращаясь в одно звучание голоса, что, собственно, и делало стихи поэзией, вот и надо было прийти и прямо сказать, что композиция прозвучит на одной ноте, чтобы очистить душу и сосредоточиться, и не торопиться, в любом случае почитатели поэзии на лету поймут все оттенки твоей ноты и признают ужасно музыкальным поэтом, при этом получив ни с чем не сравнимое удовольствие.

Я не могу остановиться, когда чувства опережают меня, что случается очень часто, потому что я очень восприимчив к любым психологическим колебаниям окружения. Это один из факторов моего творческого нерва, связанного невидимыми

нитями со всеми, и с каждым в отдельности. Когда двадцатисемилетний князь Лев Мышкин смотрит на окна своего ровесника Парфёна Рогожина, ему кажется, что занавеска шевельнулась, и на мгновение показалась черноволосая голова Рогожина. Вот это состояние постоянно преследует меня, мне кажется, что за мною наблюдают, даже ходят по пятам. Я останавливаюсь на улице, когда за спиной стучат шаги. Пропускаю надвигающуюся на меня фигуру. Так происходит и с текстом, который рождается во мне раньше самого текста, то есть, я хочу сказать, что я пишу на автопилоте, исходя из моей впечатлительности.

Но вот я читаю свой новый рассказ, входя во фразу, врасстая в слово, становлюсь буквой, движущей оттенок к новой краске, быстро сохнущей в каналах мозга. Ты еще до конца не воспринял потаённую энергию этой фразы, и вскользь по касательной бросаешь взгляд на удалившийся в будущее от тебя текст. Критик Станислав Рассадин, чтобы не переживать это опережающее движение текста, всегда начинал читать книгу с конца, чтобы отрубить в себе атавизмы детективной и иной другой дешевой литературы. Запомните, дешевая литература работает не на интерес, а на деньги, на «Букер», поэтому в ней главенствует сюжет и пистолет.

Набрать в рот воды, самой простенькой и прозрачной, необходимо каждому, кто испытывает словесное недержание, не в состоянии прекратить работу речевого аппарата с голосовыми связками, постоянно смыкающимися и размыкающимися, нарушая тишину природы и раздражая слух композиторов и поэтов, которые свободными рыбками счастья плавают под водой молчаливого вдохновения.

Вполне понятно, что мы мыслим даже тогда, когда сидим безмысленно, потому что необходимо огромное усилие операционной системы, чтобы обнаружить состояние отсутствия мыслей, иначе как бы мы могли понять, что мыслей в голове нет, ведь проще простого бездоказательно утверждать отсутствие чего-либо, когда это самое либо что наличествует в подтексте отсутствия.

Поздравляя великолепного стилиста Абрама Кормана с 7-летием пребывания в фейсбуке, я вместо завтрака пишу фразу и на ней хотел остановиться, но не тут-то было, поскольку сразу вспоминаешь, что ничего в этом и в том мире не останавливается, поэтому сама собой пишется вторая фраза, а за ней развёрнутая третья, потому что уже кажется, что если ты остановишься, то остановится сама земля, сойдет с круга и распадется до атомов, тут уже волосы встают дыбом, и само собой вырывается заключение: но я-то ведь нахожусь в этом атоме на неустанно вращающемся электроде.

Гражданин, живущий живой жизнью, нежный, важный, пружинный, невозможно сложный, жаркий, железный, желанный, отважный, безбрежный, тревожный, раздражал каждого дрожащего прохожего, похожего на гражданина, пожалуй, уж даже можно пожаловаться на блаженство окружающего життя между запряженными судорожными жерновами жизни служивыми проезжающими, жадно желая надёжного продолжения желаний в безбрежном бумажном книжном жизнеустройстве.

Жить системно удаётся очень малому количеству людей. Системно, значит, делать одно и то же в течение всей отпущенной свыше жизни, в нашем случае - всю жизнь сидеть на одном месте за столом и писать. Как!? Это ж тюрьма! - вскричат истошно любители жить в жизни, а не тексте. Вот тут и кроется загадка. Надо быть Достоевским, Львом Толстым, Иммануилом Кантом, чтобы всю жизнь «дудеть в одну дуду», славя Всевышнего новой записью в его нетленной Книге.

Снег с невероятной сосредоточенностью падает на землю, из которой пробивается, спустя время, росток, над которым парит невесомая бабочка, и уже вскоре умывается нектаром в устах цветка, с которого падает капелька на другую капельку и из раскрывшегося сиянием радости через известный интервал времени появляется маленький человечек, не подозревающий, что он создан из соединения бабочки со снегом, того самого невероятного соединения всех со всеми и каждого с каждым,

того самого единения, повторяющегося бесконечно на благо не прекращающейся никогда поэзии снега.

Земля раскинулась. Стол стоит. Человек лежит. Столб упал. Я сказал. Он промолчал. Тот услышал. Передал другому. Провода висят. Птицы летают. Обои клеят. Картину рисуют, а кому это не нравится, то они, конечно, картины пишут. Короче, глаголим о субъектах, объектах и прочих видимостях и невидимостях, сплетаемых в эшелоны слов, сказываем, или, по-научному, предикатим, почти как один другому возмущенно: что ты на меня бочку катишь?!

Средство становится целью, когда сама цель превращается в средство становления собственных поступков созидания самого себя, когда ты среди людей абсолютно свободен от всяческих предрассудков, понимая всю меру недоверия к выработанным нормам до тебя, и они покоятся в нескончаемом процессе существования твоей высокой деликатности, не принося никакого ущерба тем людям, которые ни шагу не сделают без предрассудков, находясь в крайней степени зависимости от суждений и мнений окружающих.

И всё это говорится, подробно и толково, чтобы показать всю стремительность появления лица на свет и мгновенное его исчезновение, причём, лица исчезают одно за другим, то того уже нет, то другого, и при этом стесняются сказать, что умер, а как-то жеманно говорят «ушёл», как будто сделали открытие, что люди смертны, как точно, понятно и просто говорит Валерий Роньшин: «Смерть заложена в нас изначально. Как печально...», потому что у каждого взгляда своё время, у тебя - едва до 100 лет дотянешь, а у земли-планеты миллион лет проскакивает как один день, или даже час, или, что страшнее, как одна секунда.

8 декабря 1947 года родился выдающийся писатель Леонид Юзефович. Навскидку открываешь любую книгу Леонида Юзефовича и видишь мастерски исполненную фразу, сочленённую в бегущий мыслью абзац, встраивающийся в насыщенный богатой лексикой текст, перелетающий из Перми в Москву, на-

пример, так: «Вошли двое - большеротая смуглая девушка и молодой человек в университетской тужурке, длиннорукий, с угреватым честным лицом и взглядом исподлобья. Иван Дмитриевич хорошо знал этот тип столичного студента: идеалист, бессребренник, за миллион муху не убьет, но из идейных соображений может перерезать глотку родной матери...», - текст, уносящийся из текущей жизни в бессмертное существование в Книге вечности.

Актёр покажет вам характер! Сидит в характере актер. С таким вздорным характером этот актёр и акта не сыграет, а всё равно будет торчат на сцене, с которой его трактором не стащишь, ведь он рассчитан лишь на акт, на одноактное использование, а всюду свой характер демонстрирует, особенно в телевизоре, куда ни ткнёшь - по всем каналам актёры, исполнители чужой воли, так и хочется крикнуть: «Автора!», но автор со своим мнением в наши дни актёров опасен, когда этих с характером актёров развелось, ну просто-таки тысячи - и на дне, и в Кремле, и все с непостижимым характером, и в каждом характере сидит актер.

Свет и тень достаточны для того, чтобы получилось изображение, а всевозможные цвета, используемые без вкуса, портят всё черно-белое дело, этим цыганским цветам недостаёт художественного начала и, наверняка, говорит о приверженности к ширпотребу, а не к искусству, впрочем, каждому своё, но с доверчивым сердцем человек весьма подвержен шумному и пёстрому, и боится эстетической профилактики, боится высокого искусства светотени, как боится родственников, которых ему приходится выносить в течение всей жизни.

13 декабря 2017 года исполнилось 80 лет доктору наук, поэту и искусствоведу Славе Лёну, участнику знаменитых семинаров философа Георгия Щедровицкого 80-90-х годов, систематизатору русской поэзии и искусства послесталинской эпохи. Слава Лён назвал это время Бронзовым веком, продолжающим Золотой век пушкинской поры и Серебряный век русской культуры начала XX века. В бездну метафизического простран-

ства летят чувства о непостижимости каузальности, или проще причинной взаимообусловленности событий во времени. Впрочем, именно эту каузальность академик рецептуализма Слава Лён отбрасывает за ненадобностью, поскольку рецептуализм ничему не подражает и ничего не отражает: искусство творится из искусства. Слава Лен детально разрабатывал арт-проект "Рецептуализм как большой стиль".

Вот стоит дерево. Если оно не освещено, то ничего не видно, и дерево не стоит. Стало быть, для того, чтобы увидеть дерево, нужен свет, не на само дерево свет, а на буквы: на букву «д», на букву «е», на букву «р»... Отсюда возникает слово «просвещение», это такое понятие, когда человек видит слова: «дерево», «листья», «дуб», «жёлуди» и т.д. Человек, который не понимает, что миром правит Слово, ничего не видит, хотя думает, что видит всё.

Странное всегда находится в стороне, потому оно и «странное», и о нём хочется умолчать, всё по той же причине странности, уйти подальше, непременно забыв, ибо в облике странности может появиться такая с чистым взором странность, что сделаешься сам таким странным, что будешь неведом сам себе, хотя кого-то это превращение, быть может, и восхитит, но тебя уж точно разочарует, и станет привычкой опасности преследования, которая без охоты, но пронзительно будет сверлить висок, эта извечная выжидательность чего-то такого странного, что полностью поглотит тебя, но сделается источником вдохновения.

Порой кажется, что каждый человек неуязвим в своей правоте, но вдруг однажды душа его открывает створки влечения к чему-то непонятному, и с наслаждением взмывает до самых высоких идеалов, ничего не говорящих окружающим, поэтому неизбежно в конце концов попадает в увлекающее параллельное существование, которое непременно разочаровывает коллег и почитателей, среди которых хоть и встречаются чудики, но на их долю такого взлёта от современников не наблюдается, пусть и ради собственного творчества, только если это не

отражается на других, а то контраст в перемене взглядов окружающих на тебя может привести к мании величия.

Тогда в преддверии Нового года в посылочный отдел было не протолкнуться. Люди стояли в очереди с фанерными ящиками, в которые набивали бог знает что, но до этого, чтобы начать упаковку, нужно было достать что-то вроде тушёнки или кружочков краковской колбасы, и всего такого в этом роде, в общем, сплошной дефицит, и всё это сложить в посылочный ящик, отправляемый из Москвы по деревням Советского Союза, где люди о подобных продуктах могли только мечтать, и об всём этом я вспомнил в супермаркете, полки которого ломаются «дефицитом» в ярких упаковках.

Всюду подобное и ничего в этом нет удивительного, потому что так уж устроен человек, что действует только так, как действуют другие, а этих других столько, что невозможно подсчитать варианты подобного, хотя каждый находится как бы на своём месте, скажем, в Нью-Йорке или в Москве, там и уподобляется, этот русскими словами живёт, тот английскими, но от перестановки языков сумма подобного не меняется, лишь тот ослабил уподобление, а этот усилил, при этом, конечно, нервничал, говорил себе десять раз, мол, будь собой, но равномерное движение во времени и не такого оригинала уподобит кому следует.

Творить - это значит переносить свою смертную биологическую сущность в бессмертную метафизическую. Человек есть знак, есть символ, есть дух, есть ангел, есть Бог. А те люди, все люди, которые умирают ежедневно и ежечасно, есть всего лишь животная часть человека, которая для многих является единственной.

А вот писатель бессердечен в общепринятом смысле слова. В отличие от поэта он перевоплощается в разные лица, забывает себя, буквально живет другую жизнь. О каком тут сердце можно говорить, когда он исполняет роль палача, допустим? Но высший нерв в нём пульсирует, поскольку в человеке есть, как и в Боге, написанном писателями, потому что Бог есть Сло-

во, есть всё, в том числе сам Бог и Дьявол. Если пишешь Дьявола, придай ему некоторые божественные черты. Если пишешь Бога, сделай так, чтобы он был живым, например, выпил бутылку на двоих в подворотне на улице Горького с Дмитрием Шостаковичем. Но в высшем смысле писатель сердечнее всех прочих.

Чтобы стать идолом, нужно перестать поклоняться другим. А это, практически, невозможно сделать, ибо идолов столько скопилось, что они давят человека со всех сторон. Всюду идо­лы. Одни стоят на трибуне при жизни, и, как только играют в ящик, сразу исчезают из памяти народной. Другие забили собою все письменные источники. И вот в тебе должна мельк­нуть искра - ты сам идол. Очень хорошее слово - «Идол!», или, яснее, Идеал! Когда ты это поймешь, нужно спрятаться подальше от людей и транслировать на сотни лет вперед свои мысли при помощи букв.

Остановить, запомнить, вернуться ещё раз - вот то, что сде­лало из животного человека. Способность вернуться к оста­новленному в знаке есть истинная цель человечества. Вот по­чему я постоянно повторяю, что устная речь смертна. Смертно всё, что не записано вне тела в знаке. Знак настолько много­значен, что мало кто знает, что помимо основных и других смыслов в нем спрятано имя Бога. Уберите слова отовсюду, и всё вокруг умрёт.

О писателе люди ничего не могут сказать, кроме того, какие у него глаза, какая куртка, какие ботинки. Это происходит от­того, что люди не читают. И если уж говорить о читателях, то только я прочитал всего себя от доски до доски, поэтому могу сделать вывод, что моё тело, как и то, что на него надето, ниче­го общего с писателем Юрием Кувалдиным не имеет.

С началом 90-х годов, в постреволюционный период, пере­стали писать «советские писатели». Потому что для них «писа­тельство» заключалось в деньгах, и ни в чем ином. А то что Фе­дору Достоевскому ныне не нужен гонорар, они как-то не за­думываются. Значит, книги Достоевского издаются и живут

для чего-то иного. Для чего? Существует сейчас в России колоссальная свобода книгоиздания, издания всего, чего не пожелаешь. Но борцам за справедливость этого не нужно. Им нужна борьба за деньги, вот и крутятся михалковы-поляковы у кормушки, расталкивая локтями всех прочих.

Художественные особенности текста должны превалировать над содержанием. Содержание - стрельнул, упал, догнал - поле примитивной попсы, озабоченной сбором денег с нетребовательного населения. В каждой новой вещи я стремился к постоянному восхождению по ступеням мастерства. То есть очень серьезно работал над формой. Я всегда помнил, что фраза должна становится все более напевной и простой, несмотря на то, что одновременно должна постоянно удлиняться. Вообще, в стиле писателя есть оптический обман для читателя. Простота достигается через сложность.

Когда художественное произведение возникает из ничего, тогда оно - настоящее, открывающее еще одну страницу подсознательной, подпольной сущности человека. Добираться до самых потаенных, запретных глубин может только писатель, отбросивший логику и прочие "науки", до него придуманные. Развернутость метафоры в действующий образ есть приближение к лику Господа, то есть к самому себе, ибо человек есть Слово, которое есть Бог, которого создал писатель.

КУДА И ВСЕ

Серебрится зимней ночью другой берег снежной полосой, которая даже светится сама по себе, как всегда светится в темноте снег, как будто художник провёл белилами от края до края горизонтального холста линию, сверху тяжело нависает чёрное небо, снизу недвижимо и дремуче чернеет не замерзающая в границах города река, и так всегда случайно увиденное в жизни переносится в текст вечности, становясь константой прекрасного.

Сию, помню, на ступеньках дачи Пастернака с Михаилом Козаковым, он и говорит, что актёрство - это рисунки на песке, я ему свою «Философию печали» дарю, Рассадина вспоминаем, он о Козакове хорошо писал, я о шедевре «Покровских ворот», Козаков смеётся, мол, задней левой ногой снимал, то-то, говорю, и гениально получилось, я и сам все свои вещи этой самой ногой пишу, он соглашается и дополняет, чтобы актёру сохраниться в вечности, необходимо писать книгу, то же самое я всем знакомым актёрам повторяю, даже такому оригиналу как Иннокентий Тарабара.

Незримая рука ведёт тебя по жизни единственной дорогой, и вспять не повернуть, и больше не мечтай, и больше не надейся, чтобы услышать шум своих глухих шагов по тихим переулкам, в которых за щелевыми впадинами глаз таится образ твой, такой, как воздух, не явный и не тайный, шагает по пятам, и ножницами режет твои дни, ведь ты на дне по дням прошелся, где всё позолочено, где головокружительный взлёт равняется нулю открытого окна вечером в глухой замаскированный рай, в который ты нетерпеливо стремишься, но откровенный голос ведущей той руки все время против.

Истинными являются лишь усилия по написанию великих книг, всё остальное тщетно, даже сама жизнь в жизни по правилам, унаследованным от таких же живших в жизни, не более и не менее, не усаживавших себя за стол дисциплинированно,

не получивших воспитание ума, а исключительно живших ради достатка в данный момент, так как эта важность жизни в жизни становилась стимулом для решения материальной задачи, которая и олицетворяла все ценности, все тенденции в сфере неудержимого стремления к богатству, тогда как живущие в тексте (на воде и хлебе) становятся великими книгами.

Самое прекрасное, что есть в жизни, так это влюблённость, которая наступает внезапно, все равно в каком возрасте, из неведомого доселе мира, смутным видением, тончайшим, как паутина, ощущением перехода из одного состояния, когда всё текло медленной, даже дремлющей размеренностью, в совершенно другое, в ощущение утреннего, божественного тумана, просвеченного солнцем, с болью целующим тебя в губы.

Из Померанцева переулка сворачиваю на заснеженную Остоженку, по которой выхожу на Зубовский бульвар, где в снежной метели сразу столбенею от вида летящих из-под эстакады с Крымского моста словно на меня одна краше другой три изумительные золотистые тройки в одинаковых расписанных алыми розами под лаковые шкатулки санях, с переливами колокольчиков, как это водится в столице, когда пир идёт на весь мир, когда румяные барышни снег сбивают с каблучков, когда на ходу опрокидывают чарки и закусывают расстегаями с сёмгой, когда самовары горят золотом в каждом окне, когда наши гуляют.

Проживающему буквой в книге на верхней полке между другими книгами, а человек есть буква в тексте вечности, не обязательно выходить на улицу, чтобы убедиться в неоконченной жизни, годящейся для исследования за право первенства среди собратьев, однако, огромная библиотека столь полна фигурами тайного существования, что невольно выскочишь иногда, часов не наблюдая, буквой со страницы и, в нарушение всех правил, под неумолкающий городской шум, пройдешься туда-сюда, чтобы подыскать чистую страницу и немедленно на неё прыгнуть, чтобы начать против всяких правил повесть собственной судьбы, ибо каждой букве дана отсрочка в её стрем-

лении начать новую книгу, размеренно и обстоятельно, в неустанном, подчас, нелепом преодолении пути.

С умилением многие вспоминают студенческие годы, особенно те люди, которые потом хорошо устроились в жизни, получили два ордена, полагая, что на этом их миссия выполнена, а тот, кто игнорировал службу и занимался отвлеченным, не относящимся к этой службе делом, сочинял книгу иносказательного бытия, стоит на полке между Францем Кафкой и Юрием Домбровским, вот два полюса и один разговор, вот все приготовления к тому, что жизнь прожить - не поле перейти, вот заявление о праве выхода из социума, вот захватывающая дух легенда о преуспевающих при жизни, и о торжествующих после смерти.

Истинная жизнь скрывается за кулисами, почти беззвучно, не требуя комплимента, или легких намёков на то, что всем всё известно, что делает человечество за кулисами, именно человечество и именно за кулисами, иначе бы, если бы человечество не делало того, что скрыто за кулисами, самого человечества бы не было, а так каждый унаследовал показную жизнь, руки по швам, шляпа, прямой корпус, и всё время в делах, подписывающий договоры, выслушивающий приговоры, увлечённо умножающий и складывающий, читающий монологи, вроде «быть или не быть» вступающий в диалоги, испытывающий тревогу, когда публикуют некрологи.

Настоящий писатель работает так, как рекомендовал в своих книгах Константин Сергеевич Станиславский, перевоплощаясь в своих героев. Писатель творит вдалеке «от веселых подруг». Его до поры до времени не замечают, как это было, скажем, с Андреем Платоновым. На поверхности болталась всякая шелупонь, как ныне болтаются вокруг чиновных временщиков дамы попсовых проектов, или группы бьющихся за премии. Говорят, что замалчивание есть самый сильный вид критики. Что ж, верно. Это означает, что тот писатель, на кого перестали нападать конкуренты, намного опередил своё время, доказывая очевидный факт, что у Бога нет ни времени, ни пространства.

В Москве темнеет в пять часов, лишь светится снежок, едва успев накрыть январь, чтоб стать календарём. Какая темень на часах в умах столетней тьмы! Спешит прохожий в прошлый век, где все застряли мы. Ну, что ж, иди, снежок, иди, и я иду себе, навстречу шлёпаю, дружок, не веку, а судьбе.

Сердце полно иллюзий, и даже в самом маленьком сердце живут иллюзии, потому что в человеке всё иллюзорно, хотя ему кажется, что всё реальнее настоящего, непоколебимо до константы, в этом заблуждении содержится сила могучих замыслов, овладевающих подростком, когда он думает о себе исключительно как о центре мира, выделенным экземпляром из ужасно бурлящей толпы, значительным индивидуумом с предназначением величайших свершений, но эскалатор жизни не тормозит, несёт его против воли дальше и, повзрослев, он намеренно глушит в себе эту иллюзию, подавленный более успешными центрами мира.

Но и тогда я думал иначе, однако для этого сначала нужно было научиться думать как все, нет, не те все со стадионов, из колонн демонстрантов, с улиц и площадей, а также из многоквартирных домов, а как другие, а именно классики мировой литературы, чтобы, спустя время, начать думать иначе, не по установленным правилам, и не просто думать, а привязать голову к руке, чтобы рука попевала записывать всё то, то творится в твоей голове, но иначе, чем в других великих книгах, которые только и следует читать, и через десятилетия заглянув в свои книги, ты убедишься, что в самом деле пишешь и думаешь иначе.

Куда все отправились, я не знал, но последовал за ними, и когда все пришли, то услышали то, что хотели услышать, и узнали того, кого хотели услышать, потому что это был именно тот человек, которого они всегда звали к себе, и чтобы они рассказали ему всё, что знают о нём, и он послал им приветствие, и они его выслушали, и всем думалось, что он говорил именно то, что все хотели услышать, вы ведь знаете, что каждый хочет услышать, то и слышит, надо только немного выждать.

Заснеженная лестница уходит каскадами вниз с обрыва, да так круто, что страшно на неё вступать, к тому же вблизи ни

единой живой души, лишь блестящие современные поручни подбадривают надёжностью, указывая почти слаломное направление, как раз в ту далёкую низину, где за металлическим штакетником забора поблескивают плиты аллеи, манят к себе строения в духе хайтек, то бишь кафе в светлых тонах, от которых исходит шашлычный дымок, и чтобы самому стать довольным, стоит только спуститься по этой лестнице.

Лет десять не бывал на том самом месте, где стоял флигель с палисадником, с цветущими высокими золотыми шарами, а кругом, оптом и в розницу, буйствовала любимица русской души крапива, но что за указ был, чтобы всё это заменить на однотипные новостройки, мне не понять, любящему одноэтажную Москву, а прочим неофитам на это наплевать, они в изобилии наводнили пухнущую на дрожжах столицу, и впредь не собираются останавливаться, словно всю шестую часть суши обуял приступ единения в одной точке, сроду не предназначенной для этого, и с непомерным ростом гостиничных номеров, превращающихся в личные апартаменты.

Думают, запомнят надолго, а получается, как глаза в зеркале, отошёл и забыл, сразу новую картинку увидел, и этой другой образностью мгновенно заслонил прежнюю, зеркальную, ведь память в странном устройстве мозга ничего долго не хранит, коли не вынес на внешний носитель, хотя бы на улицу, не саму по себе, а на борт трамвая в виде отображения облака, плывущего точно по расписанию, как часы, с трудом преодолевая подъём к кладбищу, где стройно маршируют в оградах памятники, повинувшись вращению колеса вечности, к которому подвешено на ниточке сознания тело, как колокольчик для звоночков, по трамвайной привычке.

Когда придёт отличная идея увидеть солнце в самый мрачный день, включи люстру посильнее ночью, отбрось с окна занавески, и позолоченное стекло станет для тебя ярче солнечного дня, как это было в тот летний месяц, когда ты за ручку водил по парку подружку, улучая момент для поцелуя или, по крайней мере, простого прикосновения щекой к щеке, как на

пороге жизни в детстве, в том-то и состоит вся мудрость, чтобы в течение дня или около того снова воссоздать намерение увидеть то, что никогда не увидят другие.

Бредень нужен для ловли рыбы. То же самое, что и сеть, или net, по-английски. Вот и Мандельштам говорит: «Ходят рыбы, рдея плавниками...». В блаженстве покоя надоедает каждый день включаться в работу, светиться монитором глаз, обнаруживая всё ту же ленту с картинками и с рецептами приготовления блюд от тех, кто прежде сидел на скамейках перед подъездами, а ныне пребывает в бреднях, то есть в сетях с приставкой «интер», то есть в «интербрее», или «соц», то есть в «соцбрее» или «фейс» с окончанием «книге», или просто в «лицокниге» и так далее, буком тебя о тейбл за это, не бойтесь слов, играйте буквами, и с запоздалой иронией тут же отвергайте свои домыслы, отбрасывайте очевидные факты, называемые событиями, которые со сладким умилением меняйте на интерактивный бредень сна.

Отсутствие даже мало-мальских материальных желаний, не говоря уж обо всех прочих желаниях материальных благ, есть признак счастья, ибо счастье состоит в отказе от материальных желаний, а тут накатывают на тебя, как морские волны, пожелания всего материального, в том числе, здоровья, (ни разу не слышал пожелания интеллектуального совершенствования!) постоянного здоровья, что уже сильно раздражает, как будто я бык в стойле, имея в виду, что в здоровом теле пребывает здоровый дух, что абсолютно противоречит практике торжества материализма, в котором нет не только духа, но одно животное здоровье, стремящееся к объединению в бесконтрольную всегда побеждающую безальтернативную казарменную вертикаль власти.

Ещё новее, свежее выглядит день ото дня памятник, он молодеет и умнеет не только с каждым днём, но и с каждым годом, с каждым десятилетием, с каждым веком, с каждым тысячелетием, и невероятный расцвет этот связан с величественным расположением на высоком холме над рекой, когда в су-

мерках золотится в небе нимбом его огромный купол, говоря всем и каждому, что вот я стою стоймя, единый и неделимый, памятником вечного воскресения.

Поучать можно только тогда, когда ты хочешь поправить настроение собутыльнику, в любом другом случае поучение делает тебя смешным, наивным, злым, со сдвигом. Как правило, поучают люди ограниченные. Они-то и делают всем замечания, они-то и учат всех жить. Это они объявляют войну всему миру, огораживают страну бетонными заборами с колючей проволокой, строят танки и ракеты. За это время Запад придумал компьютеры и мобильники, ибо не танки выигрывают войну, а компьютеры и средства связи. А интеллект вообще отвергает войну, замечания, и поучения. Нельзя делать людям замечания, иначе они перестанут с тобой здороваться, потому что на этом свете нет такого принципа, из-за которого стоило бы конфликтовать.

Владимир Короленко в воспоминаниях "Антон Павлович Чехов" писал: "...в "Русской мысли" появилась "Палата N 6" - произведение поразительное по захватывающей силе и глубине, с каким выражено в нем новое настроение Чехова, которое я назвал бы настроением второго периода. Оно совершенно определилось, и всем стала ясна неожиданная перемена: человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой, беззаботно веселый и остроумный, при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом".

Кстати говоря, в этих воспоминаниях о Чехове есть знаменитая сцена, которую я всегда привожу своим авторам, иллюстрируя мысль, что неважно о чем писать, важно как писать. То есть, проще говоря, форма и есть содержание, форма рождает содержание.

Короленко говорит о Чехове: "По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи.

- Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, - это оказалась пепельница, - поставил ее передо мною и сказал:

- Хотите - завтра будет рассказ... Заглавие "Пепельница".

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением..."

В "Палате N 6" Антон Чехов словно разворачивает перед нами в последовательности картин поговорку: врачу - излечися сам. И в том образе, который Чехов рисует, я узнаю его самого. В самом деле, доктор Андрей Ефимыч Рагин у него высок, как Чехов, мужиковат, как Чехов, с точно такой же бородкой, как у Чехова, намеревался поступать в духовную академию, и здесь близко, ибо отец муштровал Чехова и заставлял петь в церковном хоре... Совпадений очень много. Но главное совпадение - герой не врач, хотя врач по профессии, как Чехов, а философ, как Чехов. Писатель-философ! И вот эта фраза Чехова: "Распустили слух, что палату №6 будто бы стал посещать доктор", - для меня является ключевой, пророческой. У нас философов признают сумасшедшими и уничтожают!

Помер Сэлинджер. Именно так: помер. Потому что об этом теле уже все давным-давно позабыли. Как о теле Чехова. Которое везли из Баденвейлера в холодильнике для устриц. Потому что биологический Джером Сэлинджер умер уже давно. Такое же тело, по образу и подобию, как прочие плодящиеся тела одним и тем же способом. В дни 150-летия со дня рождения Антона Чехова. Собственно, Сэлинджер весь вышел из Чехова. На 92-м году помер. Юрий Любимов старше его на год, еще живет. Александр Солженицын моложе на год, уже умер. До чего же приятен русский язык. Умер, помер, скончался... Я - Колфилд, я - Чайка! Поэт Евгений Лесин является абсолютным слепком с героя романа Сэлинджера - Холдена Колфилда. Интересуется ли Женя, почему утки зимуют на Москве-реке в Братеево, а не улетают на юг, например, в Бутово?! Так я вижу.

Любопытно, Чехов умер в 44 года. Сэлинджер, примерно, в такие же лета бросил писать. Или перестал печататься. Говорят, что у него что-то осталось из написанного. Может быть, хотя я вряд ли надеюсь прочесть из него что-нибудь вроде таких шедевров как «Выше стропила, плотники» или «Голубой период де Домье-Смита», не говоря уже о «Над пропастью во ржи», над которым я хохотал и рыдал в свои семнадцать лет, недалеко от Большого Каретного. Сэлинджер, как и Чехов, писатель магический, плетущий свою паутину так искусно, что не замечаешь, как тебя затягивает его мир, созданный блестящим мастером виноватых взоров, перефразируя Мандельштама. Сэлинджер – это текст. Художественный. Вязкий, спонтанный, состоящий из сложных конструкций, модуляций, полутонов, пробелов.

Сказать честь по чести, самым правильным в жизни был путь абсурдный, когда ты исполнял роли противников всяческих правил, пространно объяснявших тебе, как быть для всех поголовно хорошим, с неизменным намерением счастья и достатка, и в эти несуразности подгоняли все видимые и тайные условия, связывая жизнь в суровую нить порядочности, когда равноценные возможности диктовала современная жизнь всем прочим гораздо активнее, нежели тебе, а ты, чуждый, улавливал лишь косвенное влияние извне, оставаясь всегда при своих.

Стоят столбы без проводов на расстоянии метров в пятнадцать, пока я иду от одного к другому, рождаются мысли, которые эти столбы связываю вместо проводов, то есть по мне перетекает ток от столба к столбу, особенно когда напряжение повышается, и я чувствую связь с невидимой электростанцией, дающей мне возможность совершать открытия, расшифровать происхождение этой невероятной проводимости от тела к духу, и давно уже замечено, что и я создан цифрами, а точнее, Словом (куда все знаки входят), и жизнь моя как проводника к неведомому туманному идеалу с достоинством мною переносится, и отрицать это глупо, ибо я и речи об этом не веду.

Остановился и не понял, почему я оказался здесь, хотя путь мой начался с того, что я открыл дверь пару минут назад, оказавшись на темной набережной, после чего сделал несколько шагов, поднял воротник куртки от сильного ветра, дувшего в спину, причём, я не воспринял этот порыв как погодную новость, ведь плохая погода для нас не внове, или что-то в этом роде, но рядом и вокруг не было ни души, лишь чей-то голос слышался с того берега, хотя этим вечером я не слышал других голосов, лишь ощущал руку на моём плече, и тут внезапно открылось окно.

Сам себя незаметно для себя гонишь с места на место. Прекрасный вид, заснеженный пруд. Стой и любуйся, но словно кто подгоняет, не терпится идти дальше. И так всю жизнь. Едва родился, как побежал. Хочется остановиться, даже остановить извечно убегающее мгновенье. Да куда там! И назад во времени не пойдёшь, даже если очень захочется. Лучше просто смириться с этой намертво вколоченной в тебя торопливостью, соглашаясь с мыслью, что лучше один раз увидеть, и бежать дальше. Единственная старость, несомненно, с трудом поддаётся этой склонности останавливать мгновенье, ввиду того, что скорость уже не та.

То, что регулируется, называется системой, поистине непостижимой, поскольку всё, что есть на белом свете, сплетено и соподчинено в системе, и тот, кто полагает, что существует вне системы, абсолютно ошибочен, и какое бы решение по выходу из неё или реформации системы не руководило тобой, дело это безнадежное, и сколько мнений ни исповедуют кругом, всё равно самым естественным образом ты пребываешь в системе, хотя кажется, что живёшь одиноко и сам по себе, но иногда созреваешь до того, что якобы без сомнения вся система содержится в тебе самом, и утверждение это подчёркивает твой вкус и хороший тон.

Прежде чем отвергать то, что тебе предлагается, подумай, а нужно ли тебе продолжать жить так, как ты жил до этого предложения. Это называется случай. И каждому смертному предлагается всегда в жизни что-то очень важное. Каждому выпадает случай, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Но боль-

шинство людей так и не реагирует на предложение. Они с очень умным видом сидят на скамейках у подъездов и до мельчайших подробностей обсуждают жильцов.

Часовым стоял в наряде, казалось бы, вчера, смотрел на тропинку, снежной веревочкой убегающую в сегодня, виделся себе настоящим мечтателем, вдосталь насладившимся поэзией армейской службы, на минутку вознесшимся в книжные выси, детским пальцем бегущим по строчкам, сквозь которые мудрая улыбка деда говорит, что ещё и не такие виды доведётся узреть в жизни, с блуждающим по стенам взглядом, который, как по бумажке, читает поминальный список всех бывших и не бывших здесь со звоном в каждой голове.

Если ты до сих пор не понял, что ты лишь копия и подобие оригинала, то ты ничего не понял в жизни, даже если у тебя целью жизни стало приобретение автомобиля и стояние в пробках из принципа, чтобы не ездить со всеми на метро (в автобусе, троллейбусе, трамвае), потому что ты особенный и уже прочитал букварь. Наиболее тупые покупают машину на всю жизнь, поэтому во дворе возводят назло всем гараж, ставят туда машину, и ходят в гараж, как на работу, протирают и смазывают машину, но никогда на ней не ездят, ибо жалко, а также расстилают на капоте газетку, раскладывают закуску, ставят бутылку и граненые стаканы, и выпивают с такими же целеустремленными гражданами.

Кажется, что ты еще можешь что-то очень хорошее сегодня написать, после того, как написал великолепный, по точности мысли и по художественности, абзац. Но нет! Не пиши после удачи сегодня больше ничего. Оставь назавтра то, что можешь написать еще сейчас. Оставляй назавтра, значить быть истинным художником, который ткёт свой ковер шаг за шагом каждый день.

ЯСНЕЕ

Ты видишь копию вчерашнего дня, чтобы ещё раз убедиться, что рассвело, что облака на месте, и даже когда их нет, то небо на месте и, что поразительно, солнце опять на месте, и темный вечер наступает и ты занимаешься, как и все прочие, делом, причём твоего отсутствия никто не замечает, потому что привыкли видеть фигуры, а твоей фигуры среди многих нет, и ты равнодушен к этому, но потом вспоминаешь, что твоя фигура и не нужна, ты ведь книга, и поэтому подолгу не встаешь из-за письменного стола.

С подопечным котом беседовал у магазина, предварительно угостив его деликатесными подушечками сухого корма, и тот, смачно похрустывая, слушал мои суждения о роли изображения в прозе, сопровождая всё это музыкальным урчанием, что меня чрезвычайно забавляло, потому что я видел, как благодарна пушистая душа, и я с удовольствием включился в этой странной обстановке во всё новые возможности текста, так бы с котом и толковали до закрытия магазина, если бы не терзания хвостатого после опустошения блюдца с прицелом на добавку, правда, длившегося недолго, потому что он, присев, принялся прилежно вылизывать свои лапки.

О хорошем настроении, собственно говоря, и рассуждать не приходится, поскольку наступает полная погружённость в себя, как это бывает в книгах, не имеет значения каких, просто это состояние объясняет непрерывно повторяющееся наслаждение в текущую минуту, когда несколько отпускает всяческая зависимость от чего бы то ни было, а время овладевает тобой настолько, что перестаёт быть.

Поподробнее хочется рассмотреть орнамент на мраморной лестнице, для этого только нужно крепко держаться за перила, одновременно в таком положении удобно выслушать аплодисменты после партии на рояле, как будто ты сам был подхвачен амфибрахией вальса, пропетого тебе на ухо, чтобы понять, что

в эти минуты ты был нетрезв, отчего из груди легко и напевно вырывается смех, шумно подхватываемый всеми заинтересованными лицами, находящимися здесь.

Перед началом всякого движения окидываешь взглядом участников, подыскивая среди них приятного собеседника, неважно, молодого или старика, ведь группой друзей не управляют, да и возраст не имеет значения, потому что мозг успешно грузится любыми сложностями высокого порядка с детства, поэтому интересно эмоциональное взаимодействие сторон по глубине вскрытия обсуждаемой проблемы, но отнюдь не по делению людей на друзей и врагов.

На фоне финала всегда присутствуют начала, потому что ничто никогда не останавливается, и всюду звучат, пусть сбивчиво, голоса новорожденных, и неорганично стонут финиширующие о жажде бессмертия только для своего тела, но увы, общий настрой до сути ясен, тела взаимозаменяемы сквозь сумрачную неоднократно предъявляемую в заявке несменяемости и незаменимости, установка на конечность экземпляра и бесконечные резервы появления всё новых и новых устройств, под названием «люди» - совершеннейших биокомпьютеров для разумной жизни, не подвергается сомнению, а сомневающиеся успешно учит история.

Люди слепыми ходят по миру, не зная и не понимая, кто они и откуда. Национальность прилепляют к телу, хотя тело никакого отношения к человеку не имеет, поскольку тело есть животное, и Родина у него - лоно матери, а не территория на Земном шаре. Национальность есть качество приобретаемое, а не врождённое, потому что при соединении, например, спермы «русского» отца с яйцеклеткой «китайской» матери, и отправке родившегося плода в Америку, получится «американец», ибо национальность продиктует преобладающий там английский язык. Пока национальность соединяют с кровью, до тех пор будет процветать империя и недоросли, обслуживающие её. Патриотам необходимо срочно сдать кровь на определение своей национальности.

Простак строит из камня, мудрецы строят из слов. Даже если биологическая жизнь на планете прекратится. Наступит другая форма жизни – в знаке, в Слове. Потому что бесконечность – это кольцо. Жизнь основана на удовольствии, на любви, на сексе, на такой восторженности, обожании, единстве наслаждения, что даже если их запретить, то все равно мужчина будет с женщиной и у них появится ребенок. Все языки мира произошли от одного языка, а этот язык от одного слова, которое есть табуированное имя Бога. В сущности, в мире существует всего один язык. Когда Ататюрк ввел в Турции латиницу, турецкий язык стал легко усваиваться европейцами. Если все языки мира записать латиницей, они будут очень сходны. Все языки мира – это диалекты единого божественного языка, начатого Моисеем по совету Яхве.

Вопреки традиционному взгляду я считаю, что добро и зло перемешаны в одном бокале, идут рука об руку. Поэтому я написал роман «Так говорил Заратустра», умышленно взяв заголовков у Ницше. Прежде чем нарисовать отца по прозвищу Заратустра, я должен был этот тип вдоль и поперек изучить, а этот тип очень характерен для нашей страны. Внешне он изломан, но в то же время он абсолютно гениален. В романе совершенно нестандартная ситуация. Герой строит карьеру без предрассудков, и взлетает к вершинам. Он рассуждает: а кто, если не я? И я так рассуждаю. Когда Горбачев разрешил кооперативы, я сразу побежал регистрировать свой кооператив, чтобы издать всё, что я написал, и тех авторов, которые мне по душе. Действовать на сцене жизни! А все сидели и чего-то ждали.

На звонок отреагировало испуганное лицо, появилось очень быстро в приоткрытых дверях, было интересно, не этому ли лицу звонят, а когда выяснилось, что не этому лицу, то оно озадаченно вскинуло свои круглые глаза к потолку, как бы не веря, неужели не ему, может быть, лицу вообще рано дергаться, но потом его осенило, что это звонил не телефон, а будильник, но почему-то в другой комнате, и что это за другое лицо возникло в дверях, как будто его, и оно было здесь и сразу там,

абсурд, ведь будильник лежал под подушкой, однако напоследок лицо одобрительно кивнуло, чтобы не портить впечатлительное раздвоения.

Я сегодня все утро читал газеты, думал, что это пишут курские помещики, но оказалось, что это сочинение Евгения Лесина: «Южную Осетию еще не признали, а там уже революция и война. Предвыборные агитации всех задолбали. Коробочка полным-полна. Сняли фильм «Высоцкий-наркоман». Скоро его покажут всем. Если ты в шесть еще не пьян, значит, напьешься в семь. Россия уверенно идет вперед. Впереди неопишущее счастье. Радуетесь российский народ, что у него замечательные власти». Придя на выборы, возьми бюллетень для голосования, зайди в кабину и съешь его. Потому что ты - инкогнито! Сегодняшний день есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я.

Один и одна с одними, в общем, полно народу, там и здесь и везде скапливаются понемногу, и растворяются, наподобие сахара в стакане воды, где люди - сахар, а вода - время, в котором обязательно нужно торопиться, когда каждый нервничает, глотает утренний кофе, возбуждая пустые извилины, дабы включались в системную обработку знаков, и потихоньку подгребали в лодке жизни к тому берегу, часто оглядываясь, зная, что возврата нет.

Ты сделал уверенный шаг, и никак иначе, чтобы твой приход насторожил коллег, то есть тех самых людей, чьи фотографии красуются на стенах, а вообще-то они простые служащие, причём, с всегда настороженными глазами, как бы чего не случилось, прикрываемыми дежурной улыбкой, когда даже лица не разглядеть, потому что испуганные глаза и эта глянцевая улыбка на все случаи жизни в любую минуту выручают, и они протягивают тебе руку, но работу с ними ты делать не будешь, потому что всё делаешь сам.

На поверхности почти всегда всё прекрасно, поскольку неважное прикрито, и в этом необычность поверхности, которую

зачем-то постоянно хотят разбить, как стеклянную витрину, и сразу охватывает беспокойство, сохранится ли сад, можно ли вообразить, что его вырубят, от этой мысли во всём чувствуется неудовлетворенность, как будто взгляд всё время ускользает, словно спешит за какими-то огнями, подступает замкнутость не от прямых, а от косвенных причин с неуемым желанием увидеть дно.

Люди идут навстречу, люди идут попутно, люди в метро, люди везде и всюду, но мы их не знаем и даже не желаем узнать, как будто идём среди деревьев, не замечая их, не интересуемся их названиями, а на деревьях не написано, что это за деревья, но и на людях не написано, кто они такие, но ведь изредка догадываемся, что они как-то обозначаются в документах, но людей этих такое количество, что замучаешься их как-то определять, да и нужно ли это делать, если ты сам себя не знаешь, и знать не желаешь.

По улице прогуливаешься не только ты, но и соседи, и все прочие, оживляющие текущий день, а то как же ещё, ведь улица без прохожих - не улица, а таких добровольных прохожих, идущих триумфальным шагом, вряд ли встретишь в сибирской тайге, где вообще нет и никогда не было людей, а тут, надо же, идут себе туда-сюда, и ничего, не здороваются, ещё бы, делать тебе, что ли, одолжение, а ты сплюснутый дождём со снегом месишь тротуар, милостиво пропуская женщин с колясками, и ежесекундно гармонично балансируешь руками, дабы не сесть в ледяную лужу.

Мысль существует только в слове, и только словами, фразами, текстом выражается. Когда к кому-то приходит «мысль», он говорит, что он не удостоверился в её реальности, только зеркальным отражением внезапно блеснула в солнечном луче. То есть в этом контексте мысль и есть этот зеркальный лучик, а не что-то подразумеваемое и не зафиксированное в слове. Отберите слово у человека, и он будет никто и звать никак. Этого люди никак не могут понять, и зубами держатся за клейма словесные, им прилепленные: Иванов, Петров, Сидоров. Даже не

вдумываются в значение этих слов. Но, очистив их даже от этих стереотипных названий, мы лишим их абсолютно какой-либо идентификации. Лежит бесшумно труп мужчины на людной улице без документов. Без Слова человек - труп.

Плохо, когда видишь неестественных людей, изображающих из себя властителей дум, и в это время говоришь себе, что вот сейчас незаметно выскочу из зала, чтобы не слышать эту протокольную муть, и сразу настроение улучшается, просто на душе становится отлично, и видел себя уже там, за дверью, где стоял и курил, и чувство облегчения разлилось в груди, ведь не сидеть же здесь ещё полчаса, исчезнуть с виду начисто, со скоростью бегущего на вокзале к тронувшемуся поезду, и странно, что и другие сидящие, опустив глаза, наслаждаются той же мыслью побега, но старательно хлопают, когда надо, делают лица подобострастными, словно иное выражение послужит поводом для исключения тебя из списка приближённых.

Ты опять оказался во власти никогда не стареющей ночи, ты блаженствуешь в тихом восторге от глубокой невиданной выси, и когда отблеск звёзд отразится в твоей памяти, чистой, как утро, и качнётся почти незаметно на речной переливчатой глади, то тогда насладишься полётом лёгкой ласточки прямо под солнцем, провожая её свежим взглядом, и поймёшь это чудо слиянья высших сил, беззаботно свободных, сочетание в одном тьмы и света, что и ты существо неземное.

Империя. Армия. Иногда кажется, что после наслаждения нужно отдавать силы долгу. Но разве человек кому-нибудь что-то должен? Империя делает тебя вечным должником. Это только в империях убеждают, что индивид всем своим существом обязан государству, должен на него работать по гроб жизни. Это великое заблуждение, поскольку вся предшествующая история говорит о том, что государство - это пустота для пожизненного обеспечения довольствием старшин, матросов и генералов. Армейский принцип, перенесенный на гражданское общество, делает жизнь примитивной и невыносимой.

Любое решение, принимаемое в обильных слезах, безвозвратно исчезает в дали дальней и даже на пышных похоронах не вспоминается, поскольку ты постоянно находишься в плену нового дня, как это происходит с животными, у которых в мозгу нет магнитофона, а идёт постоянная трансляция без записи, поэтому всегда и всё ты видишь впервые, и эту пелену не преодолеет упорное запоминание ушедшего, всё станет призрачным и даже не отметится в памяти какими-нибудь вехами, как не запоминаются цифры на памятниках, кто когда жил, и это исключительное беспмятство по цепочке передаётся от звена к звену.

За сценой грустные напевы, за днями дней проходят годы, на роли экстренные вводы, на авансцене королева, сама в себе святая дева, врачи слагают дамам оды, кулиса справа, выход слева, уносят чеховские воды под нестареющие своды ростками древнего посева потёмки призрачной свободы.

Уходящее светлое, приходящее ясное, цветик ласково к цветику лепится венчиком, детский голос на ушко выводит прекрасное, затихая чуть слышно небесным бубенчиком.

Множество повседневных забот отвлекают граждан от чтения, считающегося многими практичными людьми делом второстепенным, а то и просто бездельем, мол, ну, что ты уткнулся в книжку, занялся бы делом, ведь такая избыточная трата времени пользы не принесёт в неограниченном поле деятельности, и множество подобных версий существует против чтения, но совокупность которых сводится к торможению интеллектуального развития, явным признаком актуализации которого служит появление на всех руководящих постах и в телевизоре физиономий как наглядных фрагментов, говоря словами Мандельштама, «черноверхой массы», позиция которой сводится к тому, чтобы членить по карманам госбюджет, и стремиться к охвату населения казарменным соподчинением по плану, разработанному Иоанном Васильевичем.

Всё подобное подобно подобному, даже из последних впечатлений вчерашнее подобно сегодняшнему, и из этого подоб-

ное начинает звучать музыкой, вызывающей облегчение от всего этого накатывающегося снежного кома подобного, хотя сейчас слышится только часть подобного с невозмутимостью оригинального, но и оно лишь следует твердому правилу подобного и, надо сказать, приносит всё-таки кое-какую пользу и, чем дольше продолжается, тем интенсивнее взвихриваются мысли о подобном, даже глаза расширяются от узнавания подобного, но что делать, если холодная вереница подобного время от времени вызывает крик восхищения.

Пустую улицу нарушал тихим перестуком далёкий поезд, и тебе казалось, что это ты едешь куда-то далеко-далеко, не отводя глаз от вагонного окна, за которым березки сменяются избушками, поэтому тебе очень легко идти пешком, и даже увидеть женщину в цветастом платочке на крылечке, с едко дымящим самоваром, отчего твоя голова идёт кругом, как будто ты заболел и лежишь в постели, перекатываясь медленно с боку на бок, словно ты есть скроенный из боли нерв, в безумной горячке при крушении всех надежд на выздоровление.

Редкие впечатления основательно западают в душу, будоража её и, главным образом, от встреч с людьми, желающими от жизни получить многое, но не умеющие самостоятельно делать ровно ничего, и сообщая с другими они будут столь же неуспешны, потому что и в совместной деятельности необходим талант, а если его нет и в сообществе, то преследует ощущение безвыходности, подобное нехватке воздуха, не как такового воздуха, а незнакомой и малоприятной обстановке, ориентироваться в которой невозможно, в силу того, что тебя доставили туда в бессознательном состоянии, и этот вывод вроде бы несправедлив, но такой чувствительный поворот необходим, чтобы зорко следили за твоим падением самые слабые.

С трудом возделывают сад, и ты, присев на подоконник, невольно слышишь звон капли, и тот любимый с детства звук, как будто прямо из травы он вылетает взмахом тонких воздушных бабочкиных крыл, и льнётся к вечеру легко, когда чуть светят фонари среди заснеженных растений, и света этого хва-

тает, чтобы согреть блаженством сна всех тех, кто знает тайну яви, и голова почти седая клонится медленно к столу, и взгляд подсказывает верно, что в новоявленных цветочках подходит с нежностью весна.

Живёшь в окружении капканов, но не догадываешься об этом, не задумываешься, что на каждом шагу тебя подстерегает опасность, и шанс избежать всего этого очень невелик, даже если ты постиг любое мудрое учение о сохранении себя, всё равно ты слышишь о гибели то одного, то другого, то пятого, разумеется, в значении экземпляра божественного тиража тел, то есть твоё собственное я всё время гибнет и никогда не погибает, ведь ты часть целого, образ и подобие, поэтому верность во взаимодействии со всеми необходима для посвящения себя соперничеству с небытием.

В пути жизни утомлённый от общения с людьми, а их мнения бесчисленны, и верное мнение от ошибочного отделить невозможно, потому что существование человеческих масс всецело подобно гудению пчёл, ибо говорят все сразу, и непременно желают при этом немедленно обратиться в свою веру любого, так что этот любой едва выносит этот напор, и чувствует, что каждый на самом деле есть он сам, поэтому полнее всего сам себе сопутствует.

Если тебя торопит стрелка часов, то дела твои плохи, потому что ты сам стал будильником, не дающим самому себе жизни, и это давно подмечено о вечно спешащих, но никуда не успевающих, потому что срок годности у них навсегда истек, хотя, если бы они спешили в поисках сигарет с этажа на этаж по соседям ночью, то это дело другое, а так в головах спешащих людей постоянный туман, и от этого день мелькает за днём, разбивая вдребезги судьбу, которая не составит и минуты.

Серьезность отношения к литературе испытующе действует на читателя, способного стать тоже писателем, потому что каждый читатель составляет часть литературы и, в свою очередь, несёт высокое слово в тайниках души, надеясь что и он может сказать миру такое, какое никому и не снилось, потому что в

нём созревает критическая зоркость, напряженное внимание ко всему, что писалось до него, но, конечно, при этом необходима осмотрительность, чтобы избежать существенных промахов по отношению к собственным читателям, а это очень трудный выбор, исключительно индивидуальный.

Синим вечером стоял на Большом Каменном мосту, смотрел на Кремль. Потом отвернулся от него, то есть демонстративно встал к Кремлю спиной. Огромный купол храма Христа. Очередь сексуальных изъятий. Ведь Бог - это секс. Зеркальные фонари дрожали в Москве-реке. Совокупление, деторождение. Вот у стоящих в очереди женщин, а в очереди преобладают женщины, дети не рождаются. Совокупляются, а дети не рождаются. Нужна благодатная почва, ибо упавшее на камень зерно, не вырастет. Не попавший в яичко сперматозоид не произведет Льва Толстого, и, тем более (!) Фёдора Достоевского. После посещения Храма сразу идут в родильный дом и рожают, без промедления, ибо сказано, что Христос любит пасти в лилиях. А я пошел на Полянку в огнях вечерней Москвы, ибо сказано: литература есть секс и совокупление. И как только дошел до дому, сразу родил новый рассказ.

Вот они повсюду всевозможные перипетии, непрерывное движение с горы в яму и из ямы в гору, проверка на прочность и, чтобы не расплескать своё достоинство, сохранение лица, к тому же в основах этого статус-кво лежат привычки, с которыми почти невозможно распрощаться, поскольку в них и состоит твоё очарование, наиболее полно раскрывающееся в диалогах наедине с самим собой, и пусть ты на это смотришь хмуро, но всё равно до блеска начищаешь ботинки, потому что такой уж ты человек.

С уверенностью хирурга оперируешь очередного персонажа в своей прозе, понимая, что не последовательность действий важна, а спонтанная работа интеллекта в ассоциативном мышлении, вот где настоящий блеск прозы, вот когда отчетливо виден старик, загруженный по самую маковку лучшими книгами мира, когда мощно транслируются собственные мысли на чис-

тый лист новой вещи, и пусть старик глуховат, ничего не слышит из шума времени, это не имеет значения, поскольку его желания заключены лишь в одном, в том, чтобы перенести живущих в жизни - в слово, то есть предложить им жить в тексте, и прочих людей милости просим ответить той же монетой, а именно своими книгами.

Когда подступает накал страстей, то, как правило, люди на некоторый промежуток времени сходят с ума, то есть пространство интеллекта сужается до точки, содержащей только одно событие, потрясшее душу, и в эти мгновения люди изливают друг другу сокровенные признания, да столь убедительно, что даже порой бывает смешно, как веселит уверенность в том, что после цифры «восемь» идёт цифра «девять», поэтому невозможно переубедить человека со сдвигом, что существуют для отвлечения от идеи фикс миллионы смысловых точек, и что обычно дело это следует лечить, к примеру, шахматами или футболом.

Сбиваются с пути объятые соблазнами, причём все поголовно с пламенем в сердцах, чтобы жизнь прошла в любви, но не созрела мысль о том, что грань между любовью и деньгами небольшая, и там где есть любовь, там правит кошелёк, поэтому не надо раскалять себя до овладенья тем и другим, деньгами и любовью, или наоборот, любовью и деньгами, во вкрадчивых речах сквозит сплошной обман, поскольку все преступления мира совершаются из-за любви и, как следствие, из-за денег, они-то и сбивают всех с пути, кроме Христа, который во все века стремится в рост духовный, и путь сей трудный учит каждого мудрее быть хотя бы на миг.

Отовсюду слышны замечания по делу и просто походя, когда один другому что-нибудь сказанёт, да и тот в долгу не останется, как говорится, если сказал один, то отвечает и другой, при этом любопытно поглядеть, какое у него было лицо, да и у другого тоже, того и гляди вцепятся друг в друга, эдак проворно начнут трясти за грудки, что и говорить, приятного тут мало, но каждый стоит на своём, как будто именно он уполномочен

выпрямлять всех и каждого по своему вкусу, даже какого-нибудь известного человека старается приземлить до собственной неизвестности.

Я весь вышел из подпольной литературы, которая, собственно, и есть подлинная литература, поскольку подлинная литература не может быть лжива, не может подделываться под мнения. Поэтому с высоты прожитых лет я провозглашаю, что литература - это частное дело частного человека, который говорит то, что хочет, и пишет так, как умеет. Но литература начинается с чтения, с желания, прочитав великолепную вещь, написать свою. Мы как лампочки в гирлянде, которые подпитываются друг от друга. Писатель должен быть способен заразить другого писателя. Я так заразился, скажем, поэзией Мандельштама. К сожалению, нынешние стихослагатели не знают мировой поэзии, ничего не читают и в значительной мере ломаются в открытую дверь. Вообще я всех вокруг себя заражаю литературой. Поэты, которые со мной встречаются, оставляют стихи, начинают писать прозу.

От снега под вечер светло, потому что снег имеет цвет и он сам по себе светит, и вдобавок обладает французской нежностью, ибо прилетает прямо из Парижа («снег» по-французски - *neige* -то есть наш «нежный» плюс приставка «с»), чтобы дать название этой кристаллической белой муке, сыплющейся с неба, и человек выходит на улицу и восклицает, какой белый снег, да уж ладно, простому человеку тавтология разрешается, но когда стихотворцы сплошь и рядом лепят, мол, «идут белые снеги», или «белым снегом, белым снегом ночь метельная ту стезьку замела», не читали «Театральный роман», где прямо заявлено о чёрном снеге, чтобы выбить из душ эпитет к снегу «белый».

Щель дверная останавливает взгляд, потому что сразу хочется узнать, что там за дверью, может быть, угол для прибежика человека, чьё сердце сильно стучит оттого, что наступила ночь, стало страшно, ибо нет надёжного плеча, у которого есть хоть что-то за душой, которая страдала длинными такими же

яснее

ночами в комнате с обоями в цветочках, а тут темнота и холодно так, что голова охвачена жаром.

Зябкий туманный денёк давит на психику, вызывая боли в голове, но он скоро погаснет, чтобы ты даже неподалеку ничего не смог разглядеть, а был лишь в самом себе, и самому себе навеивал какие-нибудь умильные картины потихоньку ушедшего времени, вызывая лад, или копию того состояния, в котором ты пребывал в те времена, обычно плохо или приблизительно восстанавливаемые в памяти, но возникающие отчётливо в воображении, когда собственные переживания ты понимаешь яснее.

"Наша улица" №221 (4) апрель 2018

СПЛЕТЕНИЯ

Начало конца проступает из-за бравады по поводу собственного величия, которую по-простому называют медными трубами, редко кому удаётся пройти невредимо это сладкое испытание, потому что вскоре появляется новый вызов, сталкивающий безжалостно с высот исключительности в болото толпы, чтобы стал как все, о, это с достоинством, не падая на колени, мог пройти разве что Достоевский после публичной казни, но ему и падать было некуда, поскольку писатель не занимает чьего-либо места в штатном расписании государства, но глаза человека, взлетевшего из ниоткуда на вершину социальной лестницы, и накрытый бравадой медных труб, наполняются жалким ужасом, и никто его не бросается спасать, ибо там они все плюют друг на друга с высокой колокольни, и ни единой души не сыщется, кто бы спас ему жизнь.

Стремление натурализовать идеальное свойственно индивиду, считающему, что он живёт только один раз, и это пристрастие присваивать мир себе есть первичный и главный фактор рождения агрессии, своеобразной формы существования как бы в конце времён, когда вся предшествующая история была лишь подготовкой к появлению и вечной жизни этого индивида, и система ценностей которого исходит только от него, ибо другого механизма жизни он допустить не может, расценивая всё прочее как нулевое состояние вещества, степень значения которого дальше этого нуля не идёт, но неумолимое время и этого уникама считает своей добычей, для примера деформации другим уникамам в конкретизации конечного существования каждого из себя смотрящего с целью производства нового индивида, коим нет числа в колесе бесконечности.

Весенние весёлые лепестки показывает на боку фарфоровая китайская чашечка, источающая нежный аромат, словно она сама есть прекрасная роза, мерцающая чистой золотистой росой, как будто слезы счастья вызвало смущенное солнце,

когда незаметно наступила пора тихо наслаждаться зарею, ощущая на щеке приятный ветерок, идущий со стороны поблескивающей зеркалом реки, когда впечатлительный вечер незаметно становится утром.

На фоне финала всегда присутствуют начала, потому что ничто никогда не останавливается, и всюду звучат, пусть сбивчиво, голоса новорожденных, и неорганично стонут финиширующие о жажде бессмертия только для своего тела, но увы, общий настрой до сути ясен, тела взаимозаменяемы сквозь сумрачную неоднократно предъявляемую в заявке несменяемости и незаменимости, установка на конечность экземпляра и бесконечные резервы появления всё новых и новых устройств, под названием «люди» - совершеннейших биокомпьютеров для разумной жизни, не подвергается сомнению, а сомневающиеся успешно учит история.

То, к чему меня постоянно влечёт, не может быть новостью, потому что, едва успев родиться, я увидел не предметы, а слова, вместо, например, стены, я увидел слово «стена», а вместо потолка, прочитал по слогам «по-то-лок», а уж о слове «пол» и говорит нечего, потому что я сразу догадался, что всё вместе это выразится словом «комната», которая вместила и чудный блеск глаз, и женские тонкие брови, и нежный голос, и все эти слова влекут меня всю жизнь.

Идёт по улице влюбленный, ещё не ведая в кого, но точно влюбится невольно, не скроет он огня зрачков, как от фонарика летящих, как будто крохотная фея, успела завладеть его сознанием, пустила в ход все прелести свои, а молодости нужен быстрый парус и величавое паренье по волнам, которые дают такой изгиб, что дух захватывает от набухшей страсти, и сам ты превращаешься в цветы.

Пусть каждый день является как новость, на чистые листы бросая луч, чтобы писалась собственная повесть, едва мелькнув из-за сомнений туч, как робкое величье из воды, несмело превращает сердца пламень в ритмичные цветущие сады, в которых к небу тянемся мы сами, рождение заменяя на утраты

под бременем непознанной вины, где нет нам ни причала, ни возврата из жизни, превращающейся в сны.

27 марта родилась выдающаяся художница Нина Бондаренко. Она есть истинный пиит, любой эпохе современна, сама собой являет вид по-детски в радостных мгновеньях.

Показного много, но на самом деле человек скрытен и всю жизнь не выдает ни одного своего намерения, чтобы просто-напросто не сознаться в любви, в которой он создан, в которой все созданы, так что и он украдкой становится кузнецом своего тайного счастья, чтобы кто-то не сказал, что он не ковал того, что куют другие с такой силой звенящего копыя.

С высоты последнего этажа десятка полтора людей на снегу смотрелись голубьями, или даже воробьями, других схожих сравнений не привожу, поскольку интересом моим были не люди, а густо идущий снег весной, а публику можно увидеть повсюду, и она своей прямизной, может, и внушает бодрость, но я со смиренной улыбкой был полностью погружён в торжественность мартовского снегопада.

Елизавета Трифонова с "Независимой газетой" от 22 марта сего, 2018, года. "Кафка" художник Александр Трифонов, холст, масло. 2017. В гостях у абсурда, который и есть реальная жизнь, Евгений Лесин пишет о книге Шенкмана (Ян Шенкман. Ничего страшного. - СПб.: Красный матрос, 2017. - 44 с.): «Ян продолжает фиксировать тишину и одиночество. Хотя и не без уместки постмодерна:

Справедливости нет. Само это слово звучит абсурдно.
Любой абсурд, любая дрянь претендуют на правоту.
Я люблю смотреть, как умирают дети и тонет судно
С пожилыми придурками на борту.

Что до рассказа, завершающего книжку, то начинается он почти так же, как и «Проза из журнала «Вече» Венедикта Ерофеева. «Я вышел из дома, прихватив с собой три пистолета, один пистолет я сунул за пазуху, второй - тоже за пазуху, тре-

тий - не помню куда», - пишет Ерофеев, которого вместе с Яном Кафкой (Францем Шехтманом и Венедиктом Лесиным) припечатывает к холсту художник Александр Трифонов, читая громко для всех: «Грегор медленно продвинулся со стулом к двери, отпустил его, навалился на дверь, припал к ней стоймя - на подушечках его лапок было какое-то клейкое вещество - и немного передохнул, натрудившись. А затем принялся поворачивать ртом ключ в замке. Увы, у него, кажется, не было настоящих зубов - чем же схватить теперь ключ? - но зато челюсти оказались очень сильными; с их помощью он и в самом деле задвигал ключом, не обращая внимания на то, что, несомненно, причинил себе вред, ибо какая-то бурая жидкость выступила у него изо рта, потекла по ключу и закапала на пол...»

В этом месте из Юрия Кафки на глазах у испуганного Яна Лесина вырос писатель Франц Кувалдин и запросто обронил: «Я думаю, "Превращение" есть трансцендентное видение, которое срывает маску с жизни, с которой не может сравниться никакой фантазм, переходящий в маразм. В этом абсурд физической жизни - и могущество метафизической литературы».

За хваткой скрывается нехваток с ковром на стене, где висит ружьё, которое никогда не выстрелит, потому что бутафорское, так что делу с таким ангажементом табак, желтизной, отпечатанной на пальцах голубчика, не имеющего за душой ни гроша, а всё туда же, на сцену, к успеху картонных чувств, а если уж по-русски сказать, то дурак дураком на тоталитарных подмостках, в царстве мнимых величин, где на более или менее талантливых конкурентах заранее поставлен крест.

На скамейке вдвоём Юрий Кувалдин с внучкой Лизой.

ПРИЗВАНИЕ

Ясна поначалу дорога,
Смысл жизни как будто в горсти -
Призванию следовать строго

На всём отведённом пути
От счастья родного порога
До бездны всемирной сети.

Вам не нравится свет тихого утра? Промолчите. Вы не можете терпеть по-детски звонкие голоса? Промолчите. Вам не по нраву солнечные блики на голубом стекле? Промолчите. Вам стал ненавистен широкий мир? Промолчите. Вам не по себе от взглядов на вас украдкой? Промолчите. Вы не перевариваете старушечьи пересуды? Промолчите. Вам опротивели старики, скачущие мальчишками? Промолчите. Плохое вы видите даже издали? Промолчите. Вы замечаете, что от вас хотят избавиться поскорее? Промолчите. Вас уличили в том, что вы равнодушны к прозрачной, прекрасной весне? Промолчите. Ваше молчание, как признак ума, будет чудесно до истинного волнения!

Даже низко не летают люди под тяжёлыми облаками, выше своего тела подняться не могут из-за обильных обедов, прикормленные, как курицы, взлетающие только на забор днём или на ночной нашест, чтобы сидеть во тьме неслышно, их даже нарочно не выучишь летать согласно принципам аэродинамики, хотя ангелов рисуют с крыльями и руками, они ведь очеловечены, и никаким ножом крылья не срежешь, только скрипучим нервом слышу скрежет чувствительного железа.

Тодоровский «Большой». Голову птица прячет под крыло медленно в такт скрипке и фортепиано, когда меркнет здравый рассудок засыпающих непонимателей воздуха высокого искусства на фильме про птицу с одним подбитым крылом великого «Большого», где прелестная девушка ловит нити тончайшего света, и бледность и красота её лица с бесприютным сердцем доводят до восхитительных слёз, и бабочки райского сада выделывают пируэты, чьи движенья бриллиантом чистой воды поблескивают на холсте, оттенённые синей эмалью фарфоровых танцовщиц Дега, и хрупкая седовласая дама перед зеркалом красит губы алым, вспоминая серёжки уснув-

ших прохожих, есть невиданное воплощение ума в молчаливой гармонии, затаённости и безукоризненной изобразительности, возносящей Валерия Тодоровского прочь от говорливой толпы.

Даю дорогу ручейкам, всё время сторонюсь, чтоб не мешать движенью весны к своим туманностям, в которых и я слиянно с миром бормочу о том, что красота всегда придёт на помощь, с мольбою обращая взор на нас, когда великолепная душа преображает нас в цветущий сад, и чудилось мне то, что я пророс сквозь твердь старинных улиц, так чистота объёмлет вдруг сама с великой нежностью, как будто я родился для прибавленья вечной красоты, священной по самой своей природе, как самый редкий утренний цветок.

За современными небоскрёбами скрывается заснеженная церковь, укоренившаяся классической точкой постоянства в обстановке городской мельтешни, когда за сигаретой следует думок другой сигареты, чтобы подальше послать ключевые понятия жизни, как то смерть и рождение, необратимые по природе своей на крохотном пространстве электрона, вращающегося с невероятной силой вокруг раскалённого атома, так что невозможно подсчитать совершённое количество оборотов за вечность в обычном представлении масштабов собственной личности, размещённой в безмятежной иллюзии жизни.

Каждый день любой человек перелистывает картинки, не придавая им почти никакого значения, да и вовсе не замечая их, потому что смотрит то туда, то сюда, повсюду картинки, идущие одна за другой, то окно, то чайник, то лифт, то вагон метро, то веточка мимозы, а стрелка жизни кружится по кольцу без остановки, предлагая одни и те же с вариациями изображения, которые редко кто преобразует в символы, полные невидимых значений, опуская якорь мысли в самую глубину, и надежда передать картинку знаками осуществляется, как бы говоря что интеллектуальная стойкость не поддаётся вторичности, коей является картинка по отношению к Слову=знаку (буква, цифра, все прочие символы).

К вечеру явилась ангельская погода с розовым закатом под горку бульвара с вихрем голых ветвей, с детским гомоном, приглашающим на славный ужин с пшеном на асфальте вместе с воробьями и воронами, дабы укрепить драгоценное самолюбие, готовое с чувством воспринять благодать заснеженно-го в розовых отблесках заката, проветрить свои крылышки, понимая, что весна уже упаковала в хлопушку скорого взрыва всю мощь цветения нам на диво.

При каком условии повышается настроение, при таком же улучшается и внешнее, вне человека, при том же самом, независимо от объема переживаний, такое, как доминирующее понятие: «погода», принимаемая всеобщностью созерцаний за измеритель самочувствия, когда острый луч солнца, пронизывающий ледяной мрак сквозь толщу облаков, воспринимается уже как нечто трансцендентальное, непостижимое для разума, обусловленного лексическим богатством посредством синтеза текстов библиотеки вечности, когда и сам рассудок вспыхивает солнечным вдохновением, независимо от взаимодействия частей в системе мозга, ибо то, что непригодно для животной жизни, то и составляет абсолютный образ личности.

Очередь была необычна, поскольку состояла только из седебородых стариков, и сколько я ни пытался разглядеть хоть одну женщину в длинной веренице, уходящей за угол, но ни одной не находил, и ничуть не огорчился от этой картины, висевшей по центру стены, как раз справа от стола, и время от времени за разговором, впуская убивавшем время, поглядывал на цепочку очереди, отмечая уверенность рисунка, беглый взгляд стариков, навсегда поставленных в очередь.

Сказано было давно, что тиранов делают рабы, а не рабов тираны. Хотя взлетев на вершину пирамиды власти, тираны и из свободных людей хотят сделать рабов. Эта универсальная формула действует безотказно. Но только в империях. Империи собираются по досочке. Сначала одну присоединили, затем другую, восьмую, восемьдесят девятую. Бочку держат обручи.

Максимилиан Волошин в гениальной поэме «Россия» писал об этом: «Россию прёт и вширь, и ввысь - безмерно. // Ее сознание уходит в рост, // На мускулы, на поддержанье массы, // На крепкий тяж подпружных обручей...» Как только разрубают обручи, сдерживающие бочку империи, так она разлетается по досочке в разные стороны. Следовательно, там, где обручи власти, там империя, там же, где нет обручей, - там Швейцария, или лучше Лихтенштейн.

Читатель является пациентом автора в рамках захватившего его произведения, импульсы которого пронизывают пациента до такой степени и с такой силой, что он сам становится автором, хотя не в состоянии понять и принять то, что он лишь служит промежуточным звеном между словом и телом, никаких при этом травматических переживаний не испытывая, в том-то и сила парадоксальной ситуации, когда слово становится реальнее жизни, потому что - пишу с большой буквы - Слово есть первичное и единственное условие жизни, только Слово является источником и полнотой личности, включая прочие фрагменты, но тоже выраженные Словом, которое почему-то называют цифрой, но не цифра правит миром, а Слово, в которое входят все знаки, то самое Слово, которое есть Бог. Так что мы живём не в «цифровую» эпоху, а в бесконечности под названием «Бог».

Пела где-то за глухой стеной песенку девушка, или мне почудилось, что кто-то поёт, но вот я увидел на снежной тропинке тень от сосны, и сердце мое запело тем же голосом, что и девушка выводила за той самой стеной, что возвышалась над глубокой водой, лодку качая из края в край, крови горячей поток направляй в город, где ночь собирает в пучок огни, чтобы были похожи на птицу они, взмахивающую крыльями на высоких камнях, с горькой улыбкой подняв головку к небу.

По дорожке кладбища идёт худой человек, почти мальчик, но ведёт за ручку еще меньшего человека, наверно, тот, кто выше отец того, кто пониже, вышагивающего ритмично, как будто слышит стук барабана, и нервные взмахи рук того и другого говорят о том, что они не прочь послужить «царю и отече-

ству», как служит кладбищенским сторожем за ними показавшийся старичок, удивленно проходящий мимо оградки, возле сидящей на скамеечке там девушки, взгляд которой горек, а зря, думает худой человек за старичка, не быть же печальной навек, ведь мальчик стучит в барабан.

И вещь находится в разных возрастах, поэтому проблемы, вызванные ею, с места понимания стремительно тянут назад к той действительности, которая была нема, и грозила тебе дать премию только за то, что возможно из многообещающего младенца вытащить доказательства его будущей гениальности, разложив эту тему по полочкам мысли по аналогии становления всякой великой личности от зачатия до смерти, когда появляется жалость к самому себе и растут сомнения в идентичности каждого тела со знаком, его вскрывающим, потому что в этом случае любой совет о природной практичности никуда не приведёт, кроме как в лабиринт сложных лексических сплетений.

Нужна могучая воля, чтобы всю жизнь отказываться от соблазнов мира и писать свою книгу уединённой мудрости, а для поддержания подобного подвига необходима подруга вроде Анны Григорьевны Сниткиной, не имевшей особых привлекательных внешних данных, но внутренне готовой понять становление гения безо всякой награды, пришедшей как бы из захолустьев, выходцы из которых растворяются в безликости, но не служители Слова, честью которых является напряженность психических перевоплощений, незаурядные устремления, сопряженные с познаниями непознаваемого, которые не подменить приспособляемостью.

При власти тьмы каждый человек уповает на собственные успокоительные внушения, что он ничего не боится, а чего ему бояться, ведь никакого чувства вины за собой он не испытывает, но понизу тела пробегает дрожь, а лоб начинает потрескивать, словно голову опоясал жгут, да и его сию минуту кто-то возьмёт в охапку, и ни под чьей защитой он не окажется, даже не помыслит вступить в схватку со своей психикой, ощущающей лишь тяжесть собственного бессилия перед мраком.

Слово «народ» приобретает негативную окраску, когда это слово берется из другого языка, например, латинское «*populus*» (народ). На складах «Союзкниги» на 2-й Фрезерной к концу 1992 года стали появляться типы с физиономиями уголовников, фиксатые, с наколками, новый тип издателей 100-тысячных тиражей «Бешеных», «Тройных убийств», «Поющих в наручниках», «Интерёбочек» и прочего ширпотреба, чтобы «бабки» текли «в дырявые карманы», не останавливаясь. Я тогда Станиславу Рассадину сказал: «Попса поехала». Станислав Борисович спросил: «Что такое попса?» Я был удивлен, что известный критик не знает этого слова. Я объяснил, что это означает «народное» чтение. И теперь я посмеиваюсь, когда на концертах объявляют: «А сейчас выступит народный артист России...» Мне слышится: «Попсовый артист России...»

Давеча возник совершенно случайно разговор о Саймаке. И я сразу сказал, что, не помня точно названия и героев его вещей, я вспоминаю высокий интеллигентный стиль, характерный для нашей классической литературы. Высокая литература прочно отделилась от массового чтения (попсы), и вышла на новый круг возвышения, благодаря влиянию европейской, западной литературы. Достаточно открыть какое-нибудь произведение Клиффорда Саймака, чтобы убедиться, что его фраза художественна и интеллектуальна. Ну, например: «Своим убористым четким почерком он исписал много страниц, перечислив мебель, картины, фарфор, столовое серебро и прочие предметы обстановки - все движимое имущество, накопленное...» и т.д. Имя большого писателя всегда вызывает возвышенные чувства, как в музыке - имена Рихарда Вагнера или Альфреда Шнитке, или Софьи Губайдулиной, или Владимира Мартынова ... Высокое всегда приведет вас в рай, в ваш маленький рай, как пел Алексей Воронин в своей песне «В маленьком раю»:

Я жил когда-то в маленьком раю,
Под чистым небом, с ясною душой,
В каком-то дальнем, северном краю,

Но вырос я из рая и ушёл.
И я попал в нетрезвую страну,
Затопленную огненной водой,
И сам порой нетрезвый и больной
По улицам неведомым иду...

Несмотря на день, занавески в комнате задернуты, горят красные свечи, полки книг высятся до потолка. Создана атмосфера. В писательстве главное создать атмосферу вхождения в новый текст. Полнейшая тишина. Все средства связи отключены. Вахтер никого не пустит в подъезд. Для настройки открываешь "Заповедник гоблинов" Клиффорда Саймака: «Он не понимал, почему эти ландшафты репейником вцепились в его сознание. И еще он не понимал, откуда художник мог узнать, как мерцают призрачные обитатели хрустальной планеты. Это не было случайным совпадением; человек неспособен вообразить подобное из ничего. Рассудок говорил ему, что Ламберт должен был что-то знать об этих людях-призраках. И тот же рассудок говорил, что это невозможно...» Я начал эту запись со слова «давеча». Мне очень нравится слово «давеча». Федор Достоевский его просто обожал. Но в словаре Владимира Даля слова «давеча» нет. Одного из самых русских слов нет в словаре Даля.

Родник твоей судьбы пробился ненароком, чтоб главной нитью стать связующих времён, там дюжина путей звала тебя в дорогу, а ты пошёл туда, куда понёс ручей, забавна жизни суть, порой скорей на ощупь становишься рекой, чтоб океаном быть, движенье птичьих крыл приводит осторожно, почти впотьмах туда, где сам ты был ничей, казалось бы, пустяк идти вослед потоку, но ноша тяжела прожитых дней тобой, однако вновь долбит родник себе дорогу, ты заново рождён, ты гость судьбы иной.

Читаем с Лизой пятую часть, написанную летом 1886 года в Люблино. Сначала я, потом Лиза. Вдруг она наталкивается на фразу: «Черный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал

его сердце». Как это? Объясняю, что обиженному человеку кажется, что его считают очень плохим, а он так о себе не думает, любит себя, а другие нет, вот он и мучается. Понятно! Лиза несколько раз перечитывает: «Черный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал его сердце». Час спустя, когда и урок рисования закончили, вдруг громко наизусть выпаливает: «Черный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал его сердце»! Таково оно, «Преступление и наказание».

Улица говорлива, но глуха к тебе, потому что твой разговор пугает прохожих, ещё бы, ведь ты начинаешь плести сеть мыслей о сущности жизни с её концами и началами, отчего заряженные на текущий день люди опускают глаза, и бегут через проходной двор от тебя подальше, чувствуя, что рана, нанесённая им тобой, очень глубока, ибо кто готовится к смерти в беготне по магазинам, тот глуп и не желает видеть докторов, хотя чувствует, что душа больна, что всё тело охватывает после разговоров с тобой о смерти недуг, такой добрый, что грех на тебя жаловаться, но совесть скребёт от ужаса догадки, что и он когда-то умрёт.

Были отдельные, но вот они - родители, мужчина в отцовской роли, женщина - в материнской, а сценическая линия малыша бессловесна, он только явился на свет, поэтому гораздо новее всех написанных драматургами ролей, оттого и ролей для младенца нет, он живёт сам по себе за кулисами в каждой пьесе, такой самостоятельный и сильный, что от него не исходит никакая самая малая просьба, ибо всё в свете домашнего ритуала, когда у каждого роль начиналась с начала, такая неподкупная, открывающая все дороги, на которой видны силуэты, а неподалеку океан неба в одинокой строчке горизонта.

Свобода воли вдохновляет вольность в душе великой, рвущейся к созданию своей вселенной в необъятном Слове, где гордые стоят на полках мира, и скорбь в глазах у тихих пастухов, пасущих дев и юношей по строчкам, где умные цветущие сонаты звучат как властелины красоты, где ты идешь задумчивый и странный, оставив отдыхать от тяжб народ, и в этом тор-

жество твоё и сила, с неукротимой страстью произросшей во вздорном сердце, чтоб сервильный критик в угоду моде сказал, что ты извечную борьбу изящно превратил в любовный танец, спокойно сбросив цепи, на которых держали с кровью спетые стихи.

Жгучий огонь любви зарождался в лесах, и взор любимой тоже был жгуч, и ты оставался один среди океанских зыбей, и блеск слепил тебя, как пламень её сердца, идущий из леса с океанского дна, до которого подать рукой, чтобы молот мечты, быстрый, смертельный, великий, как твоя путеводная звезда, полная слёз, приветствовал твоё рождение.

Вихри впечатлений едва не сбивают с ног в столичном водовороте человека из тайги, где его занимало лишь изгнание, а тут волны свободы прочь гонят мрачные воспоминанья, ибо твердыня надежды на преображение затмевает уныние, невольником которого он был, а реальность отовсюду манит блеском и роскошью, и не надо понимать, что она лукава и не чета изгнаннику, который и без оков не может сделать ни шагу без страшщей разлуки с самим собой.

Нетронутой звездой горит мечта, а ты её простая оболочка, которую не встречу никогда, поскольку рифма затерялась в строчках разлившейся безудержно реки могучей прозы, требующей спрятать короткие эффекты в чашу слов, но ты не в силах удержать движение созвучий птичьих, всё это именуется вращением в тебе пылающей звезды, такое беззащитное движение, досель неведомое мнимым величинам, в сомнениях пребывающих, в напрасных, эфемерных утверждениях, живущих с мыслью в будущее впасть, которое уже свершилось прежде, какая жалость в оболочке тела.

Былых времен воспоминанья в безмолвном прочерке судьбы между рождением и уходом, как модно ныне говорить, вместо того, чтобы сказать, что человек внезапно умер, как будто жизнь ему была дана на вечное гуденье в пчелином рое райских рощ, а так украсила смиреньем, составив бесконечный ряд здесь побывавших, но не оставивших следа, вот умолчать

далекой жизни вновь суждено, как бы старинными устами могла просит подождать, ведь ты здесь будешь зеркалом души пчелиной жизни с грустным взором, и что отображает небо мне, то родственно навек со спадом в бездну немых заветов и глухих страстей.

Жизнь двойственна и в ней обширный мир со странной погружённостью в блаженство дневных иллюзий, претендующих на постоянное существование и не желающих быть лишь виде-нем исчезнувших веков с претензией быть Слова долговечней, но как безмерна жизни полнота у юных и цветущих на зеленом пространстве сцены.

И радуешься жизни беспричинно, как будто взят в объятия любви, при этом всем готов дарить прощенье, пусть счастливы все будут, так судьба любого человека приведёт туда, где будет счастье, где легче дышится от доброты и такта, где любящие души сочетали себя в одном цветущем теле, и глубоко вздыхали в сладком, тайном, наполненном пьянящим ароматом мгновении любви.

В скоплении миллионов нет приюта рождённым незаконно до возникновения вселенной, вот они и бродят безыменно, вспоминая свое отечество, которое нельзя понять, не посетив кладбище, где могилы предшественников украшаются зеленью, дабы приветствовать восставших из гроба, проходящих комиссию сразу и через год, проверяя срок годности от Адама до спама, так и рождаемся, так и рожаем, так урожаем в смысле рожаем, мы становимся урожаем без конца и краю, поскольку концы ловим в кольце, которое оказывается бесконечностью, и не только в здешней местности, где толпятся миллионы у всемирного кладбища.

Я всегда был окружён пачками книг и при этом тихонько потирал руки, которыми нужно было разгружать фуру с тысячей пачками тиража, доставленного на Фрезерную улицу на склады «Союзкниги», когда перед глазами только и мелькали упаковки, ровным потоком летевшие на транспортерную ленту, с которой их разбрасывали одну часть туда, другую сюда, и это

юрий кувалдин

гигантское количество разлеталось по книжным магазинам всего Союза, в каждом из которых с видом знатока книжной сцены, а любители книг были и есть те же актёры, выбирающие себе соответствующую партию, кроме массовки, когда толстые журналы завяли, как помидоры Лесина Евгения, сотрудники которых с завистью взирали на меня, не понимая от природной лени, как это я один ворочаю стотысячными тиражами, и всё прибираю к рукам в собственном деле.

"Наша улица" №222 (5) май 2018

АБСОЛЮТ

Ты по устройству прирожденный абсолют, и тьма тебе примеров, но гораздо меньше тех, кто назначение своё распознал, и загружался нужными вещами для максимального овладения мастерством, да, редко кто нащупывал свои способности, чтобы воспользоваться ниспосланным свыше достоянием, в высшей степени присущим великим людям, и впоследствии при мешающих развитию обстоятельствах даже не пытался давать оценки своей бездеятельности, не руководил памятью, не напрягался умом, не припадал к книге, всячески избегая развивающих интеллект бесед с гениями.

Пишется отлично безо всякого жизненного опыта, в постоянном детском отвлечении, про значимость произведения не думаем, потому что думать вообще писателю вредно, поскольку он мастер по сборке книги из алфавита, пребывающий в априорных эмпириях, где достоверность въезду в рай равна падающим яблокам, и в этом есть источник вдохновения и воображения, когда рассудок сознательно отключается, ибо ты вступаешь в сферу написания картин о пространстве и времени, сам являясь создателем любых форм, доказывая, что возведение небоскрёба из слов есть дело эмпирическое.

Ты воздухом поэзии пропитан, заметно это по всему, твой вид ученый говорит о многом, в котором неземное наслаждение строкой бегущей требует усилий таких, которых требует любовь, сияющая в торжестве победы над собою, когда сродниться мимоходом можно с прибывшим издалёка соловьём, свой слух направив на его рулады, стыдливость погасив в самом себе, чтоб совести свободнее дышалось, она ж всегда души не чаёт в спонтанном представленьи, без удержу несущему к весне.

Чистоту можно изобразить в виде снега, и сразу засомневаться, потому что белое содержит в себе весь спектр, убегающий от этой тайны на длинных ножках карминных тюльпа-

нов в кусты лиловой сирени, подальше от сирени белой, и чистоты на солнцепеке уже не останется, потому что, да, ещё раз «потому что», иначе о чистоте говорить невозможно, она ведь возрастает из земли, которая не может быть взята для сравнения с чистотой, а уж перемешанная со снегом под дождём и вовсе далека «от потому что» своим названием, противоположным понятию чистоты, воды сердца, красоты формы, значения цели.

Во всю длину изгибов переулка домишек пёстрых разместился ряд, где гипсовые лепятся уборы на каждой крыше, где любовь к шарам, большим и малым, по всему забору здесь явлена с улыбкой, чтобы в пору случайной встречи ты бросал вверх взгляд, и видел в полный рост ствол вечной жизни, вскрывающей любую твердь полей, разрезанных беспечно на тропинки, где каждая судьба окаймлена звучащей в небе тихой бороздой.

Всё в жизни совершается постепенно, так что содержание происходящего тает, не имея никакого значения, остаются лишь свойства серьезности орнамента жизни, которая в конечном итоге и заключена в украшениях, неестественность которых ставит быстроживущих здесь и сейчас в тупик, поскольку для них сознательной пользы от красоты нет никакой, а мотивов отрицания не приносящего дивидендов творчества находится в таком количестве, что нет никакой возможности построить пропорцию между смертью индивида и бессмертием творца. Когда не подписываешь фотографию, то через годы ты уже не в состоянии назвать всех тех, кто на ней изображен. А ведь когда фотографировались, четко знал всех поименно, кроме тех, которые почему-то постоянно пристраиваются к групповым фотографиям, не имея имени. Нет, пристроившиеся про себя знают всё, но не знают о них ничего окружающие. Почему о Федоре Достоевском знают многие и о многом в его творчестве и жизни? Потому что он объективировал свою душу, запечатлевал её в порывах и образах через текст. Вот коренное понятие -

текст! Даже фотография не удерживает душу без текста. Без подписи.

Я летал накануне во второй половине дня вместе с людьми над рекой, когда резко прекратился покой, накрытый чёрной крышкой, а я только вышел побыть на свежем воздухе, как был взвихрён, словно бумажка, при этом говорил себе - проснись, но не пробуждался, а лишь ввинчивался, как штопор в пробку бутылки, в ураганном потоке, чего прежде ни чаще, ни реже никогда не было, в многолюдную толпу, стремительно со звуком атлетических дисков кружащуюся в дантовом аду.

Иногда и точка заявляет о себе громко, голос её звучит так, как будто она сама по себе является долгой фразой, такая вся из себя бесконечная, что ни ниже, ни выше не окажешься, просто пятно какое-то, но свои глаза отвести от неё не в состоянии, как от завораживающей взор звезды на чёрном небе, просто такая она любимая, которая всегда всё поймёт, поможет, окажется в необходимый момент рядом, и даже на ум не приходит какая-нибудь к ней просьба, такое случается, когда ты входишь в пронизанную солнцем берёзовую рощу и от красoty застываешь на месте.

Мысленно нащупал в голове фортепианный концерт, который переливается, струится, собой не может насладиться, при этом нисколько не удивляясь своей музыкальной памяти, той, что словно радиоприёмник, стала с лёгкостью передавать мне, одиноко покуривающему за письменным столом, доверительную музыку с неспешными размышлениями нот, которые сами собой на лёгком автопилоте стали вытягивать каскады непрерывающихся фраз, лежащих на чистый лист уверенно, зачем, почему, не пойму, но мне по нраву камерная музыка, задумчивое соло на рояле, где вдох и выдох совершаются в ритме стука сердца.

Вспомнилась знаковая фраза Оноре де Бальзака: «Все мы умираем неизвестными». С этой фразы начинается свою прекрасную, глубокую статью Макс Волошин о незабвенном лирике рубежа XIX-XX веков Иннокентии Анненском... И вот Инно-

кентий Анненский возвысился после смерти до вершин поэзии, ибо жизнь иллюзионизирует равенство между людьми, но смерть возвышает гениев. «Среди миров, в мерцании светил // Одной Звезды я повторяю имя... // Не потому, чтоб я Ее любил, // А потому, что я томлюсь с другими...»

Воздух поёт бессонному человеку голосом молчания, во мгле исчезая неслышно звучащей тишиной, которой подпевает ветка без листьев, и эхо исходит оттуда, где соединяются молчания всех поющих, больше напоминающих тени, переходящие в робкую зелень, беззвучно поющую, как потухший огонёк в сердце, чтобы в ночи умолк.

В привычках развивается душа, поэтому ты в окруженьи близких становишься собой, чего нельзя с другими, далёкими, где всё предрешено на незнакомство, а стало быть, контакта лишено, и от порога делай поворот, как много лет назад ты уходил от чуждого веселья, надежды нет на диалог, покинутым будь вечно, но с родными, коль спутника не выберешь себе, чтобы привычный он был ласков, как природа во дни весны, такое можно взять из рук любимых только, иначе неизбежно одичанье, в другом себя не сыщешь, в благе жизни к невзгоде привыкай всегда во всём

Ролан Барт бессознательно почти догадывался о независимом существовании тел и текста. Барт называет тело Природой, а текст - Историей. Но сути это не меняет. Человек в том теле, в котором он пока существует, есть явление переходное, временное, ибо человек станет Словом, и будет жить в интернете. Исчезнет необходимость в пище, и вообще в быте, поэтому обыватели, суть жизни которых заключена в ежедневном добывании хлеба насущного и в производстве себе подобных, исчезнут, и в мире останутся только интеллектуалы, которых славил Ролан Барт, при этом утверждая, что писательство есть истинное наслаждение, камасутра языка. Впрочем, он живёт уже в Слове.

Если ты видишь, как капля упала, когда покачнулась ветка, то просится в гости точка, стремящаяся встать туда, где конча-

ется строчка, а уж за нею речи взлёт накрывает переплёт, словно поезд скорый, книга мчится сквозь века, дирижёр своих созвучий, управляю букв оркестром, в каждой букве инструмент, открывающий глубины недр и высших сфер, симфоний мыслей высшая ступень.

Даже если малый порядок упразднить, пусть правила уличного движения, то машины поедут по встречным полосам. Карл Ясперс, занимавшийся этими проблемами, называл без всякой обиды людей «колесиками» в огромном государственном механизме, в работе которого они крутятся этими «колесиками», обеспечивая таким образом свое существование: пекари пекут булки, менеджеры управляют, шофера рулят... Многие люди, главным образом молодые, устраиваясь на работу, не хотят мириться с правилами этой работы, бунтуют, не понимая, что ломают машину, которая их поит и кормит.

Внимая маю, понимаю, что жизнь свою перегоняю, смотря назад, там вечный клад, не впереди, но только в прошлом, до-тошном, призрачном, истошном, там всё написано уже, в пространстве, в облаке, в душе, всё совершилось до рожденья, чтобы писать стихотворенье, уже написанное до, но в том-то дело, что оно в тебе находит преломленье и понимание всего, слагаю снова, начинаю творить свои миры, смиряя свой норов дерзкий, утоляю неутолимое: «Ещё!».

Он вынашивает сокровенно любовные импульсы, пряча их глубже глубокого, целую вечность вмещая в сердце своё, навеки запечатав его для постороннего взгляда, оно ведь неискушенное, может случайно доверчиво открыться и оказаться в чужих ладонях, ах, это нераздельное чувство ласки, блеском своим разрушающее рассвет, угадать который нет сил в одночасье, и спасительность тайны сохраняет тебя, власть святой неподвижности за гранью добра и зла.

Сами слова без моей помощи выстраиваются между концом и началом, привязываясь к предмету даже среди ночи, ища опоры в самих себе, ибо в них избыток сил, от которых в глазах феерическое мерцанье, завораживающее до оцепененья

бабочек, не умеющих отделять слов от предметов, из ниоткуда лезущих наружу, когда сам воздух пропитан любовью, так постарайся быть пониже ума, впавшего в отчуждение, обращающего мозг в бездействие.

Чтобы написать один эпизод, нужно походить дня два по улицам в раздумьях, покопаться в справочниках, почитать на нужную тему книги коллег. Я всегда вставляю абсолютно точные детали в свои произведения. Роман «Философия печали» еще в 1984 году был предложен мною в «Новый мир», где мне сказали, что роман напечатать нельзя, потому что в нём идет борьба с марксизмом-ленинизмом, и не показана правильная линия партии на демократизацию общества. Конечно, у меня там действует такой своеобразный и свободный герой как Валерий Дубовской, доцент кафедры философии, что ни малейшего сомнения в его жизненности не возникало. Но жизненность - главный враг той литературы, которую тогда печатал осоветившийся и абсолютно бездарный «Новый мир» под началом то ли Косолапова, то ли Карпова, то ли еще какого-то партийного деятеля советской литературы. Впрочем, как только с СССР было покончено, в 1990 году роман был издан 100-тысячным тиражом. И вот не прошло и четверти века, как он пошел уже сам прокладывать себе дорогу.

В «Старой Чите», журнале истории и краеведения Забайкалья, читаю:

«Получается, что в Читу приходили из США ящики с разобранными грузовиками Studebaker, а здесь, на Кадале из них собирали автомобили, чтобы отправить на фронт бороться с милитаристской Японией! Этот факт интриговал ещё больше. Ища информацию об этом, наткнулся на роман Юрия Кувалдина «Философия печали», в котором есть эпизод с воспоминаниями фронтовика, написанный как бы «с натуры»:

«...Дубовской медленно поднял руку с выставленным мизинцем.

- Я говорю от всей души, - сказал он, - и с детства не юмору. Это надо мной постоянно юморят. Я в 17 лет, во время вой-

ны был призван в учебный автополк. Получил права. Отправили на восток. Да, - вздохнул Дубовской, рассматривая продавщицу. - В Чите участвовал в сборке автомобилей, части которых поступали по ленд-лизу. Шла война с Японией.

В монгольском городке Тамцак-Булаг доверили грузовик «Студебеккер ЮС-6-62», шесть на четыре... »

Хоть и художественное произведение, но всё же. Автомобильная техника прибывала в Читу в виде сборочных комплектов - в ящиках, и машины собирали тут, на Кадале».

Быть точным художественно и жизненно, значит, обеспечить бессмертие своим произведениям, то есть самому себе.

Всё подготовлено до твоего рождения, чтоб только подчинился ты всему, внедрённому в сознание единиц, распределённых по ролям в спектакле, и следовал по сцене жизни чётко по воле режиссёра, а не твоей вдруг выпрыгнувшей воле за рамки пьесы, действуй по приказу, не личностью, числом возьмём преграды, которые рисую я в уме, воитель смотрит, срочно ждёт защиты, чтоб власти не лишиться в одночасье, иначе расписание исчезнет, а вольности размаха нам не надо, спокойно едем на своих местах. Куда?

Сочно, стройно и упрямо, точно ясным вырван взглядом, на холсте земли промёрзшей появляется росток, в срок, без тревог, сам по себе строит вечную новость, из ничего совершая на совесть подвиг явления архитектурный, ажурный, при этом очень строг в соблюдении программы, не отступая от плана ни грамма, неразлучный с поэзией драмы, хочется мысль подстеречь над водой, там, где сплетаешь узоры волной, лик свой являя простой красоты, ты, распуская волос лепестки, горделива.

И я попал под эти своды, увидел эти купола, в угоду сладостной свободе не убежал из-за стола, чтоб оказаться на трибуне, испытывая пафос фраз, и по стране, как по пустыне, пронесся голос в этот час, переходя в рыдания строго, смущая кровь, взмывая тенью, чтоб сталью стать в цепях острога, я для себя рожден мишенью, чтобы в беспомощности жука, взлетал по

первому велению из подземелья в облака и наслаждался птичьим пеньем до одуренья, до звонка, до озаренья, до забвенья, где жизни ниточка тонка, там наступает воскресенье, там проливают море слёз, в надежде скорого спасенья из-под безжалостных колёс земного вечного вращения.

Сам себе друг и опытный знаток самого себя, но с некоторыми оговорками по части бездны накопленного на жёстком диске мозга, и это не даёт спокойно жить, всё время явь преобразует жизнь в сон, а сонные картины бредят явью, таков мыслитель, помнящий о чувстве доброты, испытывая живейший интерес к процессам переплавки букв в планеты ярче солнца, и здесь серьезно надо говорить о сути буквы, да и искать смиренно связь с ней при зрелой неге в жизненном раю, вот памятное наставленье мне самому, комичный всё же индивид я, в младенчестве ещё владел суждением о письменной природе вещества, и не противоречил другому, жил со страстью.

Вздых облегченья вырвался из груди, когда взошёл я в гору, и с детской грустью взглянул на прожитую жизнь, она почти в упадке сжалась до взлёта воробья, и мелкими обломками легла под полотно широкого проспекта, плоть которого чуждается искусства, ключи к которому в слезах хранятся в кольцах винограда, вот так обильна и приятна спелость жизни, неведом мне урок её из тьмы.

Отшельник, пишущий в тиши, сильнее воздействует на люд и благородней, чем тип, возлезший на вершину социальной пирамиды, но только дайте время, лет так сто иль двести, чтоб свет отшельника победно воссиял для новых тел, явившихся из влаги материнской, из мгливой тьмы волшебной, чтобы страхи в самом себе взнудать и подавить, поскольку прежде творческое тело живым письмом тебя обожествило, и ты вцепился в прелесть завитка волшебной буквы, к которой льнёт чувствительный поэт, бесстрашно тело отделив от буквы, ты ценишь обитателей искусства, нимало сотворивших в небесах подальше от безжалостного века.

Сады обрамлены мрамором, повсюду царит твердость, не только возле меня, но и кругом, придавая стройность, слева-слива-слава-слово, а по периметру идёт гранитный бордюр, чтобы моя душа превратилась в стройный цветок в алых лучах заката, отливая на горизонте медью, и лилась бессознательная мелодия, подобная иероглифам лестницы в небо.

Плача поётся песня, припевы покрыты печалью, присно поставят путника, памятью позабытого, плавно плывёт пришелец, прошлому посылает прощенье, покрытый простынкой пыли, пали пелёнки подколов, плещется путь прощальный, пробует пить правду.

Редко весною бывает душно, но бывает, когда солнцем раскалённая башня тенью падает на автомобиль, собирающийся отправиться в аэропорт, чтобы лететь на берег турецкий, по пути в иллюминатор увидеть маленькую церковь, прошелестев страницами газеты, набитой под завязку рекламой, что повсюду требуются рабочие в универсамы и на стройки, а в другие, престижные, места можно устроиться только по дружбе, испытывав при этом над головой сияние, и свалиться после всего этого по пьяни под куст сирени.

Люди живут так беззаботно, как будто они намерены пребывать на земле вечно. Но ведь это не так. Каждый, именно каждый, умрёт, и будет зарыт, сожжён или распылён, кому как угодно. И эту простейшую истину люди всячески скрывают от себя и от себе подобных. Хотя, с другой стороны, люди вообще не обладают какими-либо знаниями о самих себе, и о пребывании их в этом мире, хотя этот мир можно назвать и тем миром. А уж если он дорого одет, то производит впечатление, равное Канту или Гёте. Но вот беда. Люди не умеют молчать. Это просто бич какой-то. И вот модный открывает рот, и слышится вульгарный набор слов с мычанием и сопением.

Солнце веснушками вдохновенно красит лицо поэта, потому что для него никаких недугов нету, ибо сам он солнечным катится диском по изумительно сложенным виршам, чары его

безграничны, как небо, блеск отражает он зеркалом строчек, словно царица избраннику строчит каблукками своих дней деревянных, платья меняя от сил окаянных, чтобы оравы за ней царедворцев попусту в снах не болтались в надежде золотом быть осыпанными поспешно, взором поэт провожает светило, чтобы оно не светило так сильно, он и в потёмках до ужаса страстный.

На чёрных плитах отблеск золотой, скользкий одинаковым свеченьем, которое дают вдали огни, и звучный свет на белых облаченьях смолкает, лишь сияют мрака дни, их тихий ход незрим в эти мгновенья, там дремлют тени тех лучистых лет, чей звук исчез при белом свете ночи.

С годами сама собой подбирается кротость, когда чувства обращаются не вовне, а в самое сердце, словно заколдованные неким видением в тумане вышеозначенного возраста, почти изнутри неосязаемого, а горизонт, манивший тебя всю жизнь, вдруг остался за спиной, и ты, ослепленный этим фактом, ещё сильнее ощущаешь себя как сокровище, приходя почти в иступление, непременно жаждешь покончить с этим тяжким грузом, бесхитростно отдаваясь ловле бабочек, беспомощно поднимая сачок.

Зачем-то думаю о розе, о том, что было с ней вчера, в итоге встретились наутро, когда пришла твоя пора, о роза, жизнь поёт сегодня на тонкой ниточке пути, вчера тебе светило солнце, сегодня нежишься в любви, едва рассвет мелькнул в крови, нектар к губам подносит пчёлка и смотрит длительно в упор, а за окном гуляет ветер, переходя от рифмы к прозе.

Ты должен быть вежливым, культурным, пропускать пожилых людей вперед в транспорте, вставать, когда в помещение входят дамы, не пить и не жевать в общественных местах, не курить при других людях, не разговаривать в лифтах, в автобусах и в трамваях, отключать везде, где есть люди, свои мобильники и т.д. Ты всюду должен быть на чеку. Осип Мандельштам возглашает о долженствовании: «Я должен жить, хотя я дважды умер!» А тот, кто никому и ничего не должен, должен оста-

ваться за дверь общества. С пониманием отношусь к высоким заборам, отделившим творчество от варварства.

Погода нежная, мечты весенние, избыток ласк приятных вечеров, так на балконе длится незабвенность вчерашних струн, красиво спетых лет, дыханье севера на миг ушло в искусство, которое всё примет невзначай, и профиль горделивой незнакомки мелькнул синицей, как счастливый рай, где клятвы улетают невидимками в минувшее, хранящее сонм бездн.

И так всю жизнь, когда местами хорошо, местами плохо, и шепчутся всё время по углам, как будто статус утаённых лиц столь велик, что не узнать их сокровенных тайн, по дебрям психики даются номера, которые для цирка и подходят, продать себя стремятся подороже, чтоб здешний недотрога ликовал от откровений пенных, вот опрометчивость, с которой свой раз и навсегда известный ареал обходят грешники, грозя всем преподавать науку умной жизни по секрету, ведя перевоспитание других, но не себя, отважно расставляя акценты на праведности, где уклад незыблем.

Есть всегда возможность в разговоре изменить интонацию с повелительной в согласительную, после чего вообще скатиться к нейтральности, чтобы подвести всё к занавесу, который важно закрыть раньше, чем будет что-то уяснено собеседником, потому что спустя год об этом разговоре ни тот, ни этот не просто не вспомнят, но будут жить так, как будто и самой встречи не было, то есть случится то, что мы называем провалом памяти, и тем не менее продолжают повсеместно интонировать говорящие, повышая и понижая голос, чтобы втолковать другому что-то своё, но звука за толстым стеклом времени не слышно, как в немом кино, да и оно само не только не сохранилось, но и не было снято.

Найтием чует он беду других, провалы всех мерещатся повсюду, и молвит он, что не был другом их, и сладостно избавился от люда, не рдеет для безвольного закат, не радуется успех друзей приметный, мерцает только безъязыкий ад, и горестной тоски, что незаметный, опять в унынии находит отдых он, до

краха обескровлен и покорен, не жизнь, а мгла, не музыка, а звон, не свет, а мрак, и в этом сплина корень.

По виду я, как все, - цветок любой, намёком, только возду-ху подспудным, вдруг догадался встретиться с собой один в библиотечном свете чудном, с волнением у водоёмной глади среди глубин в морщинистых платках, себя узрел в черёмухо-вой пряди, запутавшейся пьяно в облаках, я видел, как в час птичий без движенья сквозь помощь в дорогом слиянье дней, в трудах страстей слепого отраженья цветы предстали маре-вом огней, и здесь при многолюдном свете чудном, намёком, только воздуху подспудным, вдруг умудрился встретиться с со-бой, составленным из букв своей судьбой.

С помощью компьютера прекратилась борьба на чёрном книжном рынке, стремглав исчезли все жучки-фарцовщики, и на мониторе открылся бездонный книжный мир, к которому вдруг оказались равнодушны читатели между строк, да и со-ветские писатели, державшие фигу в кармане, вот дерзкий ход по пропаганде книги, время подтвердило извечную исти-ну, горчайшую, что пишут для души, а не для денег, и вдумчи-во запоями читают для того же, и сожалеть о толчее у «Лавки писателей» на Кузнецком, о невозвратном счастье дефицита мысль даже в муках не приходит, крути зеницами и пестуй свою гордость, тоска бумажная в огонь ушла, накрывшись не-читающей тьмой.

Ответственно живёшь в режиме, не даёшь себе никаких послаблений, потому что вся твоя физика так и стремится на-рушить закон творчества, из которого вытекает в день мини-мум 600 знаков, включая пробелы, и в этом случае за десяти-летия непрерывного творчества у тебя набирается такое ко-личество произведений, что чисел не хватит, чтобы их пере-считать, нарушив теорию ритуалов масс, рекомендующих де-ло исполнять для видимости, тех самых масс, ориентирован-ных на потребление, а не на созидание, где торжествует ха-рактер обезличивания, и ответная твоя реакция на это, во-преки воле всех, молчаливое следование своему режиму, а

абсолют

время рассудит возможности реализации масс и твои собственные.

Не ищите идей среди временных людей, которые везде и всюду демонстрируют свою волю, лучше одному бродить в поле с книгой вечности, в которой всё уже сказано заново, а целью твоей жизни будет норма нахождения формы в самом себе, где ты есть объект, задачей которого определить значение соотношения книги с твоим стремлением заполнить страницу, высшую по сути, где будет только существенное по красоте и неизмеримо естественное по идеалу.

ОБ АВТОРЕ

Писатель Юрий Александрович Кувалдин родился 19 ноября 1946 года в Москве, на улице 25-го Октября (ныне и прежде - Никольской) в доме № 17 (бывшем "Славянском базаре"). Учился в школе, в которой в прежние времена помещалась Славяно-греко-латинская академия, где учились Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир. Работал фрезеровщиком, шофером такси, ассистентом телеоператора, младшим научным сотрудником, корреспондентом газет и журналов. Окончил филологический факультет МГПИ им. В.И.Ленина. В начале 60-х годов Юрий Кувалдин вместе с Александром Чутко занимался в театральной студии при Московском Экспериментальном Театре, основанном Владимиром Высоцким и Геннадием Яловичем. После снятия Хрущева с окончанием оттепели театр прекратил свое существование. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР в течение трех лет (ВВС) под командованием генерала, Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Автор книг: "Улица Мандельштама", повести ("Московский рабочий", 1989), "Философия печали", повести и рассказы ("Новелла", 1990), "Избушка на елке", роман и повести ("Советский писатель", 1993), "Так говорил Заратустра", роман ("Книжный сад", 1994.), "Кувалдин-Критик", выступления в периодике ("Книжный сад", 2003), "Родина", повести и роман ("Книжный сад", 2004), "Сирень", рассказы ("Книжный сад", 2009), "Ветер", повести и рассказы ("Книжный сад", 2009), "Жизнь в тексте", эссе ("Книжный сад", 2010), "Дневник: kuvaldinur.livejournal.com" ("Книжный сад", 2010), "Море искусства", рассказы ("Книжный сад", 2011), "Нахтигаль", рассказы, эссе ("Книжный сад", 2012), "1946", рассказы ("Книжный сад", 2016), "Мозг", рассказы ("Книжный сад", 2018). Печатался в журналах "Наша улица", "Новая Россия", "Время и мы",

об авторе

“Стрелец”, “Грани”, “Юность”, “Знамя”, “Литературная учёба”, “Континент”, “Новый мир”, “Дружба народов” и др. Выступал со статьями, очерками, эссе, репортажами, интервью в газетях: “Известия”, “День литературы”, “Московский комсомолец”, “Вечерняя Москва”, “Ленинское знамя”, “Социалистическая индустрия”, “Литературная Россия”, “Невское время”, “Слово”, “Российские вести”, “Вечерний клуб”, “Литературная газета”, “Московские новости”, “Гудок”, “Сегодня”, “Книжное обозрение”, “Независимая газета”, “Ex Libris”, “Труд”, “Московская правда” и др. В 1996–97 годах создал Ахматовский культурный центр в квартире Ардовых на Большой Ордынке, дом 17, кв. 13, где провел серию вечеров, посвященных Анне Ахматовой, Николаю Гумилеву, Льву Гумилеву, Осипу Мандельштаму, а также встречи с Алексеем Баталовым, Михаилом Ардовым, Евгением Блажеевским, Татьяной Бек, Никитой Заболоцким, Натальей Горбаневской, Евгением Рейном и др. Основатель и главный редактор журнала современной русской литературы “Наша улица” (1999). Первый в СССР (1988) частный издатель. Основатель и директор Издательства “Книжный сад”. Им издано более 100 книг общим тиражом более 15 млн. экз. Среди них книги Евгения Бачурина, Фазиля Искандера, Евгения Блажеевского, Кирилла Ковальджи, Льва Копелева, Семена Липкина, А. и Б. Стругацких, Юрия Нагибина, Вл. Новикова, Льва Разгона, Ирины Роднянской, Александра Тимофеевского, Л.Лазарева, Льва Аннинского, Ст. Рассадина, Вадима Перельмутера, Нины Красновой, Маргариты Прошиной и др. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы.

В 2006 году в Издательстве «Книжный сад» вышло Собрание сочинений в 10 томах.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Шёнберг	3
Тело	25
Бега	44
Никак нельзя без сапогов	63
Валерий Жуков	77
Николенька	90
Воробей	103
Челонет	116
Тундра	131
Далёкое	143
Голос детства	165
Шифр	177
Имя	196
Доброжелатель	210
Актёрское	222
В кадре дождь	233
Рецепты	251

Тело на соломе	262
Форточка	273
Наличие отсутствия	285
Куда и все	296
Яснее	307
Сплетения	320
Абсолют	335
Об авторе	348

Юрий Александрович Кувалдин

Шифр

рассказы

Редактор Юрий Кувалдин

Художник Александр Трифонов

ISBN 978-5-85676-156-5

ЛР № 061544 от 08.09.97.

Сдано в набор 13.12.20. Подписано к печати 19.01.21. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная. Гарнитура "OfficinaSansCTT"

Печать офсетная. Уч.-изд. л. (авторских листов) 15,13. Тираж 300 экз.

Издательство "Книжный сад"
www.kuvaldinur.narod.ru

Юрий Кувалдин Шифр рассказы

Издательство Книжный Сад Москва 2021

